

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)

А. Б. Байбородин (Иркутск)

Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)

Т. Г. Четверикова (Омск)

Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)

А. В. Кирилин (Барнаул)

Э. И. Русаков (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Н. М. Закусина (Новосибирск)

Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)

А. Ф. Косенков (Новосибирск)

В. С. Никифоров (Новосибирск)

Владимир Титов (ответственный секретарь)

Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)

Марина Акимова (зав. отделом поэзии)

Михаил Косарев (зав. отделом критики)

Дмитрий Рябов (зав. отделом публицистики)

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

4/2016

## Содержание

### ПРОЗА

- Олег БЕЛОМЕСТНЫХ. Цвет Надежды.** Рассказы. ....3  
**Геннадий БАШКУЕВ. Селедка под шубой.** Рассказы. ....28  
**Владимир НАТАНСОН. Выйти из комы.** Рассказ. ....48  
*Представляем молодых*  
**Михаил БАЛАБИН. Одинокрылье.** Рассказ. ....58  
**Максим ЧИН-ШУ-ЛАН. А снег идет.** Рассказ. ....87

### ПОЭЗИЯ

- Анатолий СОКОЛОВ. «Вместе с песней  
умного молчанья...»** Стихи. ....18  
*Представляем молодых*  
**Софья РУБАКОВА. «Кому завещать корабли...»** Стихи. ....54

### ДРАМАТУРГИЯ

- Дмитрий РЯБОВ. Апрельский романс.** Пьеса. .... 110

### ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Переписка Н. Н. Яновского  
и В. П. Астафьева. 1980—1991. Продолжение.** .... 140

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- «О великом и могучем замолвите слово».**  
*Выступления участников «круглого стола».* .... 154  
**Владимир СЕДЫХ. В экспедиции. Окончание.** .... 162

### Картинная галерея «Сибирских огней»

- Светлана ГОЛИКОВА. Первый художник Новосибирска.** .... 189

- Авторы номера* ..... 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

Олег БЕЛОМЕСТНЫХ

## ЦВЕТ НАДЕЖДЫ

Р а с с к а з ы

### Пётр

Старик просыпался с первыми лучами солнца и тяжело смотрел в окно на еще один зарождающийся день. Летнее солнце быстро набирало силу, его лучи яркими полосами высвечивали мохнатый ковер на полу, семейные фотографии на стене, отражались в зеркале шкафа и упирались в большую картину с караваном верблюдов в пустыне, висевшую у него над головой. Старик пережил жену и сына и уже очень долго был одинок. Он сожалел о том, что был здоров — слишком здоров для восьмидесятилетнего старика. Виной тому была сильная наследственность, спортивная молодость и строгая регламентация жизни. Теперь его угнетала собственная безболезненность, он жалел, что никакой тяжелой недуг не пресек его жизнь раньше смерти близких.

Ровно в 6:30 он встал с кровати, издававшей при подъеме тонкий визг, и пошел в ванную комнату по слегка поскрипывающему полу. В овальном зеркале он видел скуластое лицо с правильными линиями крупного носа и полных губ, седыми бровями и темными внимательными глазами. По привычке он долго и тщательно чистил желтые, но еще крепкие зубы, сплевывал пену зубной пасты и отмечал, что она была без крови. Привычно проводил рукой по ежику коротко стриженных волос, которые его молодили, делали спортивным. Когда-то он с гордостью говорил жене, что вполне мог быть актером: тип лица его и крепкая фигура были под стать голливудским героям телеэкрана.

Но профессия ему была суждена иная: он был хирургом, не так давно еще очень известным и популярным в своем городе. И очень гордился этим. Его руки, и сейчас хранившие музыкальное изящество, прооперировали тысячи людей, от которых он выслушал много признательностей, много знаков отличия получил от руководителей.

Но, как и у всех хирургов, у него бывали и неудачи. Великим потрясением для него стала болезнь и смерть сына, которого он сам вызвался оперировать, но не смог правильно диагностировать, допустив роковую ошибку. Разум не мог вместить понимания, почему его единственный сын



стал жертвой внезапной профессиональной слепоты. С того несчастного дня прошло уже тридцать лет; следом за сыном ушла из жизни супруга, не вынесшая трагедии. Они оба оставили его наедине с муками сомнений. И он не понимал, зачем так долго длятся его дни. Он всматривался в зеркало и видел, жаждал видеть вместо своего изможденного долголетием лица красивое молодое лицо сына, так похожего на него чертами лица и глазами — карими, с характерным прищуром и пристальным взглядом.

Сын, после того как развелся с бесплодной и неверной женой, жил в его квартире. Многие вещи напоминали о нем: диван, на котором сын спал, письменный стол, на котором писал диссертацию на тему эсхатологических представлений в средневековой литературе, большой книжный шкаф, объединивший их совместную философскую и медицинскую литературу. В маленькой кухоньке до сих пор стоял его любимый табурет, обшитый коричневой кожей, и даже его любимая кружка с летящими птицами, которую ему нравилось в задумчивости крутить, разглядывая синие распростертые крылья.

Старик вжился в квартиру как улитка в раковину, но с годами эта раковина стала ему тяжела и противна. Просыпаясь, он не знал, чем ему занять очередной день. Интерес к книгам он потерял давно, так как даже самые лихие сюжеты не завлекали и не отвечали его насущному состоянию. Телевизор не включал принципиально — считал его средством для обмана глупцов. Какое-то время он полюбил слушать классическую музыку, фуги и кантаты Баха, польские мазурки, русские оперы, но и они со временем перестали утешать его болезненное одиночество. Заводил себе маленькую собачку — бельгийского гриффона, очень привязался к нему, но пес, прожив с ним три года, бесследно исчез во время прогулки.

Каждый день он завел правило прохаживаться по нескольким маршрутам, длина которых зависела от погоды и времени года. Обязательным пунктом его посещений был большой рынок, где он дотошно исследовал цены, торговался и покупал провизию. Жильцы ближайших домов могли ежедневно наблюдать высокую прямую фигуру, неспешно курсировавшую по тротуарам.

Он чувствовал, что надоел не только себе, но и соседям. Все это неизбежно наводило его на мысль прервать свое бессмысленное однообразное существование. Как медик, он знал десятки способов остановки жизнедеятельности организма, в том числе вполне безболезненные. В загробную жизнь он не верил, уважал человеческое тело и смотрел на него без всякого мистицизма. Прощупывая во время операций человеческие органы изнутри, он чувствовал их тепло и биение, но знал, что стоит только этому теплу исчезнуть, как исчезнет и сам человек. Наверное, по этой причине смерти он не боялся и представлял ее фатальным провалом в абсолютное небытие. Что же тогда его держало здесь? Холодная логика говорила — ничего.

В гараже у него стоял автомобиль, когда-то престижная, а теперь безнадежно устаревшая «Волга». Очень редко, когда становилось невыносимо в квартире, он выезжал на ней в лес, к реке, где прогуливался и дышал свежим воздухом. Теперь эту машину он решил избрать средством

своего последнего путешествия. Он закрывает гараж изнутри, сядет в машину, включит двигатель и будет медленно вдыхать ядовитый газ.

Когда его обнаружат? Когда не придет за пенсией? Или когда соседка случайно ткнется в незапертую дверь? Будут искать, выйдут на гараж... Он уже будет разлагаться. Впрочем, все равно: все в этом мире рано или поздно разложится на части.

Он с отчаянием думал о том, что сегодняшний день нужно прожить до конца, опять лечь спать и опять встречать утро, думать, чем занять себя в день предстоящий. Волнение его достигло предела, он торопливо оделся, осмотрел квартиру, бросил последний взгляд на фотографии и вышел на улицу. Дверь оставил открытой, ключи бросил в прихожей.

На улице было по-летнему тепло и свежо, но он не замечал этого, как не заметил почтительного приветствия сидящих на скамейке старушек. Гараж находился в километре от дома, за несколькими дворами. Он медленно шел, смотрел и не видел зеленой травы и цветов возле домов, воркующих голубей, играющую детвору. Не доходя до гаража, он остановился возле дворовой скамейки и присел. В голове не было ни сожалений, ни воспоминаний. Почему-то думалось о верблюдах в пустыне.

Он глядел в землю и вдруг почувствовал, что рядом кто-то присел на скамью. Он даже не хотел смотреть в ту сторону и поднялся было идти дальше к гаражу, как вдруг этот человек обратился к нему:

— Помоги, старик... дай на хлеб...

Это был нищий человек в грязной рваной одежде и с большой холщовой сумкой. Старик машинально пошарил рукой в кармане куртки, но ничего не нашел. Он немного растерялся: нехорошо было уходить с чувством неисполненной просьбы.

— Возьми куртку. — Старик стянул с себя летнюю светлую куртку и протянул бомжу. Тот удивился, но куртку схватил, сразу засунул ее в мешок и только потом участливо спросил:

— Ты сам-то как... без куртки, отец?..

Бомж сильно заикался и говорил неуверенно, проглатывая концы фраз. Старик посмотрел на него внимательно, увидел жалостливый взгляд темных слезящихся глаз. На левой руке нищего, возле кисти, виднелась большая, с начинающимся гноем рана.

— Ты можешь умереть от такой раны, парень... Сколько дней она у тебя?

— Давеча... продырявился... маленько, — ответил бомж, безучастно глядя на рану, как будто не на свою.

— Пошевели пальцами, всеми, — с профессиональным интересом попросил старик.

Бомж сжал грязные, с обломанными ногтями пальцы в кулак.

Старик замер в каком-то забытьи, смотрел на раненую руку. Он ни о чем не думал в этот момент, но в его душе возникала какая-то слабая, как легкий ветер, сила.

— Пойдем со мной, у тебя будет дом, — предложил старик бомжу.

— Старик, ч-че... те надо? — Бомж уже настороженно стал смотреть на старика, пытаясь понять, в какую ловушку его хотят затянуть.



— Ничего не бойся, у тебя будет свое жилье. Как тебя зовут?

— Петрухой.

— Пойдем, Петя, я накормлю и обработаю тебе рану.

Бомж нерешительно встал и пошел. Он оценил фигуру старика и подумал, что в крайнем случае сможет с ним справиться.

Когда старик завел Петра в квартиру, в замкнутом ее объеме нестерпимый резкий запах бомжа проявился еще сильнее. В старике шевельнулось чувство брезгливости — он был чрезмерно педантичен и чистолютен. Бомж, кажется, сам почувствовал себя неловко в чистом месте.

— Придется, Петя, тебя мыть. Раздевайся, — сказал старик и задумался, в какие одежды переодеть гостя.

Тот растерянно оглядывал квартиру, ожидая неведомого подвоха, и пытался сообразить, что задумал этот странный старик.

— А тебя... как зовут, отец? — В хриплом голосе почувствовались нотки уважения.

— Лазарь Исаакович, — спокойно ответил старик.

— Ну и имя у тебя, старина... солидное... Уважаю! — Бомж стал медленно снимать лохмотья и бережно, как большую ценность, складывать их в углу прихожей рядом с холщовым мешком.

Старик смотрел на голого Петра, на его очень худое, с многочисленными шрамами тело. В какой-то момент он засомневался в своем предприятии. Но остановиться уже не мог. Он наполнил ванну горячей водой, вылил в нее бутылку душистого геля. Помог Петру устроиться и закрыл дверь.

В шкафу, где оставались многие вещи сына, он нашел брюки и рубашку. Потом пошел на кухню, включил чайник, достал из холодильника совсем немного, что у него оставалось: булку хлеба и куски жареной рыбы.

Когда Пётр помылся, он дал ему чистую одежду. Бомж невероятно преобразился: лицо его посветлело, прежде тусклые волосы завились в темно-русые кудри. Он стоял босой на полу в слишком большой для него рубашке и длинных брюках. Теперь он выглядел парнем лет тридцати приятной внешности, но с отпечатком тяжелой судьбы.

Старик стал осторожно осматривать рану:

— Как же тебя угораздило, Петя?

— Прибили руку к... бревну.

— Кто? И за что?

— Дом там, — бомж неопределенно махнул рукой, — недостроенный... я хотел переночевать... через забор полез... зашел, а там хозяин... подумал, что я воровать... здоровый гад был... отпинал... голову ногами... потом гвоздем огромным... прибил руку... к полу... сказал, что придет завтра и... сделает из меня корм для собак...

— А дальше что?

— Убежал... всю ночь гвоздь расшатывал... вытащил под утро...

Старик принес вату и перекись водорода, аккуратно обработал рану.

— Нужна мазь и антибиотики, Петя. Я схожу в аптеку, ты подожди.

Выйдя на улицу, старик уже по-другому взглянул на солнечный свет, на его лице появилась озабоченность, в голове выстраивался план излечения гнойной раны конечности. В аптеке долго выбирал лекарства, расспрашивал аптекаря, перечитывал инструкции.

Когда вернулся, увидел, что Пётр разглядывает фотографии на стене.

— А у тебя, Петя, была семья?

— Мама была... и отчим был...

— Где они сейчас?

— Не знаю... в деревне остались... а я ушел... оттуда...

— Почему ушел?

— Били меня там... думали, ворую... а я не брал ничего... только в огородах брал... когда голодный... был...

Старик усадил Петра за стол, стал наблюдать, как жадно тот поедает рыбу, закусывая большими кусками хлеба и вытирая жирные руки о чистые штаны. Потом гость попросил крепкого чая, выпил еще одну кружку, и еще одну.

За окном светило полуденное солнце. Громко щелкали на стене ходики. Старик, сидя напротив, подливал чай, разглядывал изможденные, но приятные черты лица человека, недавно еще совершенно неизвестного ему, но теперь казавшегося давно знакомым. Пётр, насытившись, смело всматривался в глаза старика, покручивая здоровой рукой кружку, на которой синекрылые птицы одна за другой взмывали к яркому желтку солнца.

— Отец, а сам-то?.. Оставил себе хлеб?.. — спросил гость.

— Оставил, Пётр, — ответил старик.

## Симеон Дрязговитый

Местные жители знали этого человека давно. Он появлялся на огромном крыльце торгового центра в постоянный час — после полудня, садился на ступеньки у входа и начинал играть на аккордеоне. Торговый центр был самым большим в городе: огромным и величественным, в четыре яруса, увенчанный прозрачным, растворяющимся в небесных облаках куполом. Нескончаемый поток людей, радостных в предвкушении покупок, шествовал в крутящиеся каруселью двери этого рынка. Карусель, медленно вращая тремя лопастями, тут же выдавливала порциями обратный поток людей, но уже загруженных красочными коробками, сумками и пакетами, которые они затем перегружали в свои сверкающие машины и уезжали, чтобы уступить место другим. Горожане к тому времени уже не были бедными — прошли те времена, когда считали копейки на хлеб, — многие из них стали теперь степенными и довольными жизнью, обладали домами, дорогими автомобилями и летали отдыхать в далекие солнечные страны. Все они проходили мимо аккордеониста.

Он был всегда одинаковый — старая летняя шляпа, затертый на рукавах пиджак, скривленные очки. И колясочка с аккордеоном. Звали





его Симеон Дрязговитый — имя крайне странное, как будто всплывшее из древних пыльных книг. Прозвище ему дал какой-то остряк из соседей по дому, многие же знали, что по паспорту он Семён Андреевич, а фамилия его действительно Дрязговитый. Говорят, что когда-то он был учителем музыки, но школьные коллеги стали замечать за ним некоторые чудачества и дружный педагогический коллектив во главе с директором в целях защиты учеников от дурного влияния приняли решение избавиться от него. А вскоре новоиспеченный Симеон стал просто нищим, собирающим копейки за свой напрасный труд. Его видели бродящим вдоль улиц то с рюкзаком, то с аккордеоном в легкой алюминиевой коляске, в одной одежде, лишь зимою дополняемой длинным, до пят, пальто. Сколько ему было лет, трудно сказать: может, пятьдесят, а может, и семьдесят — таким неопределенным был его скромный облик. Соседи не понимали, почему он не может устроиться на какую-нибудь, хоть самую плохонькую работу, ведь непьющий он был, не инвалид. Но Симеон предпочитал просиживать дни на рынке, наигрывая забытые всеми мелодии. Руки его бережно, как ребенка, обнимали старый немецкий аккордеон, худыми длинными пальцами искусно перебирая пожелтевшие клавиши. Голова его при этом всегда наклонялась в сторону, как будто он прислушивался к чему-то еще, звучащему помимо мелодии и чего не слышал никто. Казалось, он сливался с музыкой в одно целое и был слеп, не реагируя никак на проходящих, но когда кто-то бросал монетку в его маленькую коробку от пиццы, он коротко, легким кивком и улыбкой благодарил дарящего, да так, что тот невольно замедлял шаг, ощущая теплоту взгляда.

Старый аккордеон играл слабым голосом, сияясь охватить красоту русских вальсов. Симеон исполнял только старую русскую музыку: «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии», «В лесу прифронтовом», «Севастопольский вальс». Среди шума толпы, нудной рекламы и ритмичной музыки звуки аккордеона были еле различимы, но все же они не терялись в безумной какофонии, до слуха каждого проходящего доплывал тихий ручеек светлых переливов. Люди, несомненно, слышали его, различали звуки; может, и были те, кому эти мелодии нравились, но никто не решался остановиться, влекомый общим потоком.

Охранники торгового центра не раз прогоняли Симеона, поскольку он мешал движению посетителей; он смиренно подчинялся, уходил, но на следующий день появлялся вновь. Иногда возле него останавливались пьяницы и бездомные. Чувствуя в нем собрата по обездоленности, они пытались увлечь его с собой, отобрать деньги, но, сталкиваясь с его беззащитной улыбкой, презрительно называли дураком и оставляли в покое. Труднее было с дерзкой детворой: они кидали в Симеона камни, срывали с него шляпу, играя ею в футбол, угоняли коляску. Но Симеон и тогда лишь грустно улыбался.

Удивительным было его терпение. Соседи по дому помнили, что у Семёна Андреевича была жена. Эта женщина могла создать сущий ад для любого из смертных, ее злая ругань раздавалась сквозь стены и окна соседних домов. Раздражалась она поминутно и без повода, а может, по-



водом был сам Семён Андреевич... Он смиренно сносил все вспышки ее гнева, выполнял любую работу по дому, даже готовил ей еду, которая у него не выходила, и он покорно сносил презрительные взгляды тяжело-весной супруги. Порою она так бушевала, что его любимый аккордеон вылетал из окна, ломался, после чинился и, уже тише, не как прежде, продолжал играть.

После того как жена его умерла, он стал совсем одинок и незащищен. В квартиру его иногда стучались и вламывались разбойного вида бродяги, требовали ночевки и еды. Выгонять их приходилось соседям, которые при этом ругали и самого Симеона за бестолковость. Однажды он пустил к себе приезжих рыночных торговцев вместе с товаром. После того они напрашивались и набивались в квартиру в таком количестве, что самому Симеону не оставалось места и он просиживал ночь на скамейке возле дома.

Так проходили годы; местные жители свыклись с его существованием, он стал частью общественной жизни района. Симеон приучил их к звукам аккордеона и старым вальсам, мелодии которых успокаивали граждан в беспокойное время. Они свыклись с его согбенной фигурой в ветшающей шляпе, видом тощих рук, выглядывающих из коротких рукавов старого пиджака цвета пыли. Привыкли к точному приходу на рынок и сверяли по его музыке часы, как по кремлевским курантам. Но по-прежнему Симеон жил своей странной и непонятной для людей жизнью; было подмечено и то, что, просиживая у входа в рынок, он никогда в него не заходил.

Но в один из дней произошло необычайное: Симеон, после того как отыграл свои вальсы, вдруг поднялся, взял коляску с аккордеоном и пошел с толпой внутрь торгового центра. Станным путником он одиноко шествовал вдоль бесконечных рядов магазинов, а посетители, подозрительно оглядывая ветхий облик, отстранялись от него. Симеон внимательно оглядывал механические лестницы, непрерывно поднимавшие вверх к прозрачному куполу людей, яркие нерусские надписи, цветной фонтан, множество стоящих под затененным светом столиков, за которыми ели и разговаривали уставшие от хождений по этажам люди. Неподвижность среди бесконечного торгового шествия сохраняли лишь манекены, из-за стекол витрин смотревшие на покупателей умными безликими взорами.

Сделав большой круг, Симеон прошел в огромный продуктовый магазин, где увидел, как люди озабоченно перебирали, изучали продукты в ярких упаковках, отбирали их в корзины и тележки. Симеон тоже прогуливался со своей разбитой тележкой, в которой покоился, свесив ремни, перламутрово-красный аккордеон. Он долго бродил мимо витрин с пирамидами жирных колбас, штабелями копченых рыб, грудями экзотических фруктов. Фигура Симеона слишком выделялась своей бедностью на фоне красивого изобилия еды, так что посетители смотрели на него с интересом: что же будет покупать этот человек?

Худенькое лицо Симеона казалось опечаленным. Давило на него это изобилие или не было у него сколько-нибудь денег: той горстки мело-



чи, что жалко позвякивала в кармане пиджака, ему не хватило бы даже на хлеб. Но Симеон вдруг подошел к одной из полок и взял маленький сырок — обыкновенный глазированный сырок в яркой упаковке. Такие покупают обычно детям. Затем не спеша направился в сторону кассы и невозмутимо прошествовал мимо нее — с нелепой тележкой в одной руке и с сырком в другой.

За всеми перемещениями Симеона внимательно наблюдал охранник магазина, а также и многие любопытствующие посетители. Стоило только Симеону пересечь кассовую границу, как охранник с радостью набросился на него, резко дернул за пиджак, так что тот развернулся на полный круг, коляска при этом вырвалась из его руки и опрокинулась, аккордеон глухо ударился о полированный пол. Зеваки с наслаждением наблюдали эту картину, даже кассирша перестала считать товары. Кто-то стал возмущаться, зачем пропускают в приличный магазин голодных бродяг, кто-то видел в этом забаву и развлекался сценой.

На шум прибежал старший продавец, вдвоем с охранником они что-то кричали Симеону, требовали, дергали за полы пиджака. Он же стоял удивительно спокойно, впервые открыто смотрел на толпу ясными, как у ребенка, глазами, как будто желая сказать всем: «Здравствуйте, вот я — Симеон!» Но ему не дали времени стоять, грубо потянули в отдельную комнату для досмотра и выяснения отношений. Всех, однако, удивило, что ни коляску, ни аккордеон Симеон не поднял, даже не посмотрел на них, а ушел, оставив брошенными на полу.

Что было дальше, не знает никто. Наверное, Симеона отпустили — не обнаружили в его карманах больше ничего, а сырок неповрежденным был возвращен на место. Аккордеон отпихнули к стене, где он пролежал до вечера, затем его выбросили вместе с мусором. Симеон же больше не появился возле торгового центра ни тем летом, ни осенью, ни зимой. Его не видели больше и в доме, где он жил. В квартире поселились какие-то люди, из тех торговцев, что останавливались у него. Никто не стал подавать в розыск, поскольку никто не считал его близким.

Впрочем, некоторые старушки из того дома, где жил Симеон, бездельно посиживая по вечерам на лавочках, вспоминали про него. Обсуждали новость откуда взятые слухи, что далеко в лесу, за городом, в пещере поселился странный человек. Будто бы местные рыболовы видели лесное жилище и отшельника в длинном пальто, сидящего на берегу реки. Будто рыбачил он и напевал при этом старую музыку. Но, когда видел людей, уходил и прятался в своей берлоге.

Город между тем жил своей жизнью, происходили какие-то события, волновавшие горожан: где-то началась очередная война, распространялись эпидемии, таинственно падали самолеты, кого-то известного убивали, кто-то умирал сам. Удостоились горожане и своих новостей — в середине лета случился крупный пожар в самом большом торговом центре. Сгорело все дотла. По этому поводу много судачили, но никто не сожалел.

Он был не единственным.

## Цвет Надежды

Три камня обойти узкой тропкой, два больших перелезть сверху — и ты у кромки берега. Главное — не упасть, крепко держаться за ивовые кусты. И тогда окажешься у маленькой заводи; за камнями тебя ниоткуда не видно, лишь огромная река перед тобой.

Ветер нагоняет волны, склоняет и глубоко окунает слабые ветви ивы в воду, отрываются и тонут во мраке желтые полоски листьев. Тяжелые облака плывут в небе и в воде. Между небом и водой — вороны, они режут тугой воздух над рекой, разнося криками пронзительную осеннюю тоску. Река течет вечно, неостановимо, унося куда-то за поворот, за горы летнюю радость, не оставляя светлых надежд.

Так можно долго сидеть и смотреть на завораживающее движение, пока воды не станут черными, а на небе не заблестят первые звезды. Никто тебя не ищет. И не нужен никто, ведь лучше нет на свете, чем быть вот так — наедине с рекой, небом и птицами.

Одиночество — ее вечное состояние. И это лучший подарок сегодня, в день рождения. Она помнит вчерашнее: «Тебе, Надька, завтра стукнет тринадцать лет», — сказала мать и вот уже второй день пьянствует, не вспоминая именинницу. Но ей все равно: настоящий праздник — это свободный ото всех день, в который она будет долго сидеть, свесив к воде светлые, с золотой рыжинкой волосы, и не нужен никто. Впрочем, был один человек. Близкий. Но его уж нет. Теперь вот никого нет...

Надя — идиотка. Так называет ее мать. Дурочкой ее называют соседи, а учителя школы, намучившись с нею, давно махнули рукой на ее чудачества. Аутизм — холодное слово, топором отрубаящее от всего людского мира. Надя почти всегда молчит, разговаривает только по крайней необходимости и только с матерью:

- Хочу спать, выключи телевизор!..
- Купи карандаши!..
- Дай молоко!..

И питается она не по-людски — только молоком и хлебом, на другую пищу и не смотрит.

Сторонится всего — сверстников, соседей, учителей, животных, машин, телевизора. Вначале мать водила ее по врачам, те кормили таблетками, разговорами нудили ее психологи, дважды направляли для лечения в психиатрический диспансер. Но все было тщетно, внешний мир для нее был как бы за стеклом. И в те моменты, когда люди и вещи из потустороннего мира приближались к ней, она начинала нервничать: обгрызала ногти, кусала губы, которые со временем покрылись трещинами, кровоточили. Мать не единожды в пьяной злости била ее по губам: «Что ты их кусаешь, что ты хочешь, дура?!»

А нужно ей было немногое — отсутствие чужих людей, пугающих вопросов. Когда нет глаз, нет этих мучительных, врывающихся внутрь взглядов. И вообще, лучший мир — изображенный на бумаге. Еще лучше — изображать его своей рукой. С первых лет жизни тянуло ее рисовать — пальцем размазывала кашу на столе, образуя дождевые облака





на голубой клеенке, затем углем изображала на печке черных птиц, взлетающих по трубе на волю. Подрастая, она уверенно выводила карандашом витиеватые линии цветков, листочков, стебельков на всех бумажных клочках, обертках, коробках. Делала это часами, низко нагнув голову над листом, отрешаясь от всего окружающего, неотрывно глядя на кончик карандаша, следя за каждой чертой и поворотом скошенного грифеля, смахивая пот с висков, иногда высовывая язык, подрагивающий от напряжения. Потом в ее жизни появился цвет: она открыла для себя радость радужных переливов, жирно чертила на белой извести стен бирюзовые горизонты морей, мятно-зеленые острова, политые лимонным сиропом солнечного света. Мать сначала ругала ее, потом махнула рукой: «Рисуй, все равно грязно».

Жили они бедно — в пригороде, в старом домишке с прогнувшейся крышей и заброшенным огородом. Мать работала продавщицей в ближнем продуктовом киоске, иногда подрабатывала уборщицей в школе. Любила выпить, с юности путалась в компаниях дерзких парней. Мужа никогда не имела, происхождение дочери было неясным, кажется, даже для нее самой. Никогда не сопротивлялась нелепому потоку жизни, не делая никаких усилий, чтобы изменить к лучшему судьбу свою и дочери. Ее не слишком заботило особое поведение Нади, она, возможно, чувствовала в ней себя, отверженную и никому не нужную. Потому искала ее иногда по вечерам на берегу реки, ругала, называла блудной овцой, но после обнимала и плакала от их общей безысходности.

Они хорошо сочетались — дурная мать и странная дочь. Каждая жила в своем мире, но общая скудная и неприятная жизнь объединяла их. Летом Надя дома не могла находиться, убегала в лес, на поля, к реке и проводила там целые дни. Вот уж где было полноцветье: зеленого, желтого, красного и синего вдосталь, так что руки нетерпеливо хватали карандаши и кисти и жадно покрывали линиями бумагу! К концу каждого летнего дня приносила она домой ворох рисунков. Осенью цвета бледнели, и она могла долгие часы неподвижными глазами смотреть на льющийся дождь, темнеющие дома притихшего поселка. А зимой разглядывала снежные шапки на поленнице, на то, как один из очередных «друзей» ее матери колот во дворе дрова, а синицы слетались с забора и мгновенно выклевывали личинок из расколотых поленьев. Еще любила она сидеть у печи, завороченно глядя в щель дверки, где яркий огонь пеленал свежие поленья.

Всего три книжки было в доме: сказки Пушкина, рассказы о природе Пришвина и «Путешествия Гулливера». Читать она не любила, любила иллюстрации, которые говорили ей о содержании книги больше, чем текст. Воображая продолжение историй, она, абсолютно копируя манеры рисунков, создала свои продолжения великих книг. Мать хвасталась этими дивными рисованными историями перед своими гостями. Те, мало понимая в искусстве, пустыми глазами разглядывали художество, не веря, что это сотворила дикая, с вечно грязными руками девчонка. Она же была необыкновенно равнодушна к их похвалам, пряталась в своем углу от взглядов...

Художнику нужны «ма-те-ри-а-лы». Без красок и карандашей картина не сбудется. Но каждую вторую картину за них забирает «спонсор» — слово и человек черного цвета.

Она уже протоптала бесконечную дорожку к Вадим Вадимычу, большой дом которого, украшенный стеклянной башенкой сверху, был недалеко, в той части поселка, где размещались дома состоятельных людей.

— Краски надо... холст! — волнуясь и с силой выдавливая каждое слово, просила Надя, стоя у дверей дома и не глядя в глаза человеку, от которого зависела и которого ненавидела всем своим внутренним чутьем.

— Ты слишком много тратишь и мало отдаешь, производишь материалы на черновики. Краски дам только акварельные. И бумагу. Вечером принесешь рисунки, поняла? Хорошие рисунки! — Черный небритый полукруг Вадимыча не выходил дальше приоткрытой двери, за которой усматривалась полуголая женская фигура.

— Поняла, поняла... — И вот уже слезы бегут из синих глаз.

Так было почти каждый день. Вадим Вадимыч продвигал Надины картины на выставки и продавал их куда-то. Сам он когда-то был художником, но давно превратился в дельца, перекупщика антиквариата и коллекционной утвари. Надя называла его злым гадом, обманывающим ее, она это чувствовала, но все искупалось тем, что он снабжал ее такими вещами, о которых она раньше и не слышала: мастихин, пастель, сангина, сепия. А какие загадочные названия красок она для себя открыла: охра желтая, кобальт синий, крапак розовый! Как она влюбилась в эти тугомытые тюбики, скрывающие в себе волшебную силу цвета! Никто не учил ее пользоваться этими средствами, но она внутренним чутьем открывала для себя их свойства, когда оных недоставало, соединяла вопреки правилам в самых невероятных сочетаниях: пастель и акварель, темпера и гуашь, карандаш и шариковую ручку — все, что было под рукой. И то, что получилось бы безобразным у другого, у нее обретало фантастическое соцветие. Брала уверенно краски и карандаши, которые, казалось, боялись ей сопротивляться, сами ложились на бумагу и преображались в воздух, воду, деревья, облака. Чем больше она охватывала разных материалов, связывала в новых сочетаниях и формах, тем больше наполнялись оттенками и смыслами ее пейзажи и натюрморты.

Рисовала она все, что окружало ее в одинокой жизни: разновеликие дома и изогнутые улочки хаотично застроенного поселка, пестрый лес на холмах и старое кладбище, нежные березы и суровые сосны, поляны и цветы. Но больше всего ее завораживало огромное пространство, видимое с местных холмов: величественные горы, тяжелый изгиб реки, небесная высь и свободные облака в ней. В этот момент ей хотелось взлететь и свободно парить над всей этой красотой, поглотить ее взглядом, лететь вдоль реки в неведомую даль, где она никогда не была. Она была влюблена в свинцовую мощь реки и рисовала ее во все времена года и во все погоды: под тучами, под солнцем, в утренний рассвет и в вечернем сумраке.





В ее картинах, показывающих обыденное, виденное тысячами глаз, было то необычное, отраженное только одним, очень странным взглядом, высмотревшим иную сторону действительности. В дождливый день у нее плакали не только листья на деревьях и стекла в окнах домов, но и сам воздух, казалось, источал из себя осеннюю грусть. Купающиеся в луже воробьи совершали неведомый обряд, а в отраженных в речной глади облаках усматривался чей-то строгий лик.

Странность ее картин была и в том, что в них никогда не было людей. И не потому что не умела, нет: пробовала, хорошо получались фигуры, положения, но, когда дело доходило до изображения лиц и глаз, начинала нервничать, грызть карандаш, потом бросала все и рвала бумагу. Пытаясь передать человеческий взгляд, она утопала в какой-то страшной тьме, смеси жалости и злой силы.

Только с одним человеком она чувствовала себя спокойно, его присутствие не отягощало ее — дед Лучков. Этого старика никто не называл по имени-отчеству, только одним прозвищем — Лучков. Когда и зачем стал он появляться в их доме, Надя не помнила и поначалу отнеслась к нему, как и ко всем чужим, враждебно. Но со временем ее стал привлекать его тихий, немного сиплый голос, неторопливая речь, взгляд светло-серых глаз в добрых лучинках. Лучкова все признавали человеком мирным, гостил он в разных домах поселка, и никто его не прогонял. Он был тоже странным: Надя никогда не видела, чтобы он чем-нибудь питался, был худ и, кроме чая, ни на какое угощение не соглашался. Сидел в углу на табурете, чаще молчал, иногда высказывал свое мнение в неторопливом разговоре, никогда не спорил, но все почему-то с ним соглашались. А еще Надю интересовала его левая рука, на которой не было указательного пальца — говорили, что отрубил его топором, будто после того, как поругался с одной очень жадной женщиной, убеждая помочь деньгами соседям. Появился Лучков в поселке несколько лет назад. Никто не знал, была ли у него когда-нибудь семья и дети. Не было у него и своего дома: жил он в маленькой комнатухе котельной, где и работал зимой кочегаром, а летом — сторожем. Поговаривали, что когда-то он сидел, после чего потерял связь со своими близкими. Наверное, потому был так молчалив и сдержан. Впрочем, это было похоже на выдумку — так не вязалось все это с обликом смиренного деда.

К Надюше он был очень ласков — и, казалось, приходил в дом только ради нее.

— Ну что, молчунья, все рисуешь? Как же это получается красиво!

Надя и с ним была молчалива, но, отличая от других, проявляла особое чувство — протягивала ему свои рисунки и смотрела в его лицо, угадывая, какой рисунок ему понравился. Дед с интересом разглядывал листки и обсуждал их вслух:

— Вот здесь хорошо получилась у тебя сосна, узнаю, это та, что у оврага, с голыми корнями. Она у тебя и впрямь плачет и цепляется за край земли. А здесь — какие славные цветы, глядят на тебя словно божьи глаза!

«То, что молчунья, не страшно. Страшно, когда говорят много лишнего...» — повторял Лучков задумчиво, глядя в окно и скрепив узловатые пальцы в замок на колене.



Наде нравилось такое внимание к ней, а главное — к рисункам, и с каждым приходом Лучкова в дом она все более теплела к нему. Он же помогал ей — по чертежу в журнале для художников искусно изготовил для Нади легкий переносной мольберт, снабдил ее удобным ножичком для заточки карандашей, делал нехитрые рамки для картин.

Со временем Надя стала прибегать к нему в его жилье. Отодвигая брезентовый полог, отделявший дедушкину комнатку от чада и копти котельной, она проникала к нему, садилась на табурет возле столика, молча разглядывала старые журналы, а Лучков отдыхал на сколоченной лежанке, устланной тряпьем. Чтобы как-то украсить хижину деда, Надя развесила на ее стенах свои рисунки, что-то дорисовала прямо на стене. Лучков не возражал, наоборот, похваливал Надюшу, угощал молоком, а она, по-прежнему молча, одними глазами выражала радость. Здесь она впервые решила рисовать лицо — портрет дедушки.

Однажды принесла Лучкову самую лучшую, самую дорогую для себя картину, на которой была изображена река осенью: тревожная картина, где черные вороны носились над холодеющими водами, а желтые деревья и кусты склонились к воде, как бы оплакивая ушедшее лето. Картина эта участвовала в нескольких выставках, ею интересовались коллекционеры, но Надя не отдавала ее никому. Боялась она и матери, которая в запойные дни могла запросто отдать картину за бутылку. Надежнее всего ей было сохраняться в дедовой камерке. Эту картину выпрашивал у Нади и Вадим Вадимыч, не раз предлагая взамен разные блага в виде красок, холстов и альбомов с репродукциями. Но Надя чувствовала, что картина была самой удачной ее работой, и, как волчица, оберегающая волчат, никого не подпускала к своему творению.

Да и учительница рисования, единственная подсказчица в ее творчестве, советовала беречь картину. Анна Борисовна, так звали учительницу, помогла Наде остаться в школе, доказывая всем, что ребенок с таким талантом не может быть безнадежным больным, он должен находиться в среде обычных учеников. Но в том-то и дело, что все вокруг были обычными, никто из сверстников не воспринимал всерьез всегда замаранную в красках дикарку, в лучшем случае обходили стороной, а безжалостные девчонки — именно они не любили ее больше всех — вытравливали из класса.

И что же?.. Она избегала школы, а выданные в качестве помощи для нуждающейся семьи тетради использовала для рисования. Большую часть времени бродила по берегу реки, смотрела на поезда, сидела на станции, глядела в окна дальних поездов, воображая те города, в которые эти люди ехали. Мать иногда била ее за школьные прогулы, за то, что приходилось долго искать. Надя молчала, потому что чувствовала, как трудно ее матери, как бедно они живут. Но чем она могла помочь? Те небольшие деньги, которые Вадим Вадимыч давал за картины, мать отчаянно пропивала. Жить самостоятельно Надя не могла, будучи всецело привязанной к матери, которая, несмотря на свою беспутность, все же была единственной ее защитой. Ничего хорошего в дальнейшем их не ожидало.





В один из сентябрьских дней в их дом заявился возбужденный Вадим Вадимович и стал требовать все работы, какие были у Нади, для участия в серьезной художественной выставке в Москве. Столичные специалисты заинтересовались работами Нади, предсказывали успех и хорошую продаваемость ее картин. Надя собрала все свои творения, готовые и в черновой работе.

— А где твоя «Река печали»? — Вадим Вадимыч раздраженно спросил Надю.

— Нет, нет, нет!.. — глядя в пол, повторяла Надя.

— Что — нет?! — с ненавистью смотрел на девчонку Вадим Вадимыч. Эта грязная квартирка и две ее ненормальные обитательницы вызвали у него чувство брезгливости, зависимость от них бесила его.

— Вадим Вадимыч, дорогой, смотрите, и без того много хороших картинок, небось уж обойдется. — Мать Нади пыталась примирительно успокоить спонсора.

— В Москве люди хотят эту картину видеть.

— Украдешь, не привезешь! — резко выговорила такую сложную для нее фразу Надя и отвернулась к окну.

— Глупая, эта работа прославит тебя! У тебя появятся богатые покупатели, вылезете из нищеты!

— Вадим Вадимович, а вы нас не обманываете, не все ли наши деньги забираете? Надюша, может, и вправду отправим твою картину, скоро зима, а у тебя ни одежды, ни сапог?

Надя, бешено кусая губы, взглянула на мать и выбежала из дома.

— Я вас умоляю, найдите картину, без нее успеха не будет, я вам очень хорошо заплачу! — воровато глядя на мать, зачастил Вадим Вадимыч.

— Я и сама не знаю, где она... Может, у деда Лучкова?

— Кто такой Лучков?

— Кочегар, живет в самой кочегарке, у него часто Надька гостит, — общинчески прошептала Надина мать.

Надя в это время бежала к деду за защитой — от Вадим Вадимыча и от матери. У Лучкова она громко плакала, не в силах объяснить свое горе.

— Кто тебя обидел, солнышко? — Дед гладил ее по голове своей худой рукой.

— Картину... спрятать... продадут, — показывала пальцем Надя на ярко выделявшуюся посреди обклеенной желтыми газетами стены картину.

— Да кто же ее здесь возьмет, кто знает про нее?

— Продадут, продадут! — рыдала Надя.

Дедушка успокаивал Надю и задумчиво глядел на изображенную реку, которая сейчас казалась печальной как никогда.

А через два дня картина пропала. Свою каморку Лучков никогда не закрывал, потому что красть в ней было нечего, а немногих пьяниц, пытавшихся сделать у него притон, он отвадил силами полиции, заявив о том, что поселковая котельная — объект стратегический. В день, когда Лучков, по обыкновению, гостил, а вместе с тем и помогал перекла-

дывать печь в доме однорукого инвалида, его собственное жилье перевернули вверх дном: опрокинули стол, выбросили в котельную табуреты, отбросили крышку его топчана и унесли из-под нее картину, которую дед бережно завернул в покрывало. Сорвали со стен все рисунки, подаренные Надей деду.

Обнаружила пропажу сама Надя, которая почувствовала в тот день неладное и заглянула к Лучкову. Увидев перевернутое хозяйство деда, она все поняла, застыла, широко раскрыв глаза. Ее замкнутое сознание вдруг охватило всю мерзость совершенного предательства, она задрожала, схватила валявшийся на полу молоток и побежала к дому Вадим Вадимыча.

— Что тебе, дурочка? — грубо спросил Вадим Вадимыч. Он был явно пьян и криво усмехался, глядя на молоток в слабых руках Нади. — Иди-ка сюда. — Он резко потянул ее за руку с молотком и затянул в глубь своего дома. — Ты будешь всегда рисовать мне картинки и делать то, что я тебе прикажу...

После того дня с Надей случился психический срыв, ее увезли в психиатрическую больницу, где она пролечилась два месяца. В долгие и ничем не заполненные дни она неподвижно лежала, глядя в белый потолок. Иногда вздрагивала, начинала метаться и по лицу ее текли обильные слезы. Часто мнилось ей: огромная серая пустота — не свет, не мрак, но тревожное ожидание. Вдруг издалека — стремительная лава, черная, валит на тебя. И так страшно, бежишь от нее, задыхаешься, и нет ниоткуда спасения...

Постепенно она стала приходить в себя: подходила к окну, смотрела на желтые деревья, черную дорогу и белые разводы луж, попросила у врачей акварельные краски. Подолгу всматривалась в свои рисунки, заново осмысливая и удивляясь тому, как они непредсказуемо рождались. Однажды ей приснился сон: она летала над рекой, поднималась почти до облаков, без крыльев, но с неведомой силой в теле. И вдруг в небе встретила Лучкова: он смотрел на нее и виновато улыбался, будто извиняясь за то, что тоже летает. Он выглядел особенно молодо, в белой рубашке, был светел и чист. Она радостно спрашивала его, как он смог взлететь, но он улыбался и молчал. И молчал...

Окончив лечение, она не захотела возвращаться домой, а пошла к деду Лучкову. Но в его комнатке вдруг обнаружила другого человека, который сообщил ей, что дед умер три недели назад, а похоронили его на общественные деньги.

Растерянная Надя долго стояла молча у порога каморки, глядела на топчан и дедушкино покрывало, потом развернулась, медленно вышла, а затем и побежала — все быстрее. Она бежала долго, задыхаясь, не видя из-за слез ни смотревших на нее людей, ни сигналивших машин.

Вот и лес, ее любимые березы, беззащитно голые, посреди опавших листьев... Обняв дерево, она долго, навзрыд плакала. Затем, успокоившись, тихо смотрела в разъясненное небо и на то, как внизу, под горой, протекала вечная река.

**Анатолий СОКОЛОВ**

**«ВМЕСТЕ С ПЕСНЕЙ  
УМНОГО МОЛЧАНЬЯ...»**

20 апреля 2010 года не стало Анатолия Евгеньевича Соколова, известного новосибирского поэта и философа, — «в груди сработал выключатель», как без сантиментов, намеренно снижая всякий пафос, выразился он в одном из своих стихотворений. Эта нарочитая сдержанность высказывания, стоическая направленность интонации, а также склонность укрыть свои чувства насмешкой, культурологическим образом, явной литературностью, впрочем, всегда отличали тексты Соколова — тексты на самом деле очень энергичские, полные тревоги, восхищения, негодования, боли, тоски по уходящим ценностям. Ну а еще, конечно, особый «соколовский стиль» явлен в сразу улавливаемых читателем «внешних» вещах: в густой, пересущенной даже, метафоричности в первую очередь, в сложном синтаксисе, в завидной изобретательности рифмовки, в смелом, порою дерзком, словоупотреблении.

Анатолий Соколов являлся постоянным автором «Сибирских огней». Лучшие его стихи (конечно, из-за ограниченности журнального места — далеко не все) включены в наш специальный выпуск (№ 12, 2014), посвященный Году литературы в России и вобравший в себя произведения самых ярких сибирских прозаиков и поэтов за более чем девяносто лет.

Сейчас же мы предлагаем читателям познакомиться со стихами малоизвестными и совершенно неизвестными — выявленными при работе с архивом Анатолия Соколова, обнаруженными в личных собраниях его друзей и коллег.

Публикация подготовлена Мариной Акимовой и Владимиром Ярцевым.

Публикаторы благодарят вдову поэта Елену Артёмовну Салину, предоставившую архив Анатолия Соколова, а также выражают благодарность Евгению Александровичу Лазарчуку, директору Новосибирской государственной областной научной библиотеки Тарасовой Светлане Антоновне и начальнику отдела городского абонемента Красниковой Татьяне Николаевне за содействие в изучении и сохранении наследия автора.

**Редакция**

Из книг «Крепость», «Осенние птицы»

\* \* \*

Почитай мне из самого раннего,  
Что-нибудь почитай Мандельштама.  
В небесах от летящего лайнера  
Остаются на память два шрама.  
Вдаль плывут облака неуклюжие,  
И уста повторяют: «разлука»...  
У искусства простое оружие:  
Звуки образа, образы звука...

\* \* \*

В родительском доме тяжелая дверь на запоре —  
Там новый хозяин купается в сладком поту,  
Подсолнух глядит на меня через дырку в заборе —  
От желтого взгляда слова застревают во рту.  
С трудом поднимая руками тяжелые веки,  
Стою перед домом как столб, еле-еле живой:  
На крыше гордятся богатством листы нержавеющей,  
И двор зарастает неласковой дикой травой.  
А в детстве ломилась от птицы большая ограда,  
И вечером с поля корова несла молоко.  
О, где же деревня — души моей боль и отрада?  
Ты вроде бы рядом и так от меня далеко.  
Лепились друг к другу родни фотокарточки в раме...  
И слушал спросонья ворчливый бревенчатый дом,  
Как новое платье шумит на сияющей маме  
И сабля судьбы уже жадно свистит над отцом.  
Семейная жизнь в это время была настоящей,  
Вдруг сердце сломалось, и сразу потух его взгляд.  
Гонцы за вином в магазин отправляются чаще,  
И в горнице круглые сутки гулянки кипят...  
Стонали от топота ног половицы и вещи,  
Хотели как лучше, а все выходило не так...  
Чем больше вина, тем пространства для радости меньше,  
А утром с похмелья в больной голове кавардак.  
Пропали без вести пиры и ристалищ Ахиллы,  
Спилась Пенелопа, зарезан в Чечне Телемах,  
Оранжевый клен у родительской вырос могилы,  
И желтые окна сверкают в соседних домах...



Пока еще катится дней беспризорных телега,  
 Редящий к осени лес за деревней угрюм,  
 И в кухне по стенам, казалось, до самого снега  
 Рассыпана горсть тараканов, как черный изюм.

\* \* \*

Вот эти избы, вросшие в суглинок  
 На берегах больших студеных рек,  
 И песни с черно-красных грампластинок,  
 Как ни старайся, не забыть вовек.  
 Все то же небо с коршуном и тучей,  
 Все те же степь и лесополоса,  
 Ау, надежда сразу стать могучей  
 И за ночь сделать былью чудеса...  
 Прищуривай компьютерные очи:  
 Так нестерпимо жидок белый свет.  
 Нет ни крестьян уже и ни рабочих  
 И вообще России больше нет...  
 Убратся б подобию и поздорову  
 Куда-нибудь из патоки мирской,  
 И втихомолку радоваться слову,  
 И смерть принять с любовью и тоской.

\* \* \*

Есть что-то чудное в крестьянах: из них любой влюблен, как царь,  
 В коррозию лесов жестяных, полей щетинистую гарь,  
 Гордясь собой, как Стенька Разин, одетый в бархат и сафьян...  
 Но даже Бог из грязи в князи не сможет вытянуть крестьян.

Крестьянин в мире современном по ощущению изгой  
 И к самым резким переменам судьбы склоняется весной  
 И только водкой душу лечит, счет не ведя заслуг своих, —  
 Ему перед собою легче быть грешником среди святых.  
 И без китайских церемоний, когда беда к стене припрет,  
 Припав щекой к своей гармонии, он про калинку запоет,  
 Или когда химеры рынка влекут сильнее, чем вино,  
 И что калинка, что малинка — ему, похоже, все равно.

К чему прилипнет взор усталый, слезясь на бешеном ветру,  
 Где медленно в озер кристаллы болота мечут клюкву икру,  
 И завизжит в поселке дальнем свиной транзитный тарантас,  
 С лесов приглушенным рыданьем не попадая в резонанс?  
 Крестьянам не до коммунизма, земля поможет, словно мать,  
 Без городского сатанизма им сто веков существовать...

Хоть отпечаток разоренья лет пятьдесят лежит на всем —  
У них соленья и варенья, мешки с пшеницей и овсом...  
И, полный лермонтовской грусти, крестьянин смотрит на стога,  
А в чистом небе — гуси, гуси кричат, конечно, га-га-га.  
Как в положении осадном, крестьянин выйдет на обрыв,  
Цигаркой с желтым самосадом родное небо закоптив,  
И два ведра на коромысле крестьянских плеч не тяготят,  
И в голове кривые мысли перегоняют жизни яд...

\* \* \*

Люди любят отруби и жмых,  
Звуки томно-нежного мычанья  
В розах твоих раковин ушных  
Вместе с песней умного молчанья.  
Почему художник глух и нем,  
Кухонно-кафейные витии?  
Миллионы музыкальных тем  
Пропадают на периферии...  
Расцветают нотные значки  
В сне, в траве, колесами измятой,  
Ты их жизнь сквозь толстые очки  
Наблюдаешь, словно соглядатай.  
Слишком много времени и карт,  
Как шестерка в стершейся колоде,  
Бродит беспризорный музыкант  
В чаще заковыристых мелодий.  
Разве не испытываешь шок,  
Следуя промышленной ложиной,  
Если каждый встречный пастушок  
Стих пасет кнутом и матерщиной?

\* \* \*

Ю. М.

Снег мандариновой пахнет до слез кожей...  
Дай мне уснуть, ради бога, ворона, не каркай!  
С листьями клена смешавшись, летит над горой  
Сор сновидений, сожженных души кочегаркой.

Ревность друзей на меня возводила поклеп,  
Двери подъездов в восторге скрипели, как скрипки,  
Хлопали ставни, а трубы рыдали взახлеб,  
Ветер сморкался в платок, от предательства липкий.





Суп моей жизни для женщины слишком густой...  
Бросив меня, словно осенью в погреб картошку,  
Ты будешь в свете блистать молодой красотой,  
Есть детективы, ласкать черно-бурую кошку...

Пусть в твоей рюмке катается мятный ликер,  
Будит шум теплого моря и запах магнолий...  
Я в твою тихую гавань ворвусь, как линкор:  
«Здравствуй, — скажу, — наливай. Это я, Анатолий!»

\* \* \*

Пролистав календарь, захочу помолиться  
На листочек с названием странным — «среда».  
В этот день обещаю руки твоей птица  
На плече моем петь и смеяться всегда.  
От осенних дождей отсырел каждый атом,  
И уют кабинетный забрал меня в плен,  
А у любящей женщины в сердце косматом  
Просыпаются медленно змеи измен.  
Скоро выползут злые тоска и обида,  
Вырвут с мясом из паспорта верности кляп...  
Пусть уходит на дно светлых дней Атлантида,  
Ворох воспоминаний, привычек и клятв.  
Шлет оплывшее прошлое сердцу угрозы,  
Просочилась слеза из-под облачных век...  
Подарю на прощание желтые розы,  
Чтобы вспыхнул в душе золотой фейерверк.  
Я устал от любви твоей злой и жестокой,  
Пары гусениц сладких презрительных губ...  
Кровь сегодня дешевле томатного сока  
И на каждом углу неопознанный труп.  
У высоких рябин задрожали верхушки,  
Держат ветки огонь немигающих ламп.  
Сколько времени мне насчитают кукушки?  
Все отдам лишь за то, чтоб забыть тебя. (Штамп!)  
Неужели начнутся такие приколы,  
Когда стану один я, кряхтя, словно дед,  
Наносить своей совести спящей уколы,  
Разбирая гербарии выцветших лет?



\* \* \*

Мешает вспыхнувший вдруг ливень  
Мне в люди вый̆ти без проблем,  
Нас счастье любит все ленивей,  
И жизнь дороже, чем Эдем.  
Гремит цепями кот ученый,  
Русалка вписана в ландшафт,  
И дуб под слоем пыли черной,  
Как уголь, поднятый из шахт.  
Под небом цвета манной каши  
То урожай, то недород...  
И жаль, что все богатства наши  
Прибрал к рукам чужой народ.  
Что хочешь сделать для комфорта,  
Несостоявшийся супруг?  
Согреть чайку, отрезать торта,  
Сбыть жизнь наскучившую с рук...  
Кто будет первый покупатель,  
С кем ты сойдешься на цене?  
В груди сработал выключатель —  
И свет погас во всей стране.

\* \* \*

Над городом жара висит чугунной гирей —  
Перелистай в уме холодных дней альбом,  
А выглянешь в окно, и солнце, словно чирей,  
Напомнит о себе в убежище любом...  
Поскольку есть в родне Мария и Иосиф,  
Ты в постные года не знал других утех,  
Как, выпуклым стеклом глаза свои украсив,  
Сидеть до петухов во льду библиотек.  
Кто в книгах ощущал под корками заглавий  
Родного языка и пламень, и гранит,  
Собранье букв во рту катает, словно гравий,  
Пока в стихии слов их Бог не растворит.  
Мечтавших разбирать в пыли благоговейно  
Ткань Слова круглый день, презрев июльский зной,  
Однажды соблазнит вкус крымского портвейна  
С халвой в одном кульке и женской болтовней.  
За белозубый смех бессонницей придется  
Платить, и очи съест быстрее дыма стыд.  
Но, ежели душа от счастья захлебнется,  
Гоморру и Содом Господь тебе простит.





\* \* \*

Чем старше жизни лес, тем больше дров,  
 А бурелом — собранье ветхих мумий...  
 Спит среди жертв сердечных катастроф  
 Рассудок, поврежденный льдом раздумий.  
 Еще сентябрь в лекарственном чаду  
 Метет полы, засыпанные мелом,  
 Считая, что находится в саду,  
 В саду прекрасных чувств одервенелом.  
 Здесь не слышать жужжания хищных пил  
 И пчелы не охотятся за медом,  
 Кто многих ненавидел и любил,  
 Не будет худо говорить о мертвом.  
 Так душно в непроветренной душе,  
 В ней трезвым долго трудно находиться.  
 И, как людской судьбы пресс-атташе,  
 Висит на горизонте рыба-птица...  
 И нет прочней решетки белых рук,  
 Ум под завязку заселен грачами,  
 Пугает ночью, появляясь вдруг,  
 Автомобиль с коварными очами.  
 Трать, друг, воображения бюджет,  
 В «Анналах» растранижь его, как Тацит!  
 Я пережил свой подлинный сюжет,  
 Продравшись через дебри имитаций.

### Из неопубликованного

\* \* \*

В детском сне городская окраина, порт речной и бараков разброд,  
 Где под знаменем Ленина — Сталина к коммунизму шагает народ.  
 Перед высохшей мумией с аурой клятвой верности мучают рты,  
 Расцветают от музыки траурной кумачовые с крепом банты.  
 Здесь в фаворе не правда, а истина, и прилипли к уму простака  
 Приключения мистера Твистера в стихотворном вранье Маршака...  
 Но, не споря с казенными книжками, мы усвоили жизни урок  
 И бесстрашно хрустели ледышками, души выставив на солнцепек...  
 А на кафедрах горе-философы добивались за пищу и кров,  
 Чтобы каждый болван стоеросовый сокрушал трансцендентных богов.  
 Но все меньше у постников рвения лицемерить с восьми до шести,  
 И на родине даже растения не хотят, хоть убейся, расти...  
 В гуще жуткого частного сектора, утонувшего в собственном «я»,  
 Андромаха оплакала Гектора и утратила смысл бытия...

Завершается мыльная опера, рухнул занавес, горек итог.  
Вместо Маркса молиться на Поппера учит темного папу сынок,  
И родителю не на что сетовать, если есть чего выпить и съесть...  
Ветер с клена, как старого сеттера, рвет клочками бордовую шерсть.

\* \* \*

Ты рано выходишь в проснувшийся сад  
И кажешься первому встречному грустным,  
Румяные жабы следят из засад,  
Как тень твоя бродит по грядкам капустным.  
В фуфайке, махая тяжелым кнутом,  
Хромает пастух, комплектующий стадо.  
От яркого света прищурился дом  
За темно-зелеными шторами сада.  
Ночь прячется в погреб, оставшись без сил,  
Погасла реклама с бутылкою фанты.  
Весь год под охраной ужасных верзил  
Деревню трясут за грудки коммерсанты.  
Не думай, что скоро народ городской  
Устроит ревизию их поголовью...  
Он спит, одурманенный русской тоской,  
В обнимку с беспомощной русской любовью.  
Как сделать, чтоб все проходимцы ушли  
Без жирной добычи, покрытые сажей?  
Волнуется море бесценной земли,  
А все остальное — в свободной продаже.

\* \* \*

*Галине Петровне Лазарчук*

Полюбил легионы дождя я, наверно, за то,  
Что свободнее дышится городу после обеда.  
Собираясь рубашку и тело мое превратить в решето,  
С ветки тополя мчится безумный комар как торпеда.

Пионерским костром открывается жизни сезон,  
Приготовился тщательно с вечера я, малокровный,  
Эмигрировать без колебания в праздничный сон  
Дня рожденья прекрасной и доброй Галины Петровны.

Приглашенные в дом этот временный нынче к семи,  
Мы вдыхаем до боли жемчужную пыль книжных полок...  
Сколько лет переносит счастливое иго семьи  
Мать, жена гениального Жени, учитель-филолог?



Выпьем русских напитков совместно с пророком Ильей,  
Салютующим в честь именинницы залпами грома.  
Пусть веселые ангелы кружат над вечной землей,  
А враги и завистники наши гниют, как солома!

Между связками бус дождевых заблудился мой взгляд,  
Ничего нет надежней сейчас и обманчивей крепкого зелья —  
Покровителя сборищ и драм, вдохновителя пышных баллад,  
Неизменного средства приблизить канун новоселья.

21 июня 1991 г.

\* \* \*

Словно фильм режиссера Кустурицы, под откос разгоняется сон  
Пассажира с Октябрьской улицы под безумные вопли ворон.  
Не сюжет, а сплошная нелепица, безобразие, вымысел, сор...  
Как монады философа Лейбница, мы друг друга не видим в упор.  
Есть в России эффект андеграунда после мора, войны и чумы.  
Райской жизни китайская грамота погружает в смятение умы.  
И у каждого храма встречается не Горгона, так сумрачный Вий,  
И, наверное, в пору отчаяться, если б не было Божьей любви.

\* \* \*

Пока не завершается предзимье,  
Могущество изношенной страны  
В большом комиссионном магазине  
Сбывается бомжам за треть цены.  
Мир — это секта, песня жизни спета,  
Дождь лижет зданий мраморный туман,  
И по бульварам Красного проспекта  
Уже не мчится с музыкой шалман.  
И все комплиментарные легенды  
Избранники из недр народных масс,  
Как верные клиенты секунд-хенда,  
Донашивать горазды после нас.  
Кто покупает — платит как попало,  
Посюсторонний мир в ладах со злом,  
И дезертиров сразу после бала,  
Сквозь строй прогнав, зароят в чернозем,  
Оправдывая лавром и омелой  
Жизнь глупую, как русское лото.  
За музыкой души заплесневелой  
Откроется еще бог знает что.

\* \* \*

В полдень лес горячий, словно домна,  
А с утра еще холодноват.  
Солнце, ты горишь неэкономно,  
Посвети на двести киловатт,  
Ограничься парой ведер блеска  
И охапкой яростных лучей,  
Чтоб увидеть, как глубоко леска  
Погрузилась грузилом в ручей...

\* \* \*

Агония лета. Нет слов для отчета,  
Но сон будоражит мечта.  
Вернулась вчерашняя мысль из полета,  
И пользы в ней нет ни черта.  
Блажен, кто, родившись в Советском Союзе,  
Свободой задет до кишок...  
А может быть, жизнь — это стая иллюзий,  
Попавшая в темный мешок?  
Оглянешься — станет на сердце хреново,  
Я полон тоски, как Орфей.  
Пусть жил паренек до Рожденья Христова —  
Он русский до мозга костей.  
Какой неудачный итог приземленья:  
О чем размышлял — позабыл...  
Смотрю исподлобья на наши селенья,  
Смеяться и плакать нет сил.

\* \* \*

И отрок ревет, разлюбив новогоднюю елку  
И стих позабыв про отчизны кусачий дымок,  
Дома вечерами закрыли глаза на защелку,  
И люди от страха в резиновый слиплись комок.  
Бойтся душа даже глаз из телесной кабины  
Уже показать: никому теперь здесь не родня...  
Попробуй взглянуть в беспощадные очи чужбины  
От первого дня до последнего Судного дня.  
<...>

Геннадий БАШКУЕВ

## СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ

Р а с с к а з ы

### Мелочи жизни

В это трудно поверить, но когда-то я мечтал о коньках, и не с допотопными брезентовыми креплениями, сработанными в каменном веке, — о настоящих коньках на ботинках с неотразимым названием «канады», с легкими, острыми, звенящими на морозе лезвиями. Я не раз представлял, как, небрежно перебросив «канады» через плечо, выхожу во двор, на глазах у потрясенно ковыряющих носы пацанов не спеша распускаю на ботинках густую шнуровку, погружаю ноги в обнову, едко пахнущую смазкой и кожей, подтягиваю шнурки и длинный жесткий язычок под ними, смахиваю варежкой снежинки с запотевшей и еще липкой нержавеющей стали, обстукиваю самодельной, вырезанной из многослойной фанеры клюшкой черные, не побитые в игре головки ботинок и, не глядя по сторонам, кромсаю лезвиями укатанный до гулкости толстый и грязный наст, по всем статьям обгоняя на хоккейном пяточке близ кочегарки тупые, неповоротливые, наивно загнутые полозья «снегурок», кое-как лепящихся к валенкам при помощи веревочек и палочек, жалких в своем главном недостатке — принадлежности к детству.

Еще я, конечно, мечтал о велосипеде со звонком на руле, дабы возвещать прохожим и остальному миру о своем явном превосходстве. Но двухколесная мечта была по тем временам совсем уж заоблачной, потому шла не первым, а вторым номером, так... на всякий случай. Еще я хотел кожаный ниппельный мяч, лучше чешский. Что еще?.. Уф, до сих пор глаза разбегаются... Бинокль с четырехкратным увеличением, классер для марок, складной ножик со штопором, хотя штопор был ни к селу ни к городу, в ту пору вина я не потреблял, как сейчас помню, и правильно делал, зато пробовал, паршивец, курить взятяжку (интересно, а поцелуи взятяжку бывают?) в школьном туалете, после чего мне стало худо прямо на уроке. Впрочем, это мелочи жизни, не имеющие к дальнейшему повествованию ни малейшего касательства.

Приведенная выше инвентарная опись хотений (не писать же — «мечт», как накорябал однажды в сочинении на вольную тему мой сосед по парте и по подъезду Толик по кличке Ссальник, за что схлопотал трояк



с минусом) могла быть сочинена любым пацаном нашего двора, разве что под иными стартовыми номерами — сообразно вкусам и величине пролитой перед родителями скупой мужской слезы. Как ни странно, щенок, пусть даже милашка с открытки-календаря, вопреки досужим представлениям детских писателей и педагогов-завучей о хрупком мире ребенка, в эту шкалу неодоушевленных ценностей попасть не мог не по причине одушевленности, а по причине отсутствия этой самой цены. Ну поставьте себя на место ребенка! Каким макаром, спрашивается, ему мечтать о том, что суют задарма и при этом дышат перегаром?

Этим-то убийственным свойством обладал кочегар дядя Володя, который периодически бухал по коридорам нашего барака грязными кирзачами, оставляя на хлипких некрашенных половицах гигантские следы пришельца иных миров, просовывал в двери мятую, чумазую, будто обросшую угольным шлаком физиономию и прицельно щурил красный глаз:

— Ну?! Топить будем али не будем?!

И все как-то сразу понимали, что речь идет не об угле, не о давлении в котлах, не о дровах, а о щенках, которыми, согласно графику собачьих свадеб, разродилась в очередной раз дяди-Володина сука Райна, добродушная блудница, грязнуля, помесь бульдога с носорогом, со свалывшейся шерстью цвета солдатской шинели, башкой с кочегарское ведро, с откусанным в период битвы за женихов ухом и висльми, розовыми в крапинку сиськами матери-героини. И что в ней находили кавалеры — уму непостижимо!

Дело было в том, что с окончанием отопительного сезона дядя Володя получал премиальные и, забросив совковую лопату куда подальше, приступал сотоварищи к бытовому пьянству, не сходя с рабочего места. Естественно, без хозяйского пригляда Райна в окружении разнокалиберных поклонников отбивалась от рук и становилась крайне неразборчивой в связях. В итоге Райна то находилась в интересном положении, с трудом волоча по земле набухающие сосцы, то, вывалив язык, лежала у дверей кочегарки, облепленная многочисленным потомством, которое с отчаянным писком толкалось в очереди за молоком. Столь изысканное, с прибалтийским акцентом, имя для собаки дядя Володя придумать никак не мог, несмотря на то что брал приступом город Оснабрюк и освободил Злату Прагу. Райну обозвали таковой, как и кормили, всем двором после коллективного похода в кино про несчастную любовь матери-одиночки производства «Таллин-фильм». Она и была дворнягой в истинно высоком значении слова, неизменной и неприкосновенной достопримечательностью местного ландшафта. Ближе к холодам, освободившись от материнских обязанностей, Райна пепельно-бурым сфинксом возлежала на теплых кучах шлака, высокомерно скашивая мутный, что дяди-Володин, глаз на копошащихся поодаль человеческих детенышей, разрешая себя гладить и кормить школьными завтраками — и так всю зиму до наступления женихов.

Спустив последнее и прорвав блокаду собутельников, дядя Володя выползал из застенков кочегарки, несломленный и безмолвный, с недоу-





мением шурясь на белый свет: зеленеющую траву, пробившуюся там-сям сквозь россыпи шлака, мелюзгу, гоняющую мяч, сохнувшие на вешалах пододеяльники, греющихся на солнышке разом притихших бабок. Райна бросала ловить мух и приветствовала хозяина лежа, будучи в заботах об очередном выводке, ради приличия выбив хвостом угольную пыль. И виртуоз лопаты и граненого стакана вдруг осознал, это было заметно по характерному плевку сквозь зубы, что инкубационный период в природе закончился и, кажись, настал *топительный* сезон. Дядя Володя, как все земноводные, линял шкурой — засаленным ватником, пред оком зевающей Райны сгребал слепых кутят в мешок и нетвердой поступью устремлялся в жилой сектор, чтобы задать людям, можно сказать, гамлетовский вопрос.

Сказать можно. Ибо, как ни крути, вопрос стоял ребром: или вы берете щенка на постой и тем спасаете ему жизнь, или божьей твари уготована жуткая участь — пустить пузыри в мятом ведре из-под угля, истекающем ржавой водицей аки кровушкой — по вашей, заметьте, вине. Быть извергом никому не хотелось, но и держать собаку на десяти квадратных метрах не было никакой возможности. Зачастую там уже обреталось подросшее потомство Райны, нагло всученное тем же дядей Володи накануне прошлого отопительного сезона, да и своих спиногрызов хватало. От невыносимого внутреннего жара — как в топке! — светлые полоски тельняшки обуглились, и, скребя их, кочегар в присутствии детей тыкал в лицо исходящим плачем комочком плоти: промедление с ответом было смерти подобно. При взгляде на кочегаров кулак размером с голову ребенка, в котором кто-то невидимый, лишь хвостик торчал, подавал писк о помощи, одна и та же мысль посещала головы взрослых и детей: зачем топить, когда можно чуть-чуть сжать поросшие жестким светлым волосом пальцы с лопатообразными ногтями, отороченными черной каймой... Пискавый клубок проблемы разрешался вполне педагогично. Заполучив сто граммов — некоторые жены даже припрятывали их к приходу кочегара, или мелочь серебром, а то и рубль, смотря по семейным обстоятельствам, дядя Володя, одобрительно крякнув, бросал щенка обратно в мешок со словами, что это была шутка юмора. Да-да, шутка, громогласно обращался дядя Володя к детям, топить щенят никто и не собирался, он лучше отдаст их в хорошие руки. Что это были за хорошие руки, можно было только, поживаясь, догадываться, но выводок Райны исчезал со двора одновременно с дядей Володи, который, совершив свой иезуитский обход, беспробудно храпел в кочегарке на топчане, накрывшись пустым мешком из-под щенят. После чего приходил в норму, брился, пованивал шипром и здоровался по утрам с чистой совестью — это было заметно по характерному плевку сквозь зубы.

Но Толик-Ссальник, которого прозвали так после того, как он украл сало на колхозном рынке, утверждал, что дядя Володя по ночам все-таки топит щенят у себя в кочегарке и уже мокрых сжигает в топке. Честное пионерское, он видел собственными глазами, когда убежал из дома от пьяного папаши и ночевал на чердаке кочегарки!.. Пацаны ему не поверили: разве можно верить человеку, который, когда его поймали и за-

ставили прилюдно жрать украденное с горчицей, на втором шмате сала обоссал левую гачу? Так и пошло: Сальник, в смысле — Ссальник. Но Толик с криком, что он никогда не врет, полез драться. Драться никому не хотелось — чуяли щенячьим, что ли, нюхом ссальниковскую правду. Лишь поковырялись в носах и, пристыженные, молча разошлись. И когда по теплу дядя Володя с шевелящимся мешком за плечом африканским дедом морозом пожаловал к нам домой, я крикнул из-под отцова плеча, что дядя Володя всё врет, а все ему верят, потому что боятся. Мама сказала, что нехорошо так говорить на взрослых, а отец нахмурился и налил гостю водки в стакан. А когда кочегар ушел, вытер мне слезы и сказал, что если дядя Володя действительно топит щенят, то он сообщит начальнику кочегарки, а мне к Новому году купит «канады», он обещает. Мама спросила, с каких это, интересно, шишей. И они стали ругаться. А я стоял, обалдев, с мгновенно высохшими от счастья слезами, люто ненавидя лето за то, что летом не бывает Нового года.

О щенке с белой звездочкой на лбу и белыми же лапками, которого за шкурку опустил в мешок кочегар, я вспомнил лишь вечером. Толик-Ссальник прибежал, размахивая руками: «Ну, кто врал? Айда сегодня ночью! Айда в кочегарку, че, струсил, да?! Сами струсят, потом обзываются!» — и Толик презрительно сплюнул.

Оказывается, Серёга-Первый передумал идти ночью в кочегарку. Сдрейфил позорно, девчачий любимчик! А ведь громче всех орал, что Ссальник врет. Да еще сбежал с колхозного рынка в решающий момент — это ему он должен был перебросить краденое сало. Толика и поймали с поличным.

— Сам обоссался, а еще обзывается! Серый — гад! Серя-засеря!..

Серёга был высоким пацаном со смазливим, что у пионера с обложки детского журнала, личиком, аж тошнило (не путать с Серёгой-Слоном). Во дворе было два Серёги, два Серых. Один — красавчик, другой — урод с большими, как у слона, ушами. И никакие грязные клички не могли обгадить противную красоту первого Серёги. Его так и звали: «Это какой Серёга? Первый?»

Девчонки к нему липли, что ириски к зубам, давали списывать домашние задания на переменах. Уж очень Серёга-Первый любил ириски «Золотой ключик», которыми его угощали одноклассницы и даже одна старшеклассница.

Непонятно, зачем баловню судьбы понадобилось искать приключений на рынке. С Толиком — с тем понятно. Маленький, шустрый, в великоватой телогрейке с вылезшей ватой, доставшейся от старшего брата, он был рожден для мелкой кражи. Напарнику Толик годился по плечо. Вдвоем Ссальник и Серый образовали странную пару двоечника и хорошиста, Тарапуньки и Штепсея, но фартовую. Толик скидывал телогрейку на уличной лавке, на нее никто не зарился, настолько она была никудышной, и шнырял меж торговыми рядами, передавая Серёге краденое: сало, соленые огурцы, яблоки, круг молока, банку меда, один раз даже сырую печень — все, что попадалось под руку. А Серый, натянув на личико пионера-горниста невинное выражение, не спеша покидал рынок



со школьным ранцем, в котором перекатывалась и бултыхалась добыча. Ее делили по-братски. Толик тащил снедь домой, младшим братьям и сестрам, а Серёга выменивал продукты на ириски у знакомой продавщицы гастронома № 1. Женщины его любили с детства, особенно те, кто постарше.

И вот Серёга-Первый в нужный момент сбежал. Испарился из торговых рядов — что-то его спугнуло. И Толик остался с вездокон на руках — со шматом сала. Ему бы швырнуть его подальше от себя, но кидаться продуктами было выше Толиных сил. Ну и обоссал гачу, с кем не бывает.

То было двойное предательство. Мало того, что Серый бросил Толика на растерзание разъяренным торгашам, так еще, когда избитый подельник обвинил в трусости, в кругу пацанов обозвал Толика Ссальником. И поправил пышный чуб, будто в пионерском салюте: «Всегда готов!» Мол, честное пионерское. Кличка приклеилась, что клей БФ в авиамодельном кружке. Так в громком хохоте потонуло Серёгино предательство, его заслонило броское прозвище. И никаким жалким Серей-засерей его не переплюнуть. Ловкий пацан этот Серый. Всегда ловил момент. Всегда готов.

И опять Серёга-Первый струсил идти ночью в кочегарку. Может, не струсил, а чуял подвох? Вдруг напарник бросит его в нужный момент...

Я согласился. Еще запишут в девчачьи любимчики... Толик велел взять спички, моток бельевой веревки, надеть кеды, чтоб не скользить и не греметь по крыше. В условленный час мы взобрались по останкам водосточной трубы, ночь была лунная, для дураков. Пугая кошек, проникли на чердак, где чем-то воняло, чиркая спичками, нашарили пожарный люк. Матерясь вполголоса, подняли тяжеленную крышку и при тусклом свете дежурной лампочки увидели сверху — как на ладони! — котлы, кучу угля, лужицы, лопаты, ведро и ржавую бочку в углу. Дяди Володи не было, но мы слышали храп — хозяин спал у себя в каморке. Мы порядком замерзли, прежде чем до нас донесся кашель. Дядя Володя, почесываясь и кряхтя, попил воды из-под крана, беспричинно пнул ведро — и в тот же миг кочегарку прорезал писк, будто пищат голодные птенцы. Донеслось поскуливание: Райна скреблась в дверь с улицы, чуяла неладное, умница. «Ну, кто врал, кто врал?! Сами трусы!» — забубнил, обрызгав ухо, Ссальник. Уж очень ему хотелось избавиться геройским поступком от позорной клички. Зевая и потягиваясь, дядя Володя зачерпнул воды из бочки, опустил ведро на пол, дужка жалобно всхлипнула. «Щас, щас увидишь...» — заерзал Ссальник и чуть не столкнул меня вниз. Дядя Володя огляделся (мы пригнулись), воровато перекрестился и достал из мешка писклявый комочек... Когда очередь дошла до щенка с белой звездочкой на лбу, я, вываливаясь в люк, закричал вниз: «Фашист! Фашист!» Но было поздно, кочегар разжал пальцы... Я снова закричал, Толик свистнул. Дядя Володя задрал голову, блеснул зрачком, схватил ломик и пошагал к двери. Мы кубарем скатились с крыши — и пока бежали не чуя ног к дому, в голове сверлило: «А на фига мы взяли бельевую веревку?»



Он стоял в проходе торговых рядов и смотрел вниз, не обращая внимания на толчки прохожих. Так замороженно рыбак смотрит на дрогнувший поплавок. Наверное, так мышкует лисица. Была суббота, рынок бурлил. Дранный китайский пуховик, на ногах неродная пара обуви. Но не это заставило остановиться...

Н-да, далеко от колхозного рынка Серёга по жизни не ушел. Тот, который Первый. Хотя базар был уже не колхозный — буржуйский. Горчица без сала. Тут не шматами — вагонами воруют. По всему видать, друг детства салом уже не промышлял. Не ловил мышей. Потерял квалификацию. Я его узнал по одному быстрому движению — так раньше он поправлял пышный чуб, что у пионера с обложки детского журнала. Сейчас, за неимением чуба, он поправил засаленную вязаную шапочку с адидасовской биркой. Германский лейбл с тремя ступеньками вверх в данном случае значил уступы вниз — дна не видать. Ага, это тот самый пацан, который обозвал Толика Ссальником и не пошел ночью в кочегарку. Прежнего красавчика признать было сложно, но тут Серёга-Первый снова сделал движение, поправляя чубчик, коего не было в помине. Будто хотел поднять пионерский горн, да передумал. И нос грязный. На обложку детского журнала не годится.

— Серёга?! — окликнул я и для верности добавил дворовую кличку. — Серый, Первый, ты?

— Тихо, Гендос, — не поднимая глаз, буркнул Серёга-Первый. Он нырнул под ноги покупателей и схватил монету.

Довольный добычей, Серый, нимало не смутившись встречей спустя четверть века, пояснил свой вид — дескать, пострадал от любви. Так и сказал: «От любви». После Серый заторопился, сказал, его ждут.

На остановке торчал тип в грязном камуфляже и кроссовках и пялился под колеса отъезжающих маршруток. Внезапно он кинулся в грязный снег, что-то быстро сунул в карман. Раздался визг тормозов, мат...

— Это Олешка. Пусть работает, — сказал Серёга. По его словам, он изобрел идеальный, а главное, абсолютно законный способ добывания средств. Он заключался в том, чтоб в местах скопления людских масс, не привлекая внимания, часами глазеть под чужие ноги. Чаще всего люди теряют, конечно, десятикопеечную мелочь. На втором месте по степени теряемости идут почему-то рубли, а уж потом полтинники. Роняют и железные десятирублевки, а вот пятаки и двухрублевки — редко. Так что основу Серёгиного бизнеса составлял его величество рубль. Люди теряют его и не шибко о нем жалеют. А вот за червонцем возвращаются. Однажды поднял сотенную, так догнали и дали еще — три дня харкал кровью в подвале. В лучшие, обычно предпраздничные, дни заработок доходит до ста — двухсот рублей, в худшие все равно хватает на булку хлеба. Как только Серого осенила гениальная идея, он забросил сбор пивных банок. В серой его жизни бывают и минуты триумфа.

— В удачный день залезешь в трамвай, а кондукторша давай гнать. Ну я ей отсчитаю рублики — вот у нее рожа-то вытягивается! — залился



счастливым смехом Серёга-Первый, обнажив беззубый рот. Рот, которым он когда-то чавкал, жуя ириски «Золотой ключик», и, мокрогубый, целовал женщин. Правда, лет через десять после школы Сергей жевал «чуинг гам», сидя за рулем «жигулей» в черных очках. Ну вылитый мачо! Первый. Тогда Серёга торопился и высадил меня на развилке, сказав, что его ждет одна ириска. Потом я сообразил, что ирисками он называет женщин — они были сладкими, липкими и влажными после торопливых встреч.

В теплом салоне маршрутки Серого развезло, и он забыл, что его не хотели впускать в салон: от бывшего героя-любownika воняло псиной, словно он, как Толик-Ссальник, обмочил гачу. Тот от страха, этот — от радости. Мачо — что моча. От перемены мест сумма мелочи не меняется.

Я объяснил пассажирам, что человек пострадал от любви и ему негде принимать душ с шампунем.

— Ладно уж, раз от любви, — громко разрешил женский голос с заднего сиденья. — Ехай, милоч!

— Так бы сразу сказал, что из-за бабы! — буркнул водитель, давя на газ.

Хороший все-таки у нас в Сибири народ!

По прибытии я купил в магазине водки и палку сырокопченой колбасы. Хотел взять замороженных пельменей, но вспомнил, что у Сергея вряд ли имеется под рукой электроплитка. Серый терпеливо дожидался у дверей: охранник тормознул его из-за антисанитарного вида.

— Это ты зря, мы б костерчик соорудили!.. — на секунду расстроился Серёга из-за пельменей, не уставая, впрочем, повторять: удачный день, сегодня удачный день!..

День и впрямь был удачным. Спустя час в подвал влез Олег с буханкой хлеба, вялым фаллосом ливерной колбасы, суповым пакетом, двумя подгнившими мандаринами, луковицей и литровой бутылью воды из-под колонки. Володя сообщил, что за день поднял кроме мелочевки червонец и полста. Выпили за процветание малого бизнеса. Я всучил хозяину последнюю сотенную. И тут Серёга-Первый заплакал — две светлые полоски пробороzdили чумазую рожицу. На месте кудрявого чуба лоснилась лысина, на лысине темнела свежая ссадина.

— Кто это тебя, Серый? — спросил я.

— Ерунда, Гендос, мелочи жизни! Работа у нас вредная. Наливай... Будет день — будет ириска!

Серёга погладил лысину и захихикал, чернея ртом. Олег захохотал.

Хозяин вызвался проводить гостя.

Должно быть, мы представляли странную пару, если по пути нас остановил милицейский наряд. Сержант полистал мой паспорт и начал светить фонариком в Серёгину физиономию. Серый прищурился и стал поправлять несуществующий чуб. Заплетающимся языком я принялся объяснять, что человек пострадал от любви. Как ни странно, довод подействовал.

Уже из салона маршрутки, потеряв замерзшее стекло, увидел, как Серёга-Первый поднял что-то из снега и быстро, не оглядываясь, пошел прочь.





Я вспомнил, от чего пострадал Серый (кто-то из городских говорил в бане). В смуту шел в гору, кидал партнеров, менял девок, как фантики. Потом женился на красавице, детей завел. И бросил семью ради богатой и немолодой. Но богатая через год нашла себе моложе, а жена с детьми обратно не приняла, *отжала* квартиру.

И в любви он смотрел вниз. Ниже пояса, под ноги. А надо бы, брат, на звезды.

## Селедка под шубой

Человек — последняя тварь, привыкает ко всему. Эту сентенцию повторяет смотрящий, расхаживая меж нар и брезгливо воротя нос. Уж очень сия максима ему нравится.

В старом Китае должника заточали в деревянный ящик, лишь бедо-вая головушка да правая рука торчали наружу. И торчали на тысячу ли окрест живым иероглифом чисто иезуитски — в зной и зимой, пока родные и близкие не вырубят из семейного бюджета столько-то ланов серебра, требуемых по вердикту китайского мандарина. Вырубят буквально. Зубилом. Кусочки драгметалла, свободно конвертируемая валюта Степи, ланы и цины, вырезались, что тесто для пельменей. Для чего нагретый кусок серебра предварительно раскатывался до формата противня. В противном случае должник сидел в деревянной клетке до второго пришествия с севера тумэнов Чингисхана. Чалился, что селедка под шубой.

При этом пенитенциарная система Поднебесной подразумевала содержание подследственного за собственный кошт. И не отрубала правую кисть должника (отсекали воришке, с которого взять-то нечего, кроме серебряных пятен пота на рубище), а оставляла поверх ящика как рычаг для кормления. Так как досмотра передач в тамошнем СИЗО не было, то кормить разрешалось чем угодно. Даже рисовой и молочной водкой, кои сердобольные родственники для смягчения участи (и арестант слезно просил) носили бараньими бурдюками.

И что вы думаете... Древние хроники, включая «Книгу гор и морей», отмечают: злостные нарушители режима, режима питания, спивались, уходили в запой, хотя далеко вроде не уйдешь, и отказывались вылезать наружу, даже если родня, скрипя зубами, таки вырубил требуемые ланы-цины из родоплеменного куска серебра и внесла их в казну мандарина!

Загремел я на нары в разгар лета, когда тополиный пух на выносных столиках лип к пролитому пиву, что вокзальная шалава к командировочному, в камере-хате стояла духотища и вонь «носкаина». Почтище кокаина и клея «Момент», однако. Понюхаешь — и моментально заколдобисься. Я думал, не выдержу и дня. А вот уже снег тополиным пухом липнет к узкой оконной решетке. И скоро Новый год.

В камеру передали маленькую пластмассовую елочку. Ее водрузили повыше, примотав скотчем к трубе у воздухозаборника, чтобы видели все.

Если в доме пахнет мандаринами, значит, скоро Новый год. Только не китайскими, а абхазскими мандаринами. В самом деле, мандарины-начальники за Великой стеной могли пахнуть разве что перегаром от рисовой водки и уткой по-пекински, выкушанными на долговые куски серебра. Мандарины же из Абхазии быстро портились, потому что выращивались без химических приправ и покупались за пару недель до новогоднего застолья, не раньше.

Для меня Новый год — прежде всего мама. Худенькая, с натруженными руками, в великоватом байковом халате с вечными следами от свежей готовки, не говоря о фартуке. Она была прирожденной хлопотуньей: потерянная, несчастная бродила по квартире, когда дела не находилось, и жалобно бормотала, что у нее ноют руки. Без работы. Вены на узкой подростковой руке вздувались, как у грузчика, и уже позднее, к концу жизни, ее пальцы, знавшие лезвие ножа, ребра стиральной доски, половую тряпку, кипятки и соду — но и клавиши! — страшно искривились. По воскресеньям мама выпаривала белье в огромном чане, лихо орудуя палкой, а я, если папа был в загуле, носил дрова из сарая. К старости мамина правая рука напоминала клешню. Играть полонез Огинского на стареньком пианино стало практически невозможно. Мама переживала, но по-прежнему умудрялась меж хозяйственных хлопот подкрашивать ногти бесцветным лаком. Декабрьские деньки были ее страдой. С некоторых пор, класса с пятого, я думаю, стараниями мамы в мажорное мандаринное облако под занавес года то и дело вторгались элегичные луково-селечные нотки.

— Как вы сказали? Селедка под шубой?! — врезалось в память воспоминание мамы в парикмахерской, где она делала прическу под Эдиту Пьеху.

Перманент, мелкую завивку под барашка, столь популярную у работниц общепита, мама недолюбливала. Она училась в консерватории. В доме имелся камертон, похожий на идеальную рогатку без резинки. Пока мама записывала в очереди рецепт, я с ужасом представлял на тарелке овечью шерсть в рыбной чешуе.

Ох не зря мандарины в этом рассказе настроены под камертон селедки, чуяло мое естество с самого дремучего детства... Мама заставляла вынимать косточки из распластанной рыбной тушки, жирной и склизкой. Это напоминало выдергивание прожилок из мясистых долек мандарина. Оба занятия малоприятные, нервные такие. Будешь нервным, когда тебя ждут во дворе с клюшкой, а ты голыми руками влип в пахучую историю — и, кажись, надолго. Можно дважды вымыть руки хозяйственным мылом, но ладошки все равно долго воняют. Если чистка мандаринов имела стимул, обозначаемый выделяемой слюной, то первое занятие отдавало тоской — ударение на втором слоге, в хвосте рыбы. Потому что была еще ария Тоски, которую напевала мама, часто стуча ножом, нарезаая кубиками картошку, свеклу и морковь для селедки под шубой. Оставалось уложить их слоями и заправить.



А вот майонеза не было в помине. Главное отличие праздничных закусок и салатов моего детства: они заправлялись нерафинированным маслом и сметаной. Даже селедка под шубой, которая по популярности соперничала с оливье. Салат из квашеной капусты на всякий случай прохлаждался на подоконнике, пока гости квасились в прихожей. Хотя, на мой взгляд, салату из капусты, да еще с лучком, политым маслом, самое место на столе, а селедке, да под шубой, лучше плавать в проруби.

Дверь могла без стука распахнуться и войти соседка, спросить соды или соли...

Непонятно, почему мама акульей хваткой вцепилась в эту селедку. Мама так надоела всему дому своим открытием, щебеча в предновогодней лихорадке про изумительные вкусовые качества новомодного рыбного блюда, рецепт которого ей дали по секрету в лучших домах Бурят-Монгольской АССР, что сосед Емельянов в сердцах брякнул маме:

— Иди ты, Пьеха!.. Сама ты селедка под шубой!

Сам Емельянов был под мухой.

И мама заплакала.

Дело в том, что у мамы была старенькая мутоновая шуба. Со временем классный, шоколадной масти мутон превратился во что-то мутное, но с претензией на путное. Шубу она по осени вычесывала, пытаясь распушить тающий, что снег на асфальте, мех, носила в химчистку подкрашивать. Тщетно. Шуба катастрофически линяла, переливаясь от свекольного до морковно-картофельного колеров, холера ее раздери, белея проплешинами на полах и в воротах — словно пьяница, опрокинув рюмку, с размаху вторгся вилкой в слои рыбного салата, беспардонно разворошив и смешав цвета. Мама отважно заделывала лысеющие краешки шубы обрезками от моей шубки, в которой я ходил еще в детсад. Наверное, можно было выпилить из семейного бюджета ланы и цины серебряной мелочи, но тут подвернулся мужской кожаный реглан. Шик-модерн! От обновы папа отнекивался вяло, любил погулять, покрасоваться, а мама любила его, вот и все — факт не обсуждался. Тот и этот.

Но главная обида заключалась в том, что мама в симультанной погоне за дефицитом, модой и папой действительно стала напоминать селедку — фигурой, не более. Многие женщины почему-то мечтают похудеть, а мама изо всех сил хотела потолстеть, особенно ниже пояса — по бокам и за чем-то сзади, ела пюре с маслом на ночь. Поначалу я думал, что День конституции, краснеющий в отрывном календаре на декабрь, это женский праздник.

— У меня конституция такая, — краснела мама от замечания какой-нибудь толстухи, — я в Китае родилась, там все такие...

Услышав про сопредельную державу, люди опасливо кивали, будто в одночасье прозрели в китайской грамоте.

И папа любил маму. Но по случаю, что ли... Без случая эта любовь никак не давала о себе знать. К примеру, когда мама заплакала, он полез драться с соседом Емельяновым, а тот был выше на голову. Они вышли из подъезда на мужской разговор. А вернулись пьяные. Оба. При этом сосед придерживал сползающего папу.



— Мать, прости! — кричал папа маме. — Мы на одном... того самое... Первом Украинском... того самое... пластались-то... Щас же з-звинись, гад! — икал отец.

— Хозяюшка! Трали-вали... — рокотал Емельянов, кадыкастый, в хэбэшном трико, надетом задом наперед, отчего неестественно вытянутые коленки делали соседа каким-то парнокопытным. Только без рожков, козлиной бородки и дудочки.

— Соседушка! Да ты ваще не при делах! — подтянул трико Емельянов. — Селедка — ваще мировой закусон... и не старшая ты, трали-вали... то ись... страшная... страшнее есть ваще-то... в смысле, не старая ты, фу ты, холера! — Сосед притопнул валенком.

Насчет того, кто старше страшно-старой селедки, это он зря. Мама скривилась, будто съела селедку без соли, и решила просолить ее слезами.

Но не будем о грустном. Новый год все-таки.

Мама готовила за день до 31 декабря и другое рыбное блюдо — обжаренный золотистый хек под морковно-луковым маринадом. И дешево, и сердито, приговаривала хозяйка. Но с началом селедочно-шубной эпопеи хек стыдливо краснел на подоконнике на пару с салатом из капусты. Однажды папа притаранил из Баргузина красавца сига, размером с полено, и мама сделала из него чудо-пирог, который участники застолья вспоминали весь год. Главная заслуга сига — у него не было косточек... Прибалтийские шпроты в плоской, что подошва, банке, как все консервированное, шли в дело в последнюю очередь, обычно на старый Новый год или для непредвиденных гостей. Особенно по линии профкома. Под вечер, уже теплые, вваливались в дом Дед Мороз со Снегурочкой. В эту дипмиссию в коллективе обычно отряжали сачков, нарушителей трудовой дисциплины и скучающих незамужних женщин. Точнее, они вызывались сами. Дед Мороз иногда забывал бороду и Снегурочку, а забытая Снегурочка порывалась остаться до утра и показать маскарадный наряд Русалки...

Ну, с рыбой мы покончили. Также в качестве мирового закусона мама выставяла холодец. Но редко. Холодец надо варить с утра до ночи, а у мамы куча дел, вплоть до инструкций по наряжанию елки. Елку, с налипшими корочкой снега и опилками, папа приносил всегда настоящую — появившихся на прилавках «Промтоваров» пластмассовых елок разного калибра не переносил. На дух. Даже если на кухне радио орало с утра до ночи: «Химию — на поля!»

Кроме шаров и сосулк на ветках меж мишуры и стеклянных бус созревали огурчики, помидорчики, луковички. Повелось это с дедушки Хрущёва и его пристрастия к подъему сельского хозяйства и подъему в заоблачную высь — аж соломенную шляпу сдувало. Одна тема космоса чего стоила: ракеты и прочие спутники. Игрушечной фауны, от попугаев и обезьян до рыбок и свинок, тоже водилось в изобилии. Кроме стеклянных висели мягкие их собратья. Деда-мороза и снегурочку изготавливали из ткани, ваты и пенопласта. Потом появились пластиковые деда-морозы и снегурочки. Те были теплые, а эти холодные. Елку обязательно увенчивала звезда — с подсветкой и без.



В начальных классах я тайком вырезал снежинки, фонарики, фигурки из салфетки и фольги, не признаваясь в девчачьем рукоделии друзьям, а потом с чувством собственного достоинства забросил его.

Однажды мне влетело. И не от папы, а от мамы. Подсмотрел, как старшеклассники устраивали в классе новогодний «дождь». Делалось это просто: кусочек ватки наматывался на край «дождинки», ватку мочили и бросали в потолок — ватка прилипала к беленому потолку... Когда от маминого шлепка ринулся в совмещенный санузел, туда следом прибежала мама. И там, обнявшись на унитазе, мы с наслаждением ревели уже вдвоем.

Мама вешала на елку шоколадные конфеты, сделав нитяную петельку на ушке фантика. Начинку я тайком съедал, а фантик-пустышку аккуратно расправлял и оставлял на ветке, очень довольный своею хитростью. И только сейчас, спустя треть века вспомнив родную улыбку, меня вдруг ожгло, как горчицей: вашу мать, мама знала все!..

Если отец привозил из командировки в сельский район говяжьби языки, то на свет рождалось дивное заливное блюдо. На узкой длинной тарелке оно матово дрожало, дразня едока. Язык проглотишь! Маленькая розетка с горчицей дополняла вкус. Раз я второпях ухватил чужой кусочек говяжьего языка, щедро намазанный горчицей, — и рухнул под стол... Горчицу собственноручно готовил папа по рецепту, вывезенному из Венгрии, где дослуживал после войны. Пожалуй, то был единственный кулинарный вклад главы семейства в дело победы над уходящим годом. Год старел, буквально съеживался по часам, скукоживался по минутам — под фронтальным натиском мамы и мадьярской сабельной атакой с фланга.

Дверь без стука распахивается, и соседка спрашивает то ли соды, то ли соли... в кухонном угаре не понять.

— Клава, возьми сама!.. — не разгибаясь, кричит мама.

Ей некогда. В облезлой духовке мама выпекает шедевры: курицу с рисом, а также хворост и печенье с миндалем. Про печенье я вспоминал даже в армии. Кутаясь по самую макушку в караульный тулуп, то и дело поправляя сползающий ремень АК-74 со штыком, я глядел на небесное светило и чувствовал себя самым несчастным человеком под луной. В ее разводах мне чудилось мамино чуть подгорелое печенье с миндалем. И тогда узоры печенья магическим образом перетекали в профиль девчонки из соседнего двора. Мысли мои, дерзкие и горячечные от обжигающего мороза, ввинчивались в темень ракетой класса «земля — воздух». Луна становилась ближе, невозможное — возможным.

Армия не то, что вы думаете. Это долгое предчувствие любви, дрожащее на кончике штыка. И предощущение дома и Нового года. Что одно и то же.

Свежих огурцов и помидоров на столе не было, тогда в Сибири они зимой не продавались. Папе в начале декабря поручалось задание генштаба — раздобыть болгарское пятилитровое ассорти «Глобус». И папа разбивался в лепешку, но добывал, хотя еле стоял на ногах и ворочал языком. Стоила ли шуба селедки? Ведь помидоры из «Глобуса» вечно лопались...



Покончим с закусками, проскочим, обжигая губы, горячее блюдо... и скорей — к десерту. Взрослым — селедку, детям — плетку. Без шубы. Чтобы не обожрались сладким. Например, шоколадом фабрики им. Бабаева, который гости считали своим долгом всучить сынку хозяев, то бишь мне. Даже после зимних каникул карманы у меня слипались от раскисших шоколадных крошек. Такова светская жизнь! Под шумок застолья я пробовал выдохшееся полусладкое шампанское — кислятина, и как ее взрослые пьют? Магазинные торты в ту пору считались роскошью. Еще и поэтому в доме под Новый год помимо свежей хвои и мандаринов пахло подгоревшим печеньем.

Из напитков отмечу крем-соду, от которой я беспрерывно рыгал, и облепиховый кисель. Первый — производства местного безалкогольного завода, второй — маминого. Отец уважал сорокапятиградусную старку из литрового штофа — коньячного цвета и качества. И еще — вино мадеру, но на следующий день.

Стратегическая задача ночи — объесться и не уснуть. Начинали провожать старый год с вечера по часовым поясам. И помогал это делать телевизор «Рекорд» с экраном размером в полторы ученической тетради. Мы купили его с рук. Телевизор завернули в детское одеяло, не раз описанное мною (не из чернильницы. — *Прим. авт.*) в былые годы, обмотали бельевой веревкой. Я сидел на заднем сиденье «Победы», такси с шашечками, судорожно цепляясь за веревки «Рекорда» на поворотах. Когда приехали домой, то еще полчаса по указанию папы сидели напуганные и ждали, пока телевизор отойдет от холода. Если включить сразу, сказал отец, то телик может взорваться, что противоположная мина, а в минах папа знал толк. Сидеть я не мог и бегал по квартирке, пока папа не поставил на место. И вот «Рекорд» включили. На экране с треском побежали полосы... Я заплакал (что-то много плачут в данном рассказе, это не камертон, в смысле, не комильфо), мама закричала. Папа собрался ехать бить рожу. А оказалось, местное телевидение показывает до одиннадцати часов (завтра на работу) и начинает вещание с восьми утра. Всю ночь мне снились кошмары, будто из «Рекорда» лезет пьяный кочегар дядя Володя и рычит, что Райна поставила рекорд, родив за раз тридцать три щенка...

Потом пацаны всего подъезда ходили к нам смотреть телик, сидя на полу.

Собственно Новый год начинался, когда раздавались позывные «Голубого огонька», мама надевала туфли, а меня заставляли мыть руки. Нет, вру, сперва мама надевала туфли — и в тот же миг она, непривычно высокая, *некухонная*, начинала светиться изнутри голубым светом... Мама в меру сил старалась приодеться не хуже, чем «в телевизоре», хотя бы по праздникам, стрекоча на швейной машинке «Зингер», которую героически вывезла из Китая.

Женщины обсуждали фасоны и прически дикторов, актрис и певцов, подпевали Майе Кристалинской, Эдите Пьехе, Муслиму Магомаеву, Ободзинскому и Поладу Бюльбюль-оглы.

— А ну еще бюль-бюль-оглы! — шутили мужчины, разливая водочку и папину старку. Выпив, они повторяли шутки Аркадия Райкина и частушки Мирова и Новицкого.

Громче всех смеялись мои родители. Прошедшие ссылку (мама), фронт и ранение под Берлином (папа), взрослые умели радоваться мелочам.

Позже, в старших классах, после просмотра «Ну, погоди!», «Чародеев» и «Иронии судьбы», вволю насмеявшись при виде Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны, рекордом ночи стало не уснуть прежде «Мелодий и ритмов зарубежной эстрады», где могли засветиться «АББА», «Модерн токинг», «Бони-М»...

Все это трали-вали, но вот куда старка, елки зеленые, подевалась-то!..

До одури наглядевшись по единственному каналу на «Двенадцать месяцев», «Морозко» и «Карнавальную ночь», ближе к полуночи я ерзал на стуле — во дворе ждали. Мы бежали на катушки, их устраивали на площадях, и катались до двух часов, в морозы под сорок. Аж сопли замерзали к вороту телогрейки!

После боя курантов все выходили на лестничную клетку и на улицу. Зажигались бенгальские огни, трещали хлопушки с конфетти, летал серпантин. Нынешние фейерверки и петарды заменяли выстрелы из ракетниц. Первый выстрел — сигнал к атаке поцелуев. В эпоху дедушки Хрущёва в городе было много военных. В нашем дворе под ликующие крики стреляли из окна третьего этажа, где жила русская семья офицера Башкуева (вот честное пионерское!). Сосед Емельянов, воевавший в разведке, глядя в расцвеченное небо, кусал губы. Отец вздыхал. А пьяненькие члены артели инвалидов, выкатившись на тележках из подвала Дома специалистов, озаренные красно-зелеными сполохами, плакали.

Сам Новый год пролетал как во сне. Слаще предчувствие праздника и его послевкусие. Это как лимонные и апельсиновые дольки: мармелад съедаешь, а жестяную коробочку хранишь годы. Это как увядший наутро оливье из холодильника «Орск» и холодные котлеты — вкуснее прежнего. Это как елочные базары: важна атмосфера, а не тощий товар. Это как пачки открыток, которые мама, улыбаясь, надписывала заранее — ввиду перегруженности почты. Это как расцвеченные витрины с елочными игрушками, мимо коих я зачарованный бродил.

Дверь без стука распаивается, и соседка спрашивает сахару-песку для десерта...

Ага, о десерте. Кроме абхазских мандаринов, линейку новогоднего десерта обеспечивали китайские яблоки изумительной кисло-сладкой терпкости. За ними мама ходила ночью к поезду Москва — Пекин.

Японский городской, эдак мы от Китая далеко не уедем!

На вокзале Хайлара в суматохе у них украли чемодан. Не украли, а подменили. Таким же чемоданом, набитым кирпичами. Швейную машинку «Зингер» воры не взяли, наверное, из-за тяжести. Мама все про-

шляпила. Будучи пятнадцатилетней растеряхой, она глазела на невиданное скопление народа.

За пару месяцев до исчезновения чемодана в город вошли японцы. Мама, пробираясь в школу, не раз отводила глаза, когда посреди улицы мочился японский вояка. В Хайларе открыли публичный дом с красными фонарями. Потом красного цвета стало больше. Однажды мама-подросток увидела, как солдат на улице вырвал из рук молодой женщины грудного ребенка, подбросил его и поймал на штык...

На улицах валялись трупы. И семья решила бежать. Помогло то, что мой дедушка, который раньше зарабатывал тем, что перекрашивал краденых лошадей, за год до вторжения Квантунской армии сумел устроиться на КВЖД обходчиком. И мама стала ходить в школу советских специалистов. Прежде она ходила в гимназию и изучала Закон Божий, а после не раз в старости со смехом вспоминала толстого попа-учителя, бывшего линейкой за то, что забыла «Отче наш». Когда мама перешла в советскую школу, гимназисты стали дразнить ее «красной жопой».

Эта *красножопость* и спасла. Японцы резали китайцев штыками — был приказ беречь патроны. Жизнь не стоила и чашки риса. Но квартал советских специалистов обходили стороной: СССР — это вам не палочки для еды! Спецов потихоньку начали вывозить. Моему деду помог русский инженер, с которым они после работы охотились в степи на сусликов-тарбаганов.

Они собрались в спешке. Все нажитое за два десятка лет уместилось в двух чемоданах. Когда раскрыли их в Улан-Удэ, то вместо вещей обнаружили кирпичи...

Старшая сестра Маня, моя тетя, отбыла раньше. Она поругалась с мужем, который не хотел ехать в СССР и решил бежать из Хайлара в Монголию. Маня спустя пару дней рванула верхом на коне вслед за любимым. В итоге ее поймали монгольские пограничники и бросили в кутузку, где томился муж. Тюрьма их и примирила. Надавав тумачков, супругов выгнали из тюрьмы и сказали, чтобы те шли на север. Они пошли по степи, взявшись за руки, озаренные лучами утреннего солнца...

Другая тюрьма была пострашней. Всех работавших на КВЖД стали шерстить по прибытии на родину. Тут и обнаружилось, что дедушка выехал из Хайлара незаконно, так как был всего лишь наемным работягой. Арестовали даже несовершеннолетнюю маму. На допросах их обзывали японскими шпионами. Били, кстати, мало — оплеухи не в счет. В ход пошло другое наказание. Говорят, эту пытку изобрели в Китае: голодным узникам дают соленую рыбу. Возможно, селедку. Люди набрасываются на еду. А потом им не дают пить. Ни капли. Умывают руки с мылом, чтоб не пахли селедкой. Говорят, ломались самые стойкие.

Вкус рыбы, что швырнули в камеру, мама помнила всегда. Она шептала о нем непослушными губами, когда лежала в больнице после инсульта. А до того — стеснялась. Потому что они спаслись тем, что по приказу отца пили собственную мочу... Они ничего не подписали, их не расстреляли, а как политически неблагонадежных сослали в Феодосию. А крымских татар оттуда выслали.



«О Феодосия, Феодосия!..» Все детство я слышал это загадочное слово из уст мамы, которая при этом вздыхала и на миг затихала в кухонной суете. Загадочная Феодосия так прочно вошла в домашний лексикон, что я думал, это такое ритуальное словечко, обозначающее пожелание чуда. Ну, типа «абракадабры». Потом я узнал, что Феодосия находится на Черном море, и решил, что мама в детстве отдыхала там в пионерском лагере. Оказалось, что мама никогда не отдыхала. Ни в детстве, ни после детства. Зато благодаря ухищрениям мамы были подняты все связи, все подруги и их мужья — и я побывал в пионерском лагере «Орленок». В Черном море мы купались, подражая человеку-амфибии из только что вышедшего фильма с тем же названием. Приехав домой, загорелый, я рассказывал, как нас возили на экскурсии в Туапсе и Новороссийск. И я знал, что спросит мама. Она в который раз спрашивала:

- Эй, человек-амфибия, а в Феодосию вас не возили?
- Нет, мама, это далеко.
- Да, это далеко...

Эх, кабы я знал всю мамину историю, то подражал бы в Черном море не человеку-амфибии, а вожаку сельдевой стаи. Это куда круче!..

Такая вот, япона вошь, селедка под шубой. Казалось, мама должна была, едва заслышав рецепт рыбного блюда, бежать к унитазу, чтоб выbleвать жуткие воспоминания. Но не из того теста была слеплена мама и ее печенье. Она училась в консерватории! Это как «иппон» — выигрешь вчистую слабого над сильным, чисто женская победа над усатым мужчиной, что надменно улыбался ей с портретов. Даже выше «иппона» — единичная победа по сумме и по очкам. И на время.

Сквозь толщу океана времени на дне Атлантиды я вижу ее, вечную хлопотунью, в фартуке поверх платья, пошитого на «зингере». И мне хочется крикнуть маме: не надо переживать, не отменят Новый год из-за пригоревшего печенья... и все-все пройдет. Все, кроме чуда.

## Дело табак

Пацаном я тонул. Тонул — сам не верил себе.

День был жаркий, воскресный, по радио передавали — двадцать градусов в тени. Оглушенное полуденной духотой, все население нашего городка, зажатого в долине выгоревшими бурными сопками, сбежалось к реке, что зверье на водопой. Местные красавицы в самошвейных ситцевых бикини, тонконогие уроды с необъятными трусами и животами, загоревшие до черноты короли пляжа в одинаковых нейлоновых плавках — их завезли в промторг восемнадцать штук на весь город; некто в ватнике с авоськой пустых бутылок, гогочущая, в сизых наколках, шпана, тазы с горками синеватого белья, рваные газеты, цветастые одеяла, смятые бумажные стаканчики, шлепки по воде, визг, лай, песня про черного кота... Груда тел вдоль дамбы, разбухшее сырое тесто вязкой плоти, лошадь у бочки с квасом, лакающие из реки собаки — каждой твари по паре, и я, проплывающий мимо них дурак, до которого никому нет дела.

Какашкой меня тащило вниз по реке — туда, за баржу, куда отчаянные пловцы, даже дядя Рома, служивший во флоте, заплывали только на спор и только на бутылку портвейна. Я слышал, как у дамбы копер монотонно и басовито — тум-м! тум-м! тум-м! — забивает сваи под стадион общества «Динамо».

Известное дело, какашки не тонут, но к берегу не пристают. Я никогда не выйду на зеленое поле стадиона в новенькой динамовской форме: белая футболка с ромбиком, синие трусы с белой полосой — ее обещали лучшим, и в поле и в школе, тем, чьи дневники без записей о плохом поведении и не исчерканы красным, что боковой флажок, карандашом. Школьные дневники тренер Михаил Васильевич проверял перед объявлением основного состава. Какашки не играют в нападении. А надо было слушаться старших.

*Не заплывать за буйки!*

Даже под взглядами девчонок из параллельного класса.

Течение реки, мощное, упругое, охлаждающее ноги, уносило меня прочь от людей. Они еще жили, загорали, брызгались водой, играли мячом и в карты, крутили любовь на полную катушку, а я... я — все, капут, кранты, каюк, кирдык... кажется, отыгрался.

— Дело табак, — молвил на лавочке дядя Рома, слушая под окнами нашего барака женские крики и грохот посуды.

Дяде Роме дома курить запрещали, потому что он забивал в трубку вонючий флотский табачок. И дядя Рома торчал на скамейке у барака. Играл в домино, раздавал советы, решал споры, банковал, втихую выпивал, глядел вслед незамужним женщинам — короче, прожигал жизнь. А еще — слушал концерт по заявкам, так он называл семейные скандалы в конце недели или после получки. При первых звуках домашних разборок дядя Рома крутил квадратной, как у медведя, башкой с седоватым ежиком, пучил красные, как у карася, глаза, жмурился от притворного страха и поглаживал желтоватые от никотина усы — на руке синел якорь. И гулко выбивал о дощатый столик табак из наборной плексигласовой трубки. Этими охристыми кляксами был заляпан весь столик, на что ворчали игроки в домино.

Насмеявшись, дядя Рома долго кашлял, прежде чем выдать коронную фразу:

— Жисть — это вам, бляха муха... это вам не это... Ясно, шпана?

Ясно море, дядя Рома.

Какое-то время я держался на плаву, вяло шевелил конечностями, но солнце уж меркло, звуки гасли, в голове стоял гул, в глазах — желтые кольца. Ужас и стыд запечатали рот. Был упущен момент, когда доставало сил и решимости крикнуть: «Караул! Помогите!» Ну а что еще кричат в таких случаях? Закавыка в том, что могли не поверить и поднять на смех. Пацаны, я в том числе, частенько развлекались подобным манером в воде — с юмором у нас по молодости лет было неважно. Среди бела дня, двадцать градусов в тени — и такие шуточки. Теперь тони тут!.. Глупейшее занятие. Хотя еще мог молотить руками по воде, пускать пузыри, вроде бы жить. Вода, кстати, была горькой, и как ее собаки прямо из реки



пьют? — я вытолкнул неуместную мысль из легких с криком «А-а-а!». Крик получился слабым, детским, но был услышан. Ко мне приблизилось большое лицо с облупившимся носом, а в ушах золотые сережки, значит, женское; я улыбнулся ему — оно возмущенно фыркнуло и исчезло.

Дело табак.

Наконец-то до меня дошел смысл загадочной фразы дяди Ромы. Кабы не курил с пацанами за сараями, то мог бы с чистыми легкими и чистой совестью доплыть до берега. Доплыть до жизни, где залежи вфельного мороженого. Курить вредно. Словно свайным копром в глупую башку, торчащую над водой сдвигшимся футбольным мячом, вбивались простые истины. Уже поздно. Тушите свет. Детское время вышло.

Я то и дело ложился на спину, запрокидывал голову, но силы утекали с нарастающим шумом в ушах и болью в груди. Собственно, мне уже было все равно.

И, подняв голову из последних сил, я оглядел в тоске жгуче-зеленые, дрожащие в мареве заросли на левом берегу — прибежище всех влюбленных нашего города, они были еще прекраснее: ивы, склонившиеся к воде, длинными, как языки, листьями пили, иссушенные обжигавшей тайной, которую скрывали их ветви; возбужденные, они ласкали сотнями языков прохладное тело реки, а она точно сошла с ума... Не отводя глаз от разящих мозг снопов солнца, я сказал то, что хотело мое тело. И, откашлявшись, повторил уже спокойнее, глядя в белые клочковатые облака. Я сказал:

— Боженька, миленький мой, спаси, я еще не любил!

И сей же миг встал как вкопанный посреди реки, раздвигая острыми коленками ее длинные мускулистые ноги, плача, смеясь, сморкаясь — меня рвало прямо в воду, в пенящиеся у ног бурунчики. Река с ревом сорвала с меня трусы. И так я стоял в центре необъятной глади, не видя берегов, обнаженный избранник, ощущая твердь и счастье обладания. Мимо, накатив волну, пролетела моторная лодка, осыпая брызгами и капельками смеха. Я любил этих людей и эту реку. Я мог пройти по ней пешком от берега до берега, все моря и океаны.

Меня снял спасательный катер, и там, в катере, получив первую осводовскую помощь в виде увесистой оплеухи, узнал, что родился в рубашке: течение вынесло меня на песчаную отмель, на косу, узкую, в пять шагов, туда, где в реку впадал ее правый приток. Но я-то уже знал, что дети в рубашках не рождаются.

Дуракам и какашкам закон не писан. Урок не зарок. Я шел по жизни, дыма как паровоз. И теперь этот паровоз стоит на постаменте у входа в локомотиво-вагоноремонтный завод, куда нас водили на экскурсию еще пионерами. Обжигавше стылый паровоз, что покойник, я трогал дядю Рому на похоронах. Он был тверд, как железо.

Отбегался по рельсам. Попал в положение вне игры. Или вне жизни.

Так, не разменяв полтинника, я загремел в отделении кардиологии. Хотя лежал для профилактики, по выражению знакомого врача. Все койки в палате были забиты под завязку. Из-за нехватки мест сильный пол



валялся в коридорах. Было немного стыдно. Получалось, занимал место какого-нибудь болезного. Сосед маялся аритмией сердца, а через койку лежал мой ровесник после обширного инфаркта и всем охотно о том рассказывал.

— Слышь, чувак, потрянуло меня капитально! — разорвался в коридоре по настенному телефону этот мужик. — Грят, блин, обширный! Инфаркт-то!

Он как будто гордился своим диагнозом.

По жизни лежал я в хирургии, легочной хирургии, терапии, инфекционке, наркологии, в лор-отделении — еще в детстве по поводу вырезанных гланд, даже в военном госпитале, но более жизнерадостных людей, чем сердечники, не встречал. В кардиологии в основном парились мужики в расцвете лет, типа меня. И говорили мы о женщинах. И стар и млад. Не потому, что были морально испорченными, сообразил я позже, а потому, что, чудом выкарабкавшись из лап смерти в реанимации, радовались жизни. Женщины — это жизнь. Да и кто бы спорил...

Говорили мы также о водке, о футболе, ругали политику, вспоминали армию, но тему курения вежливо обходили стороной. Наверное, хотели курить, но до смерти боялись. Вот-вот, до смерти.

Один, радостный такой, приходил из соседней палаты и уже в который раз сообщал, что его привезли на «скорой» с верхним давлением в двести двадцать. Давление ему сбили. До такой степени, что он завел роман с раздатчицей столовой отделения урологии. Они часто уединялись на черной лестнице и курили. То есть курила она, а он слушал про несчастную долю матери-одиночки и, так как руки у него были свободны от сигареты, успокаивал собеседницу, нежно поглаживая по спине и ниже, много ниже, о чем нам в подробностях докладывал с горящими глазами однопалатник, старшеклассник с врожденным пороком сердца.

Курил пассивно, но крутил активно. Любовь-то.

Короче, за сердечным романом пациента и работницы кухни, его поступательным движением по лестнице страсти затаив дыхание следили со всех десяти коек нашей палаты. За окном чернела зима, рисуя узоры на холодном стекле; от окна из-под белых лент больничного пластыря на раме дуло, но от свежих сводок с любовного фронта становилось теплее. И верилось: отступит загрудинная боль, наступит весна. И тебя, немолодого, болезного, полюбит работница общепита. Прижмет к груди, белой и теплой, распаренной над кастрюлями.

Оживился даже старик с койки у двери:

— Кха... Того самое... А вот, паря, было дело в конце войны, в Польше, определили нас на постой к одной панночке... ну и... того самое...

Бывалые ловеласы давали обкуренному от страсти гипертонику-сердцееду дельные советы, а завсегдаи подсказывали укромные места в огромном здании больницы скорой помощи.

И — свершилось. Взаимоотношения на черной лестнице перемахнули через несколько ступенек. От пассивной стадии на этаж интенсивной

терапии. После ужина в палату, пованивая табачным дымком, влетел наш пассивный кавалер, прикрыл дверь и, озираясь, прошипел:

— Быс-с-стро, мужики!.. У кого есть одежда?!

Выяснилось: Ирка соглашается. И предлагает ехать к ней домой: сынка на зимние каникулы отвезли в деревню. План влюбленных был таков: раздобыть одежду, переночевать, а утром, до врачебного обхода, работница кухни проведет пациента-нарушителя обратно в палату. Через служебный вход той же черной лестницей.

Собирали счастливица всей палатой. У влюбленного гипертоника был нестандартный размер ноги. Подошли разношенные матерчатые ботики ветерана войны фасона «прощай, молодость». Старик чуть не прослезился от радости. Мой вклад в любовную интригу выражался в индийском мохеровом шарфе «Nahar». Изготовлено специально для нахалов. Было немножко жаль модной в ту пору вещицы, ворсистой и форсистой, ее носили золоченой биркой наружу: вдруг прожгут мохер сигаретой, но что не сделаешь ради запретного плода? Тем паче что сгорающий от страсти гипертоник обещал все рассказать. В деталях.

Парнишка с врожденным пороком сердца вышел в коридор — встал на ступе. Потом начал канючить у постовой сестры сладкую витаминку — отвлекал внимание. Деловой пацан вышел.

И вот у самых дверей, повязав шарф, пассивный сердцеед на наших глазах стал медленно оседать...

Забегали медсестры, пришел дежурный врач. Так, в шарфике производства Индии (Nahar, Neckutor collection, Mohair, dry clean only), нахала-гипертоника на кровати-каталке укатали в конец коридора, в реанимацию. Укатали сивку горки страсти. Видать, переволновался, сердешный. Спекся у ворот рая.

Украдкой плакала в коридоре работница кухни.

Утром состоялся разбор полетов. Черная лестница оказалась клеткой. Лестничной, но клеткой. Врач, шелестя длинной лентой кардиограммы, ворвался в палату: обширный инфаркт у наблюдаемого больного случился из-за нарушений режима. А именно — из-за курения. Самого злого его вида — пассивного курения.

— Я скорее разрешу вам сто грамм, чем сигарету! Больные придурки!.. Выпишу без бюллетеня!.. Всех! — орал кардиолог. Лента кардиограммы мешала ему махать руками.

Лицо врача, не первой молодости мужчины, побагровело, халат не застегивался на животе. Доктор присел на койку, сунул в рот таблетку. Руки с кружками и стаканами виновато потянулись к нему. Кардиолог взял кружку с водой, зачем-то понюхал содержимое и запил таблетку.

Жизнь — это вам, бляха муха, не это самое...

Да и кто бы спорил.

---

Владимир НАТАНСОН

## ВЫЙТИ ИЗ КОМЫ

Р а с с к а з

Пока жил, я любил ее, я помню. Память — единственное, что со мной осталось, больше ничего. Ни зрения, ни запахов, даже тела нет. Оно лежит на больничной койке без меня, я его не чувствую. Да, еще слух сохранился.

Я слышу, что жена здесь, но это не волнует — она не любила меня. Не научилась любить, не встретился ей такой человек. А встретился я. Так у нас и шло: я ее любил, она со мной жила. Жила честно — я был сыт, одет и согрет.

Сегодня жена привела с собой ребенка — девочку лет пяти, судя по их разговору. Понятно, что это моя дочь. Я ее не помню. Девочка любопытная:

— Мама, а почему папа на работу не встает, раньше он вставал.

— Папа болеет, ему нельзя на работу.

— Когда болеют, можно телевизор смотреть или сказки слушать.

Давай ему сказку прочитаем, ту, что в автобусе читали.

— Ты ему расскажи, а мне нужно с доктором поговорить, он сейчас зайдет.

Девочка охотно начинает рассказывать:

— Жила одна женщина, и у нее совсем не было детей. А ей нужен был ребеночек, хоть маленький. Тогда она пошла к колдунье в магазин и купила за двенадцать рублей семечко от ячменя... Мама, а почему у этой тети не было ребеночка? У всех же есть.

— Ну... не у всех. Еще ведь муж нужен.

— Какой муж?

— Как твой папа, а для меня он — муж. Без папы детей не бывает.

— А пока мой папа болеет, ты будешь к колдунье ходить за детьми?

Девочка старательно пересказывает мне книжку про Дюймовочку, легко подменяя непонятные ей подробности другими, из своей жизни. Вот крот у нее оказался в норковой шубке — наверняка мать жаловалась кому-то, что я не покупаю ей.

— Мама, слепой крот же не может работать, а как он купил норковую шубу? Наш папа работал — и то не смог купить.

— Папа купил бы, только он заболел.

— А колдунья шубы не дает, одних детей?

Я вспомнил, как вез Свету в больницу: роды начались неожиданно, она мучилась еще в машине, в голове осталась острая жалость и чувство вины. После этого воспоминаний нет — может, потом зацепиться было не за что?

Я вспоминаю эту женщину — все, что осталось от любви: чуть хриловатый голос, рыжие волосы, простенькие рассуждения. Ее мне не жалко, она сможет жить одна, потом найдет другого мужчину. Но о девочке будет заботиться, как и обо мне заботилась, в этом я уверен. Девочку она, наверное, даже любит. Или нет?

Как я все-таки попал сюда? И когда?..

Девочка отвлекла меня — я не слышал, как вошел врач.

— Здравствуйте, Светлана Сергеевна. — Голос у него приятный, мягкий.

— Добрый день, Борис Григорьевич, я просто пришла посмотреть — может, что-то изменилось.

— Но ведь мы вчера с вами все обсудили, вы же поняли меня...

— Конечно, доктор, только...

Вдруг женщина вскрикивает:

— Надя, Надя, что ты, к папе нельзя!

Наверное, девочка карабкалась ко мне на постель, может быть, я разрешал ей, пока жил.

И снова:

— Так что же будет, доктор?

Теперь он отвечает с оттенком раздражения:

— Прошло уже шесть дней, Светлана Сергеевна, но мы пока продолжаем лечение. А вы бы лучше шли домой. Нужно беречь силы, они вам скоро понадобятся.

Мне вполне понятно, что он имеет в виду. И ей понятно, но она робко пытается возразить:

— Доктор, а мне рассказывали, что иногда...

Сколько раз он это слышал в своей палате интенсивной терапии!

— Светлана Сергеевна, я же не настаиваю, но вы должны быть готовыми.

Дверь скрипнула, кто-то ушел. Только врач... или все? Нет, не все.

— Мама, а когда папа выздоровеет, он здесь останется или к нам домой пойдет? А то как мы без него будем верхнюю раму закрывать...

— Я и сама не знаю, Надюша.

— А ты зажарь целую курицу с корочкой, чтобы ему хватило, а я ему мандаринку оставляю: я видела, он брал из кулька, когда никого не было.

— Пойдем домой, поздно уже, скоро спать.



\* \* \*

Снова голоса:

— Наш папа лучше закрывал, у него тапочки, ему газетку не надо было подкладывать на подоконник!

Девочка говорит с нажимом, убеждает мать.

— Конечно, папа лучше, но ведь дядя Федя тоже закрыл верхнюю раму. И даже сам, мы его не просили.

— Не надо было закрывать, когда его не просили! Я всегда сама посылала папу, и тогда он закрывал.

Оказывается, это у нас игра была такая: она мне поручала, и я закрывал что-то. Радовалась, наверное, что я ее слушаюсь.

Кстати, я вспомнил этого Федю: сосед по лестничной клетке, мы с ним здоровались. Крупный, краснолицый, пьет нечасто. Работает охранником. Может, он и лучше ей подходит. Незамысловатый.

Девочка опять прорывается:

— Может, папу надо разбудить? Помнишь, он один раз на работу проспал, ты его тогда разбудила.

Зачем жена ее сюда приводит? Наверное, не хочет оставлять дома одну. Заботливая, этого у нее не отнять. И о Феде будет заботиться.

Теперь голоса рядом, у изголовья, врач объясняет терпеливо:

— Нет, Светлана Сергеевна, положительной динамики не наблюдается, к сожалению.

— Что же будет?

— Мы ведь с вами подробно обсудили это, добавить нечего...

Она пока не может согласиться:

— А может случиться так...

Ей трудно подобрать непривычные слова, он помогает:

— Бывает, конечно, что функции организма восстанавливаются после таких сроков, но это крайне редко. Так что вам нужно быть готовой. Когда придут родственники мужа?

Жена молчит, еще не может согласиться.

\* \* \*

Дверь скрипучая, слышно, если кто-то заходит. Опять голос девочки:

— Мама, помнишь, когда я болела, ты мне дорогое лекарство покупала? Там немного осталось в бутылочке — давай его папе накапаем?

Интересно, ей жалко именно меня или она добрая?

Доктора девочка раздражает, мешает говорить о важном, у него слегка напрягается голос:

— Вы должны согласиться, Светлана Сергеевна. К тому же выводу и комиссия пришла.

— Нет, Борис Григорьевич, я не могу, у него руки теплые — вы потрогайте.

— Я вам уже не один раз объяснил: это аппаратура поддерживает организм.

Не знает он мою Свету: на нее чем сильнее давишь, тем крепче упирается.

— Почему это я должна? А кто будет моего ребенка кормить?

Бедная моя, все ведь это напрасно. Врач не злой человек, но у него сроки.

— Ну что же, это ваш выбор. Только придется это оплачивать. За каждый последующий день.

Теперь Света молчит.

А доктор продолжает, будто и не было возражений:

— Вот и хорошо. Вы сможете завтра собраться? Я подготовлю документы к двум часам. Теперь я пойду, а вы можете побыть с ним.

Я ее не виню — она такая. Деньги у нее есть, на шубу копили. Если бы доктор обещал меня оживить, она бы заплатила. А без гарантии она денег не даст — практичная.

Вот так незатейливо эти двое назначили мне смерть.

\* \* \*

А я ведь уже встречался с ней раньше.

Один раз — в детстве, когда ремонтировали наш дом и мальчишки катались на крюке лебедки. Каждый по очереди брался руками за крюк, другие включали лебедку и поднимали его до четвертого этажа, потом опускали. Пацаны тогда были сильные и тощие, руки спокойно выдерживали тяжесть тела. Но я всегда очень боялся высоты, только скрывал это. Потерял сознание от страха уже на спуске, ниже третьего этажа, но свалился неудачно — напоролся животом на торчавший из мульды рифленый арматурный прут. Время было простое, друзья стянули меня с железяки, сосед-милиционер отвез в больницу на мотоцикле. Когда я оказался на операционном столе, жизни во мне оставалось немного.

Спасла меня немолодая женщина-хирург, выхаживала как родного. Да еще мама — приносила куриный бульон и масло, продукты практически недоступные. После моего возвращения дома не оказалось многих знакомых вещей. Особенно было жалко роскошный немецкий туалетный несессер; конечно, она им не пользовалась, но мы любили перебирать отделанные перламутром щеточки и флаконы.

В тот раз я метался на больничной койке от жизни к смерти несколько дней, а следующий случай был краткий, как хлопок ладоней. Мы с женой решили купить арбуз на рынке. Торговец, крупный узбек в голубой футболке на тугом животе, смотрел на нее влажными глазами, похохатывал:

— Что, дорого? Когда закрююсь, приходи в ларек — даром получишь.

То, что я стою рядом с этой женщиной, только добавляло остроты в его развлечение. Он был в полтора раза тяжелее меня и держал в руке большой нож — только что разрезал арбуз, половинки еще качались на



прилавке. Дальше все случилось одновременно: левой рукой я подхватил половину арбуза и шмякнул мякотью ему в лицо. В правой руке у меня оказалась килограммовая гиря с весов. Торговец, еще ничего не видя, вслепую метнул вперед руку с ножом, но Света рванула меня в сторону — успела. Другой узбек, пожилой, в полосатом халате, держал этого парня за руки и быстро кричал мне:

— Уходи, пожаласта, уходи. Нам не нада, мы искандал не хотим. Уходи!

Жена утащила меня, только у ворот базара я смог разжать руку — гиря весомо тюкнулась в асфальт.

Один раз меня спас врач, другой раз — жена. Теперь и врач, и жена согласились на мою смерть.

\* \* \*

В палате снова заговорили, девочка:

— Нет, я не хочу его, папа тоже тебя целовал, я сама видела. И он меня никогда не выгонял!

Я сразу представил, как она сейчас выглядит: глазами уткнулась в пол, губки надуты.

— Дядя Федя тебя не выгнал, просто проводил в кухню.

— Нет, выгнал, он дверь запер, я попробовала. Мамочка, давай нашего папу разбудим, он лучше.

Вся в мать, тоже практичная. Другой ребенок просто сказал бы, что папа хороший, а эта сравнивает с Федей.

Ну что же, она такая, моя Света: если бы я вернулся, жила бы со мной, днем кормила бы, ночью для виду постанывала — образцовая жена. Когда меня отключат, она будет делать все то же для этого напористого Феде: мужа нет дома всего неделю, а он уже лезет целоваться, спешит место занять. Только любить она не будет — ни его, ни меня.

А эта девочка, дочка, как она все-таки выглядит?

С этой мыслью я ушел от них туда, где было только время, плотное, как глубокая вода. Непостижимое ощущение — свободно двигаться в замерших давних воспоминаниях, выбирать любое, чувствовать, как согласнo и едва ощутимо вздрагивает масса всего, что с ним связано. Я думал о девочке, и в ответ мне, теперь уже невозможные без дочери, страгивались воспоминания о Светлане, медленно, из вечности в вечность, сквозь меня плыли ее зеленые глаза, высокие скулы, рыжие волосы — бесстрастно, неторопливо. Уплывали дальше и оставались во мне. Здесь не рождали желания ни губы, ни кожа, ни запах... Но я никогда не ощущал их так полно.

\* \* \*

Дверь скрипнула, послышались шаги нескольких человек. Они подавленно молчали, нельзя было узнать, кто пришел.

— Надя, эти клетки на полу — не чтобы прыгать. Стой спокойно, мне сейчас нужно будет важные бумаги подписывать.

— А как же ты будешь подписывать, раньше все важные бумаги папа сам подписывал, а теперь он ведь не сможет?

— Папа не будет подписывать.

— А кто будет, дядя Федя? Я не хочу.

Совсем неожиданно девочка горько расплакалась. Ребенок не капризничал, она так сопротивлялась. Поняла: сейчас они подпишут, и главным в ее доме станет не папа, а этот дядя Федя.

Врач распорядился:

— Настя, отведите ребенка и побудьте с ней, мы скоро закончим.

Но девочка уже рыдала во весь голос, ее не могли увести — вцепилась во что-то. Все эти родственники молчали, как рыбы холодные, она одна боролась за меня. Отчаянно, из последних силенок!

Нет, я не могу уйти сейчас, это бессовестно. Мой ребенок спасает меня, а я его бросаю? Да не будет мне покоя ни в каком мире, если я ее брошу! Я остаюсь! Я должен!

Великолепно работает мысль без тела — решение пришло моментально: чтобы остаться, нужно точно знать, что ты здесь нужен. И я уже это знал, я видел, как сажаю ее на плечи, как мы идем в зоопарк и как она утром залезает к нам с матерью в постель... А потом она вырастет и встретит свою первую любовь, обязательно встретит, не как ее мать. Должно же ей что-то от меня передаться. Может быть, и передалось — мне нестерпимо захотелось ее увидеть. Так нестерпимо, что глаза открылись.

Увидел только белый потолок. Зато тут же услышал звонкий радостный голосок:

— Мама, мамочка, готовь завтрак скорее, наш папа уже проснулся, ему скоро на работу!

— Надя, перестань! — Я просто почувствовал, как она с досадой дернула ребенка за руку.

Кровать качнулась, на миг я встретил знакомые зеленые глаза, и вдруг Света рванулась, как когда-то на базаре, выхватила из рук врача документы и прижала к себе — боялась, что тот все равно станет отключать, раз уже подписано. Это искренне у нее получилось, подумать не успела. Дорогая ты моя!

\* \* \*

Врач моментально перестроился, послышались команды, меня куда-то подключали, кололи, вокруг возбужденно говорило одновременно много людей. Все это было неинтересно, я только хотел увидеть. Меня повернули набок, и я оказался нос к носу с любопытной девчачьей мордочкой: рыжие волосы, скуластенькое лицо — вылитая мать.

Но глаза не зеленые, серые у нее были глаза.

Мои.

*Представляем молодых*

**Софья РУБАКОВА**

**«КОМУ ЗАВЕЩАТЬ КОРАБЛИ...»**

**Книга моста**

Однажды в холодной предутренней мгле  
Мне каждый будильник на этой земле  
Звенел и бежать поскорее велел  
Туда, куда ноги несут.

Но я опоздала на тысячу лет:  
В трамвае жевала счастливый билет,  
Бежала, петляла и путала след  
И не соблюдала маршрут.

Мой путь оказался далек и непрост:  
Когда мне судьба наступила на хвост,  
Пришлось оступиться и выйти на мост —  
И там никого не найти.

Там книга лежала обложкою вниз,  
И ветер царапал остатки страниц,  
Там было написано: «Только дождись»,  
А может быть: «Только дожди».

Я молча стояла над книгой моста  
И знала, что это и есть пустота  
И нет ни единого шанса из ста,  
Что утром расступится мгла.

Ума не набраться в закрытом гробу —  
Я целую жизнь прожила наобум,  
Но, каплю дождя ощущая на лбу,  
Я все наконец поняла.

\* \* \*

Когда выбираешь,  
кому завещать корабли,  
ясней понимаешь,  
что их невозможно отдать.  
Я буду лежать под землей  
в темноте и пыли,  
а их ожидает морская  
бездонная гладь.

Легко выбирая наследников  
для серебра,  
мечусь и не знаю,  
кому завещать корабли.  
Я создал их будто  
из собственного ребра,  
мои корабли среди всех остальных —  
короли.

Пока мой порог обивают  
друзья и купцы,  
покуда наследники  
шепчутся за стеной,  
мне снится не море,  
а скованный льдами Коцит,  
куда корабли приплывают  
прощаться со мной.

\* \* \*

Все банки в доме заняты вареньем —  
Малина, облепиха, ежевика,  
Смородина. И что-то овощное  
На верхней полке светит янтарем.

Куда-то делся май с его сиренью,  
А осенью попробуй поживи-ка,  
Когда слабеет зрение ночное  
И в воздухе запахло октябрем.

И хочется теплее одеваться,  
И чай себе заваривать покрепче,  
И кошку гладить — рыжую, как листья,  
Что целый день кружатся за окном.





Но, черт возьми, мне только девятнадцать,  
И можно думать, что сентябрь вечен,  
Гулять по лужам, оставаясь чистым,  
И воздухом напиться — не вином.

Я думаю, что те, кто любит осень,  
На самом деле любят ожиданье,  
Людей в плащах, туманы и рябину,  
Дожди, варенье, первый листопад.

Но осень — это старческая проседь,  
И кашель, и стесненное дыханье,  
И по углам квартиры паутина,  
И — нет надежды, что наступит март.

\* \* \*

Прижми ладонь к оконному стеклу.  
Я выгляну в оттаявший кусочек —  
Быть может, прочитаю между строчек  
Немыслимую уличную мглу.

Там, за окном, не очень хорошо.  
Давно восток и запад перепутав,  
Наш поезд отклонился от маршрута  
(Скажи спасибо — с рельсов не сошел).

Который день мы едем наобум.  
Замерзли окна. Кипятка в «титане»  
Не стало, а теперь и нас не станет —  
Мы не из тех, кто выдержит борьбу,

Когда вокруг почти что тишина.  
Гремят в коробке брошенные нарды.  
Мы вышли за пределы всякой карты,  
За рамки всех абсцисс и ординат.

Не спрашивай, что будет впереди.  
Не спрашивай, что видела в окне я —  
Какая-то, ей-богу, ахинея:  
Вокзал, большая надпись «Томск-1».

\* \* \*

Квартира — что клетка. Пускай золотая.  
А может, грудная. А может, для тигра.  
Но к жизни, что нас по планете мотает,  
Она, несомненно, красивый эпитаф:  
В ней спрятана суть, в ней заложена мысль,  
Желанье уюта и тихая пристань.  
Среди океана — видение мыса,  
Отчаянный смысл — и отсутствие смысла;  
Пульсирует боль на паркетном узоре:  
Все будет отлично, пока я с тобою,  
Но мы никогда не поедem на море.  
Но мы никогда не услышим прибоя.  
И в чертовом офисе целыми днями —  
От кофе до кофе, и даже в субботу  
Уборщица грубо меня выгоняет:  
Мол, хватит сидеть, не мешай мне работать;  
Троллейбус скрипит, накренившись немного,  
И эта квартира — что клетка для тигра,  
И хочется крикнуть незримому Богу:  
«Вот здесь и закончим. Финальные титры!»  
А ты побеждаешь в сложнейшем из споров,  
И я, несомненно, сдалась бы без боя,  
Но мы никогда не поедem на море.  
Но мы никогда не услышим прибоя.  
А в спальне светильник — маяк для заблудших,  
И спит покрывало, в углу притаившись,  
И души друг с другом играют в душе —  
Чуть-чуть помолчи и, конечно, услышишь:  
Смеются, включают холодную воду,  
Дерутся мочалками, рвут полотенце;  
Так странно, что я выбираю свободу, —  
Пока разговор не заходит о сердце.  
И тигр, что в клетке — с печалью во взоре, —  
Решит, что все это зовется любовью,  
Но мы никогда не поедem на море.  
Но мы никогда не услышим прибоя.



*Представляем молодых*

Михаил БАЛАБИН

**ОДНОКРЫЛЬЕ**

Р а с с к а з

Высоко-высоко вверх тянулась ракета. Наполненная огнем, она замерла на старте, молчаливая и стройная, опутанная металлическими фермами обслуживания, готовая сорваться, пронзая темное небо.

На самой высоте, на верхней металлической площадке, застыли перед люком космического корабля Кедр и Рубин. Они смотрели молчаливо на угольную, растянувшуюся до горизонта безбрежную черноту. Тьма покрывала всю землю, скрадывая очертания построек в испепеленной степи. Предутренный ветер ерошил им волосы, обдувал задумчивые лица, принося далекие холодные запахи ракетного топлива и весенних цветов. Они смотрели за горизонт, пытались отыскать ту неразличимую черту, где, смыкаясь с черной землей, светлея, вверх, вверх, до бесконечности, уходило темно-синее небо.

Они стояли на высокой площадке, чувствуя под ладонями металл, ощущая предутреннюю трепетную чистоту. Им казалось, что их освещенная холодными прожекторами ракета застыла в самом центре раздвинутого, растянутого снизу вверх, от черного до светлеюще-синего, океана. И ничего — ни гула голосов, ни слов, ни рукоплесканий: все осталось внизу. Только они, ракета и скользящие по глади неба лиловые взволнованные облака.

— Ну что... Кажется, пора, — сказал Кедр.

— Пора... — всматриваясь в темноту, ответил Рубин. Ветер шевелил рукава его легкой куртки, играл штанинами серого шерстяного костюма. Казалось, он хотел навсегда запечатлеть, вдохнуть в себя частицу этого утра.

— Послушай, — Рубин повернул задумчивое лицо к Кедру, дотронулся до плеча, — если что-то... произойдет, то...

— Все, стоп! — оборвал Первый и улыбнулся: — Нам еще на Луну лететь!

— Я помню, — серьезно сказал Рубин. — Мы должны кое-что ЭсПэ.

— Другое дело. Я твой дублер... и я тоже еще хочу туда. — Он показал в небо. — Слишком много дел. Все будет как положено.





Они вошли в корабль; внутри было светло и прохладно.

Кедр похлопал мягкую обшивку бортового отсека:

— Попросторней! Не то что «Восход», а? Неудобно, наверно, втроем было лететь? А здесь ты один. Правда, скоро ребята пристыкуются, тогда придется потесниться!

— Придется, — сказал Рубин, открывая люк в полу и заглядывая в кабину космонавтов. — Хотя тут тоже не разгуляешься...

— Ничего, терпимо... Ну все, до скорой встречи! — Кедр обнял его.

— До встречи, Юра.

Рубин спустился из орбитального отсека в командную рубку: тесная, как и предыдущее помещение, диаметром всего два метра, на полу, лежа на спинках, смотрят вертикально вверх три кресла. Он сел в среднее. Устраиваясь, проверяя приборы, датчики, тумблеры, слушая команды с Земли, он вспоминал, как ехал на космодром. Разрезая тьму, утробно рыча соляркой, автобус летел через ночную степь. Рядом сидели, улыбаясь, подбадривали его люди, он говорил что-то, но был уже далеко. Не здесь.

Остановка в пути. Помочиться на колесо, вдыхая ночной воздух, — традиция. Традиция, заведенная Кедром. Должно быть, смешно. Он улыбался тогда, улыбался, докладывая: «Космонавт Комаров к старту готов!» — но уже ощущал, чувствовал, что между ним и этими людьми незримая, будто стеклянная, стена. Стена, которая всегда встает между уходящими и остающимися.

— Как чувствуете себя? — В динамиках голос Кедра. Он уже спустился в бункер и будет сопровождать его до самого старта.

— Чувствую себя отлично!

Где разница между хорошо и отлично? Он задавал себе этот вопрос еще в первый старт. Тогда они взлетали втроем. Одноместный «Восток» переделали в «Восход», добавив еще два кресла. Так и запустили: его, командира экипажа с позывным Рубин, и двух космонавтов: Рубин-2 и Рубин-3. Кедр был прав — тесно. Очень тесно.

Так в чем же все-таки разница? Наверное, ни в чем. Ничего не болит и ладно — нормально, нормально! Достаточно.

Хорошо.

И все-таки ускользящая, почти незаметная, неосязаемая, как конец лета, как сухой листок на глади воды, — она есть, разница.

Ты заряжен, как многотонная угрюмая ракета, ты готовишься расправить плечи, вырвать их вместе с атмосферой, вместе с гравитацией, совершить почти невозможное, взлететь. Подрагивают руки. Колотит, разрывая жилы и мягкие ткани, сердце. Грохочут виски — ты кусок плоти в огромной гудящей пушке.

— Как чувствуете себя?

— Отлично! Отлично!..

Снова заговорили динамики: к Кедру присоединился Сокол — они шутили, рассказывали, как идет проверка систем. Его спрашивали о чем-то. Рубин отвечал машинально.

Он был далеко.

«Почти два часа ждать старта, — думал он. — Муторно. Долго. И все же быстро... Мне сорок лет. Кажется, так серьезно... Почему я не чувствую их? Может быть, все — просто секунда? Точка в потоке времени. Что значат сорок лет среди миллиардов? Это вечный поток... Поколение за поколением уходят, иссеченные временем, в никуда... Страшно. Бесконечность слишком велика. А тебе сорок лет. Где они? Пронеслись... как миг. Сколько еще осталось? Двадцать, тридцать? Можно прожить и до ста... Сорок, а я не чувствую их... Они говорят: *юбилей*, а я вздрагиваю, словно звучит: *могила*. Ничего не сделано. Сорок лет, а я едва подошел к старту... и столько, столько еще нужно успеть впереди... Как они пролетели?.. Быстро... Так быстро...»

— А теперь немного музыки, — простоватым, совсем не дикторским тоном сказал Кедр.

В динамике, шурша и поскрипывая, заиграла легкая мелодия. Игривый проигрыш закончился; серьезно и в то же время будто подмигивая начала девушка:

Был озабочен очень воздушный наш народ —  
 К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет.  
 Радисты скребли в эфире, волну ловя едва,  
 И вот без пяти четыре услышали слова...

В этом месте вступил, красиво занижая голос, Леонид Утёсов:

Мы летим, ковыляя во мгле,  
 Мы ползем на последнем крыле,  
 Бак пробит, хвост горит, и машина летит  
 На честном слове и на одном крыле.

Рубин улыбнулся. Снова спокойно, уверенно заговорил Кедр. По его голосу нельзя было понять, как волнуются, переживают люди на старте. Невидимое напряжение, от искры к пламени, растет: как поведет себя высокая, стройная, своенравная ракета? На ее верхушке, скрытый до времени от атмосферы обтекателем, застыл такой маленький, такой сложный космический корабль «Союз». Корабль, на котором еще никто никогда не летал.

Вслушиваясь в монотонное гудение, методично докладывая обстановку, Рубин старался не думать о том, что он — первый. Самое нудное — ожидание. Ждать, ждать, когда уже готов выстрелить... Невыносимо. Он бы взорвался, побежал вперед, выталкивая ракету, но должен сидеть, замерев в неудобном кресле — ноги едва не прижаты к груди, слушать, как шумят приборы, колотится сердце.

Кедр снова пустил музыку. Стало легче.

Он первый на «Союзе». Хороший корабль. Само название — «Союз»! Звонкое, сильное, острое. Проткнуть атмосферу, звеня, вырваться в небо. Даже система стыковки на «Союзе» — «Игла». Красивое, точное слово. Запомнить это заточенное чувство...

Но все же... обкатка. Подготовка корабля... Всего три беспилотных старта... Всего три раза запускали «Союз» в космос; в креслах сидели спокойные, уверенные в себе манекены — о чем они думали? Что видели, бессильные, в тех полетах?

Немного.

Нормально. Нормально... Соберись в кулак, кубик на кубик, настройся: ты ведь уже летал, летал на другом корабле, на «Восходе», ведь ты — ветеран. Пустяки! Адреналиновый восторг. Исследование. Да. Именно поэтому, вспоминая смешные тревоги, нервозность (тогда все же была нервозность), запах пота, ты все же лезешь куда не просят, рвешься в эту бездонную холодную вечность.

В памяти нет страха. Только напряжение, только полет. Совсем о другом ты рассказываешь репортерам, шепчешь на ухо дочке. Ты говоришь правду, но есть кое-что еще, совсем другая, изнаночная истина. Ты улыбаешься? Каждый раз ты боишься. Только миг. Один растянутый миг, назовем его «сейчас». Ни секундой раньше, ни секундой позже ничего нет. Страх бывает в настоящем, в этом режущем вечность станке, слепящем искрами лезвии: позади — прошлое, впереди — вечность...

Сколько же еще можно ждать? Скорей бы. Скорей...

Страх не страшен. Если ты летчик, ты знаешь его. Мгновенно проступает пот, становится жарче, все словно замедляется, стремительно несутся, посверкивая, мысли. Привычка. Страх учил тебя летать, ты привык, ты умеешь трогать его, как женщину, как разбуженного медведя, как...

Ты слушаешь, как гудят приборы, смотришь на индикаторы. Все в порядке. Выбрось эту тухлятину из головы. Задача ясна. Выйти на орбиту, проверить работоспособность систем и ждать, дожидаться второго корабля. «Союз-2» поднимется в небо на следующий день. Важно, чтобы «Земля» не промахнулась. Только бы «Союз-2» оказался рядом! Покрутимся, повертимся... Ерунда. Самое нервное — стыковка. Только бы не подвести со стыковкой...

Они одни в комнате.

— Все верно. — Генерал Каманин говорит спокойно и четко. — Но помни, что главная задача — взлететь. — Он делает многозначительную паузу. — И нормально сесть. Это твоя основная задача.

За окном медленно садится солнце. Его затухающие лучи, проникая сквозь шторы, спят глаза.

— Все остальное: стыковка, выход в космос — очень желательно!.. — Генерал серьезен. Он хочет донести сейчас что-то важное, что-то...

Вечер накрывает взволнованный подтаявший запах весны. Совсем скоро ложиться — в восемнадцать ноль-ноль. Как же не хочется спать! Подъем в 23:30. Как тут заснуть... За окном играет травой ветер.

— Глупо, Владимир, — продолжает Каманин, — глупо было бы из-за них...

Рубин соглашается. Через форточку задувает волнением и свежестью. Солнечный зайц, оскальзываясь, пляшет на лице генерала. Каманин говорит еще что-то, Рубин вдыхает холодный воздух; впереди — полет.



Весна.

Только бы не подвела стыковка... Последние метров пятьдесят автоматика отключится — и все будет на тебе. Прицелиться, как на тренажерах, мягко, уверенно... Рубин представил стыковку, положил ладони на управляющие ручки. Должно получиться... должно.

Что еще говорил Каманин? Не прошло и двенадцати часов после того наполненного умирающим солнцем вечера, а как будто пролетела вечность. Ничего не вспомнить. Главное — взлет и посадка. Главное...

А после стыковки, да, если он справится со стыковкой, что после этого? Двое хороших ребят из «Союза-2», рискуя жизнью, выйдут в открытый космос. Проплывут через эту безбрежную пустоту и постучат к нему в дверь: «Тук-тук. Открой, открой!» Совсем непросто...

— Минутная готовность, — сказал динамик.

Как быстро... Как быстро!

— На борту порядок, к старту готов, — ответил Рубин.

Ожидание, монотонное потное ожидание. Температура в кабине — пятнадцать градусов, но отчего-то жарко. Он в обычном, совсем не космическом спортивном сером костюме. Пристегнут ремнями в неудобном кресле. Ноги почти прижаты к груди — поза эмбриона, так проще переносить перегрузки.

— Ключ на старт.

Теперь недолго. Но пока еще есть время. Время есть. Что говорил Каманин? Что главное?.. Не помню. Не помню!.. Не облажаться со стыковкой. Обеспечить переход двух космонавтов. Да... Точно.

«Тук-тук». — «Кто там?» Если не откажет ни одна из систем — если не откажет! — он попробует запустить их внутрь. Пожалуй, действительно будет тесно.

— Протяжка один. — Где-то внизу, там, где сидели напряженные люди, потянулась, шурша, записывая и фиксируя все, бумажная лента.

Потом отстыковаться. Это, наверное, проще. Должно быть проще. Наверняка проще.

— Протяжка два.

А дальше капельки пота будут плавать по кораблю, парить в невесомости. Поздравляя, крепко сжимая друг другу руки, останется привязаться к креслам. Останется совсем ничего. Главное — стыковка. Стыковка.

— Ключ на дренаж.

Потом надо будет сесть. Почти как в «Восходе». Почти. Что же все-таки говорил Каманин? Может, спросить? Он где-то там, внизу, далеко... Рядом. Брось. Брось! Остались минуты. Надо собрать все кубики. Скоро все будет зависеть от него.

— Наддув.

— На борту порядок!

Вибрация, гул, шипение. Все уже! Все уже зависит от него. Скоро ракета оторвется от земли. Скоро он, частица плоти, песчинка на многотонной машине, поднимется в космос.

— Зажигание.

Что-то внизу под ним зарычало, зарокотало, корабль затрясло, раздался взрыв — толчок. Как будто величественный исполин потянул ракету вверх, упершись ногами в землю. Рубин почувствовал прерывистое медленное движение. На какой-то миг они зависли — будто выплевывающая пламя ракета, приподнявшись, не нашла на вдохе, не набрала достаточно огня, чтобы вырваться в небо. Еще один взрыв, толчок... Рубин почувствовал, как медленно разгоняется, поднимаясь все выше и выше, многотонная махина. Он словно оседлал огромный, раскачивающийся на путях, вибрирующий поезд. Уверенное, неостановимое, яростное движение — так что вжимает в кресло, давит на лицо и руки тяжестью, темнеет в глазах.

— Чувствую себя отлично, полет нормальный!

Тяжело сделать вдох, все рокошет, рычит: дребезжат какие-то детали, шипит, теряется голос Земли, трясется воздух. Кажется, ракета пошатнулась... сейчас она упадет, завалится, крутятся в атмосфере, опрокинутая гравитацией, рухнет на землю... Падение. Падение!

Грохот и рев двигателей.

Все нормально. Нормально... Возьми себя в руки! Так и должно быть. Быстрое, сдавливающее мозг движение. Чувствуешь, как клокочет в висках кровь. Его еще сильнее вжало в кресло — невозможно приподнять голову, пошевелить рукой; сквозь трескотню пробился голос Земли:

— Сброс САС...

— Подтверждаю, — ответил Рубин.

Еще чуть-чуть. Страх всегда здесь, всегда сейчас. Потрогай его языком, попробуй на вкус — солоно? Программа полета... Контролировать неконтролируемое. Отвечать Земле. Позывной Земли — Заря. Заря.

— Есть отделение первой ступени!

Ракета на миг замерла, стало легче дышать.

— Подтверждаю, Заря, я Рубин, подтверждаю!

Теперь пойдет... Пойдет, родимая! Вторая ступень. Его несет вторая ступень. Отвечать, вести человеческий репортаж. Хронику взлета. Скоро космос. Космос... Опять не слышно Землю. Помехи, сплошные помехи. Почему молчит Кедр?

Что-то метнулось, скрежетнуло одновременно со всех сторон — Рубин вздрогнул, не разобрав, что произошло, на миг зажмурился...

— Есть сброс головного обтекателя, — сквозь жужжание и треск спокойно сказал в динамиках Кедр.

Иллюминаторы слева и справа озарились синевой. Закрывающий космический корабль металлический щит отстегнулся и рухнул, обнажив небо.

— Подтверждаю сброс, — сказал Рубин.

Синева. Синева... Из среднего кресла не разобрать, не выглянуть наружу, не посмотреть вниз. Голову давит, слегка кружит. А все-таки лечу! Лечу уверенно и сильно, расправив руки, расправив плечи. Лечу!

Земля контролировала полет. Рубин автоматически отвечал, подтверждая происходящее. Нормально работают двигатели, состояние изделия нормальное, нормальная температура, нормально на борту и нормально в воздухе. Нормально. Нормально.

Ненормально только то, что он, кусочек плоти, искра сознания, выплунутый с земли, несется на огромной скорости в небо и не кричит, не вопит от страха, давления и пустоты, сухо приштамповывая действительность, объявляет ненормальное нормальным.

— Я Рубин, на борту все в порядке.

Ни на что не повлиять. Не изменить. Если забарахлит, заискрит, подергивая, накренится, перевернет, разворачивая ракету, чтобы расшибить в лепешку, вниз, то ничего, почти ничего не сделаешь. Тумблеры, ручки — смешно — не успеешь! Везет автоматика. Ты — пассажир, как те манекены. Да. Сухие безглазые манекены из первых трех пусков. «Товарищ председатель государственной комиссии, космонавт-манекен к старту готов!» Отважные путешественники. Истинные наблюдатели и холодные пассажиры. О чем думали они, врываясь в небо? Что понимали? Были ли у них свои...

— Двести секунд. Тангаж, рысканье, вращение в норме.

...свои чувства? Недвижимые суставы, повернутая набок голова. Их заботливо размещали в креслах, усаживали, как механических мертвых детей, чтобы наверняка узнать, прощупать эмпирически, как раскорежит, расковыряет их после полета. Бедные куклы!

Всего три беспилотных старта «Союзов» — и все неудачные. Первый экипаж манекенов погиб, товарищ председатель государственной комиссии, погиб смертью храбрых, разорванный системой подрыва. Их разбросанные клочки, если они остались, никто не искал. Третья команда специально обученных кукол сгорела, выполняя ответственное задание, ушла вместе с кораблем на дно Аральского моря.

— Двести девяносто секунд. Есть отделение второй ступени.

Второму экипажу кукол повезло — их ракета взорвалась на старте, но система аварийного спасения вытащила корабль из пекла. Откинувшись в креслах, глядя безглазыми взглядами вперед, куклы не понимали, что спасены. Для них продолжался единственный нескончаемый взлет. Они не могли заплакать от счастья — конструкторы не предусмотрели этого чувства; не могли зарыдать от ноющей боли — они не знали, что при старте в тяжелом резком дыму обменялся с ними жизнью, задохнулся настоящий человек.

Перегрузки вернулись. Рубин еле дышал: его вжимало, на него давила многотонная тяжелая атмосфера, все потемнело... Жертвы огня. Смешные человеческие игрушки... Надо собраться, надо перестать. Надо не думать, не каркать, а постучать по дереву... Где же взять дерево?

— Двигатели работают нормально. Повторяю, все идет хорошо, как слышите меня? — размеренный голос Кедр.

— Я Рубин, слышу вас отлично. Отлично!

Все идет хорошо. Да. Он уже думал об этом. Думал, соглашаясь на полет, размышлял, глядя на седого генерала в той гаснущей комнате...





Ты все решил, дружище. Тебе сорок лет. Неважно, что было. Манекены, жалкие безвольные гомункулы, мертвы. А ты — нет. Попробуй страх. Попробуй боль. Перегрузки выдавливают из тебя дух, как воздух из мяча, тебя трясет, разрывая ревом, в стальной капсуле, стрекочет сердце, затекли ноги... ну и что? Ты пилот. Возможно, лучший из тех, что сейчас на Земле, — не задавайся, но тебя, а не их послали в космос. У тебя есть задачи. Стыковка. Не провали, пожалуйста, стыковку...

Звук двигателей изменился. Стал тише — от рокота к угрюмому рыку. Рубин почувствовал, как в лицо задувает невкусным, как будто пропущенным через пылесос сквозняком. Уши закладывало — приходилось все время сглатывать, сглатывать, слушая, как щелкает где-то в перепонках воздух. Ослабела тяжесть. Только синева в иллюминаторах осталась неизменной.

Ты в управляемой машине. Ты оседлаешь ее, сумеешь обуздать этот красивый острый корабль, вернешь его...

— Пятьсот тридцать секунд, есть... двигателя третьей сту... — Голос Кедрa оборвался, затененный сетью помех.

Помнишь о деле? Ты обещал похоронить ЭсПэ на Луне — вот твое настоящее дело. Хватит ныть — третья ступень почти отошла, сейчас корабль выйдет на орбиту — начнется работа.

— Есть отделение космического корабля, — донесся слабый, искаженный голос Кедрa. — До встр...

Рубин почувствовал, как наливается легкостью тело, голова закружилась, пол и потолок на секунду сдвинулись. Преодолевая тошноту, он сказал:

— Заря, я Рубин, отделение космического корабля подтверждаю. Чувствую невесомость, как слышите меня?..

В ответ — трескучий шелест помех: «Союз» ушел за радиогоризонт Земли. Рубин повернул ручку, переключился на КВ-связь:

— Заря, я Рубин, как слышите меня, как слышите?..

Земля молчала. За жаропрочным стеклом, завораживая темнотой, простирался безбрежный, беззвучный космос. Рубин попробовал еще раз, еще — КВ-связь не работала. Он отстегнул ремни и почувствовал, как его задирает, переворачивает: мгновенная потеря ориентации, верх, низ — такие условные понятия поменялись местами. Борясь с тошнотой, Рубин выглянул в иллюминатор — на спине выступили капельки холодного пота...

\* \* \*

Он один над огромной голубой планетой. Низко гудят системы корабля, с тихим свистом обрабатывает воздух регенерационная установка, пощелкивают, переключаясь, программные механизмы, тикает хронометр. Скудость звуков. Только бесконечный, безмерный, глухой космос и такая далекая, такая молчаливая планета. Он один во Вселенной. Закричи, ударь кулаком в бледную обшивку, постучи костяшками в иллюминатор — никто, никто не услышит.



Связь с Землей прервалась почти сорок минут назад.

Гудят электромоторы, щелкают механизмы, свистит воздух, тикают секундные стрелки — что это по сравнению с растянутой вокруг тишиной... Хриплый голос, угасающий в вечности. Пустота.

Рубин висел в невесомости, прильнув к небольшому иллюминатору.

Он думал, что теперь, наверное, все. Программа полета закончилась, не успев начаться. Как это произошло? Мелочевка. Как вышло, что не сработала такая простая система? Механизм, который не мог сломаться?..

Рубин поменял положение, стараясь получше рассмотреть прижатую к борту, словно подбитое крыло, солнечную батарею. Сложенные сегменты отсвечивали золотистыми прожилками совсем рядом, в метре-другом за жаропрочным стеклом, бликовали на солнце, так близко... так невыносимо далеко.

Рубин прицелился, ударил ногой по обшивке. Сначала легко, затем чуть сильнее. Попробовать, попытаться изнутри запустить заевший механизм. Несколько ударов — глухой стук, гудение и щелканье приборов... и недвижимая тишина за бортом. Тщетно. Тщетно.

При выходе в космос автоматически открываются обе панели солнечной батареи — левая и правая. Они, словно раскинутые крылья, каждое длиной около четырех метров, вбирают в себя лучи света, наполняя корабль энергией, искрящейся белой кровью. Так почему же ты не раскрылась? Почему повисла безвольным отростком в этой чертовой пустоте?

Хорошо. Хорошо... Левую батарею заклинило. Попробуй это принять. Черт! Просто попробуй. Есть еще правая. Черт! Конечно, вся надежда на правую. У нее достаточно энергии, чтобы обеспечить корабль. Достаточно, чтобы попробовать пристыковаться. Не запори, пожалуйста, стыковку. Главное — стыковка...

Рубин легко оттолкнулся, перелетел к противоположному иллюминатору. Вот она. Искрится, расправленная, раскрытая, как золотистый парус. Он посмотрел на приборы — «ток солнца» всего четырнадцать ампер. Слишком мало. Надо хотя бы двадцать три. Мало. Для зарядки нужно двадцать три, а у него четырнадцать! Он прикрыл глаза — все пошатнулось, закружилось, не имея опоры: вестибулярный аппарат ответил тошнотой. Рубин ухватился за обшивку, пытаясь зафиксировать взгляд на приборной панели; через минуту головокружение почти прошло, оставив после себя неустойчивую разлаженность.

Это совсем не дело. Совсем не дело, старик. Надо привыкнуть к невесомости. У тебя всего четырнадцать. Это ничего. Ничего. Правая батарея раскрылась, значит, ты получишь двадцать три. Надо только направить искрящиеся золотом и латунию панели на Солнце.

Рубин привязался к креслу, глубоко вдохнул пропущенный через фильтры тепловатый воздух. Должна была сработать автоматическая ориентация. Должна. Управляемый машиной корабль обязан был повернуть расправленные батареи к Солнцу. Да... Почему автоматика не сработала?

Рубин нажал несколько кнопок, произнес:

— Заря, я Рубин, Заря, как слышите меня? Заря, я Рубин, Заря...

Он один в беззвучном огромном пространстве. Радиоволны уходят, уносятся, пропадают в мертвой темноте, его голос гаснет в этой миллиарднокилометровой бездне. Он один на утлом суденышке, сухой лист на безбрежной глади ночного моря.

— Заря...

Брось это занятие. КВ не работает. Ясно. Попробуем закрутить корабль на Солнце. Твоя задача — энергия. Дальше — связь. КВ отказала, попробуем УКВ, должно получиться... Сделать виток вокруг Земли, снова оказаться в зоне действия связи... Подожди, подожди...

Рубин почувствовал подкатывающую тошноту. Сейчас — энергия. А если связь не наладится? Если... Брось. Пустая болтовня. Если не наладится, то будем думать... Будем... О чем тут думать, если не наладится связь?

Он нажал несколько кнопок на командно-сигнальном устройстве, включая автоматическую ориентацию. Щелкнули, переключаясь, программные механизмы, что-то загудело, смолкло, загудело вновь — «Союз» слегка дернулся, пошатнулся — и затих. Рубин попробовал еще раз — автоматическая ориентация не работала.

Чувствуя, как вспотели ладони, он положил их на ручки управления. Сделать глубокий вдох. Расслабиться. Легкость, летучая легкость во всем теле. Вручную, аккуратно, нежно закрутить корабль на Солнце. Не такая страшная задача. Несколько плавных движений, как на тренажере, легкий поворот — и все: ток побежит по отблескивающей латунью распластанной батарее, наполняя «Союз» энергией и светом.

Пахло чем-то отработанным, механическим, невкусным. Тихо шуршал, разгоняя воздух, вентилятор.

Рубин перешел на ручное управление. Медленно-медленно двинул правую ручку. Что-то громко щелкнуло, загудело, толчок справа — корабль дернулся, поворачиваясь. Так. Спокойней... Спокойней, дружище. Снова рывок... слишком резко — все перевернулось, «Союз» пришел в движение: иллюминатор поехал куда-то вбок, мелькнула Земля. Что-то не так. Не так! Борясь с головокружением, Рубин попытался стабилизировать корабль. Плавно... Плавно! Машина не слушалась, отвечая на аккуратные движения резкими толчками, порою замирая, будто провисая в космосе.

Вжавшись в кресло, чувствуя, как на спине выступают холодные капельки пота, Рубин боролся с кораблем. Молчаливая, с соленым привкусом на губах, борьба. Спокойно, спокойно. Не суетиться. Ровно, упрямо, медленно... Медленно!

Вращение остановилось. Рубин откинулся в кресле, вздохнул. Мало звуков — урчание систем, тиканье хронометра, сглатывание сердцем крови — в висках. Мало. Как же здесь тесно! Будто сидишь в металлической бочке. Заперт, заперт внутри! А за стеклом, как запретный плод, островок жизни, надежды — далекая Земля...

Где же ты, Заря? Почему молчишь? Я здесь один, один в безвоздушной пустой темноте. Затерян, пропал в пространстве. Давит кровь;

кровь от невесомости прилила к голове: щеки, губы, веки отекли, распухли, мозг, готовый лопнуть от жидкости, разбух, вжимаясь в стенки черепа пульсирующей болью. Первый виток подходит к концу, а УКВ молчит. Молчит. Что, если не заработает связь?

Щелчок, автоматика переключилась. Рубин вздрогнул. Зашелестело, замыкало — раздался сначала тихий, искажающийся, потом все нарастающий, отчетливый голос:

— Рубин, я Заря, как слышите меня, прием!

Секунда; набрать в легкие воздуха, произнести:

— Я Рубин, я Рубин, вас слышу отлично.

— Рубин, я Заря, слышу вас отлично, отлично вас слышу! — отозвался радостный собеседник.

Теперь передать — спокойно, максимально подробно — передать на Землю все случившееся здесь за время, мелькнувшее с последнего сеанса. Рубин вдохнул и медленно, отчетливо проговорил:

— Параметры кабины в норме. Не могу открыть левую половину антенны солнечной батареи, открылась только правая батарея, правая батарея, как поняли меня?

— Вас понял, вас понял!

— Закрутка на Солнце не прошла. «Ток солнца» — четырнадцать ампер. КВ-связь не работает. Попытка выполнить закрутку вручную. Закрутка не прошла. — Рубин посмотрел на приборную панель. — Давление в баках ДО упало до ста восьмидесяти. Прием.

— Вас понял, ожидайте, — отозвалась Заря.

Рубин расслабил сжатые в кулаки руки. Вот и все, старик. Вот и все. Что же будет? Закрутка не прошла. Стыковка... Слишком мало энергии, если не наведешь батарею на Солнце... Лучше забудь... Почему не прошла закрутка? Машина сопротивляется... Почему? Ты помнишь: ручка идет медленно, словно тянется, вытекая из банки, густой мед. Плавные движения, как тысячу раз на тренажере. Ты почувствовал что-то, заваливая «Союз» набок. Что за чувство? Что? Будто управляешь неваляшкой — она перекачивается с боку на бок, упирается, силась встать. Верно...

А если виновата батарея? Поджатый отросток дестабилизирует закрутку. Мешает, переворачивает... Возможно... Но что изменишь? Ты теперь однокрылый — жалкое насекомое, застывшая бабочка в космосе. Медленно плывешь по орбите, бессильный оживить себя, подставив замерзшие, усеянные прожилками крылышки сияющему шару Солнца.

Гудели системы, приборы безмолвно отражали параметры. Сухие цифры. Пустоту. Рубин сидел, ожидая ответа с Земли, рассматривая приборную доску, изучая режимы на командно-сигнальном устройстве. Параметры корабля в норме. Разве что давление в двигателях ориентации — сто восемьдесят. Сто восемьдесят. А ток — четырнадцать. Двигатели выплевывают в пространство «рабочее тело» — перекись водорода. Каждый твой маневр, дружище, сжигает запас горючки, каждый маневр. У тебя две цифры: четырнадцать и сто восемьдесят. Запомни эту математику, бескрылая бабочка, запомни...



А может... Мог он напутать сгоряча? Вспомни, подумай хорошенько — может быть, повернул не туда... Движения не такие четкие... Ошибка... Чувствуешь, как горит, наливаясь огнем, лицо? Признайся, с кем не бывает: напортачил при закрутке? Напортачил? Ну, говори!

В иллюминаторе висит огромная голубая планета. Океаны, океаны, полоска суши. Она вращается, медленно; так медленно и ты, искусственный спутник, несешься вокруг нее. Нет, ты не напортачил. Все было правильно. Не подведи батарея — закрутка бы прошла. Прошла... Ты — рядовой космоса. Инженер-полковник — где твое звание? Что теперь делать? Как снизились твои шансы на... Ответь себе сам: управляй неуправляемым, контролируй неконтролируемое...

— Рубин, я Заря, прием.

— Я Рубин, я Рубин.

— Рубин, я Заря, передаю команду...

Кто говорит с Земли? Не Кедр, нет. Другой прорывающийся за тысячи километров голос. Ты слушаешь. Понятные простые команды: попытаться выполнить закрутку снова, экономить рабочее тело, экономить энергию. Значит... не все кончено. Если у тебя получится, то корабль будет жить. Не все пропало. Если только получится, то они там, внизу, запустят «Союз-2». Можно еще выполнить закрутку, можно управлять и машиной без крыла. Там, на далекой, укрытой облаками Земле, взвесив и обсудив, решили попробовать еще. И кто он, чтобы не доверять... Кто он?

Смолкла связь. Ушли УКВ-волны, пропал радиогоризонт. Он пролетает медленно, стремительно, неуклонно над чужой землей, больше нет знакомых, волнующихся голосов. Радиогоризонт растворился, затянутый облаками. Исчезла Заря.

Теперь все на тебе. Все на тебе снова. Манекен бы пропал. Расслабленная кукла под грузом ответственности. Бедная мертвая душа. Нужно попробовать еще. Может, и ты пропадешь? Брось! Еще виток. Сколько времени? Сколько в запасе минут до следующего сеанса связи? Каждый виток — почти полтора часа. Немного. Достаточно, чтобы выжать из «Союза» все.

Рубин еще раз осмотрел нераскрывшуюся батарею. Затем, слегка оттолкнувшись пальцами ног, взлетел, открыв люк-лаз, переместился в другой, орбитальный отсек корабля. Здесь он прощался с Кедром. До скорой встречи... До скорой. Тут посвободнее — больше пространства, меньше органов управления, есть откидное сиденье, откидной столик. Этот отсек во время посадки должен будет отстыковаться, чтобы сгореть во внешних слоях атмосферы. Временное пристанище. Место для отдыха и наблюдений. Стальной приют. Хватаясь за металлические поручни, Рубин подплыл к иллюминатору, попробовал осмотреть корабль с этой точки. Вытянутый, красивый, с поджатым отростком солнечной батареи, «Союз» висел над планетой Земля.

Как же тебя закрутить, дружище? Ты не любишь резких движений, я знаю. Я знаю, ты ранен, но надо потерпеть. Ты ворчишь? Я слышу это в работе систем, в движении пресного воздуха. Без энергии ты умираешь.

Ты знаешь, если я не справлюсь, если у нас не получится, на кону будет не только твоя, но и моя... наша общая...

Рубин вернулся в командную рубку.

Началась работа. Долгая, монотонная, кропотливая работа. Раз за разом, борясь с накатывающей тошнотой, он пытался закрутить «Союз», повернуть батарею к свету. Машина не слушалась — двигатели, выплевывая в мертвое пространство рабочее тело, растрчивая запас топлива, не могли удержать корабль. Взмокнув от напряжения, Рубин пытался нежными, еле заметными движениями сориентировать вытянутое крыло — плавные легкие касания невидимой руки закручивали «Союз». Тяжелая, выматывающая работа.

Свет теряется, все меркнет — корабль оказывается на покрытой ночью стороне Земли. Темная, безжизненная планета. Почти ничего не видно — в иллюминаторе редкие огоньки; ты потерял ориентиры, потерял Солнце, рассматривая огромную, нависшую над тобой угольно-черную Землю. Можно немного передохнуть, позволить себе расслабиться, насладившись безмолвной пустотой. За стеклом ночь. Тихо шуршит вентилятор, засасывает воздух регенерационная установка. Планета спит... Но тебе не до сна. Проверь другие системы, попробуй стабилизировать корабль, используй ионную ориентацию — работай, работай! Рубин переключает режимы, управляя кораблем.

За работой появляется Солнце. Слепящая полоса разделяет земной шар на две половины. Половину света и половину тьмы. Снова попытка закрутки — снова неудача. На связь выходит Заря. Рубин докладывает сухие цифры, пытаюсь понять по интонации, по малейшим ноткам в голосе собеседника, что сейчас происходит на Земле. Множество людей, споря, пытаются решить, что делать дальше. Отменять или нет запуск «Союза-2», как закрутить корабль на Солнце, как раскрыть непослушную батарею, как спасти человека, оторвавшегося от человечества? Им нелегко. Волнение охватывает их ряды — первый пилотируемый «Союз» завис, обессиленный, на орбите. Снова приходят команды — все те же, все то же. Пробовать, пробовать, пробовать... дерзать.

Сколько часов он уже в космосе? Что-то около пяти? Одна задача, одна мысль: пока еще остался шанс — совершить закрутку. Тогда они запустят второй корабль. Тогда... А что, если «Союз-2» отправят на помощь? Не дожидаясь закрутки, планета выстрелит на орбиту еще одним кораблем. Ребята подплывут к нему, терпящему бедствие, выйдя в космос, расправят заклинившую батарею... Улыбаешься? Что тогда?

Мягко прижаты к спине ложементы. Ладони на рукоятках управления. Выдох. Глубокий вдох. Ты должен справиться. Вокруг океан космоса. Вокруг только пустота. Выдох.

Рубин осторожно, очень медленно, как ребенка, двинул ручку. Корабль, многотонная махина, поплыл, разворачиваясь.

Вдох.

Звезды в иллюминаторах сдвинулись, пришли в движение. «Союз» закручивался, подставляя распластанное крыло Солнцу. Тише...

Выдох.

Тише... Тише... Не дыши.

Он возвратил ручку в исходное положение. Корабль замер неподвижный, раскрыв, подставив золотистый, плоско вытянутый стебель свету. Все остановилось. Чернота пространства. Безмолвная гигантская планета. Повисшее в космосе насекомое — оживающий «Союз».

Дернулись стрелки, поползли показатели зарядного тока — они увеличиваются! — пятнадцать... шестнадцать ампер!

Вдох.

Получилось! Рубин почувствовал облегчение. Как будто что-то, привязанное на дне души, в иле и грязи, вдруг отцепилось, унеслось, поднятое невесомостью, вверх. Получилось! Теперь, старик, будем жить!

Выдох.

Что-то шевельнулось. Что-то изменилось в иллюминаторе. Показалось... Нет, движение... Движение! Космос пошатнулся. Корабль сдвигает вокруг оси! Уводит от направления. Тянет вниз. Рубин прильнул к приборам — нет, стой! — снова пятнадцать...

Держись!

Четырнадцать ампер...

Прижатый к боку отросток, нераскрывшаяся батарея, дестабилизирует закрутку. «Союз» увело в сторону, разворачивая исправным крылом вниз.

Действуй! Не сиди!..

Рубин попробовал удержать корабль на двигателях ориентации. Крутанул ручку — дал противоположный импульс. Держать! Усилением ладоней балансировать — не дать неваляшке завалиться. Машину снова повернуло — стрелка дернулась до пятнадцати, пошатнулась. Сколько еще держаться? Падает, падает давление в баках, расходуется топливо... Как быстро оно иссякнет?

Рубин повернул ручку в нейтральное положение. Тише, дружище, тише. Выключил, почувствовав, как дрожат ладони, двигатели. Бесплезно. Стоит зависнуть, развернув корабль, как его уводит. Рабочее тело. Топливо. Как быстро ты израсходуешь его? Истратив горючку, без руля и ветрил в космосе, потерянный в темноте...

Еще виток, еще сеанс связи. Мрачно. Заря не подает виду, но, похоже, новых идей нет. Направить сюда «Союз-2», спасательную экспедицию: капитан приходит на выручку капитану... Шансов нет. Даже если все системы второго корабля исправны — как им пристыковаться, как сблизиться, если не удастся даже такая малость — закрутка? Твоя машина нестабильна. Если запустят еще корабль — придется спасти двоих. Нет, старик. Ты один наедине с пустотой. Надейся только на себя...

Работа, работа, работа не переставая... Не замечая головокружения и легкой тошноты, с опухшим от невесомости лицом, ты пытаешься сориентировать корабль, закрутить, поймать ускользающий шар Солнца. От этого зависит программа полета. От этого зависит твоя жизнь.

Даже не верится. Еще вчера ты мог пойти хоть куда. Выбежать на дорогу и мчаться, глотая пыль, в любую сторону. А сейчас — когда уже





закончится сейчас?! — весь твой мир — пара кубических метров в консервной банке, и не вырвешься, не закричишь...

Под потолком плавают маленькие, почти незаметные частицы пота. Так движутся твои мысли, мелкие пузырьки в пульсирующем сознании, неровно текущие то вверх, то вниз. Ты смотришь на потолок — никакого притяжения, потолок становится полом; переворачиваешься — и все меняется вновь.

Тебя бросает в жар, напряжены плечи, руки. Скоро шестой виток и девятый час непрерывной работы. Девятый час... Закрутка не проходит. На сколько еще хватит энергии? Какой у тебя запас?.. Земля спокойна, Земля делает вид, что все в порядке. Сколько протянет корабль? Надо спросить. Надо. С седьмого по тринадцатый виток не будет связи. Ты будешь там, где нет наших станций — «Союз» почти на десять часов потеряет связь с Советским Союзом...

— По плану у вас сейчас сон. Так что не переживайте, ложитесь спать...

Вот и пропал, рассеялся голос Зари. Оборвалась растянутая между кораблем и планетой нитка. Настала гудящая тишина. Отстегнувшись, Рубин перелетел в орбитальный отсек. Осторожно, чтобы не выпустить в свободное плавание пузырьки воды, сделал несколько глотков. Стало легче. Неудобно приспустив штаны, помочился. Вот так. Надо передохнуть. Впереди десять долгих часов тишины. Витки без связи, бессвязные витки. Заря посоветовала поспать. Правильный совет. Заря, мудрая седая Заря, твои советы верны: экономить энергию, беречь рабочее тело, закручиваться на Солнце...

Эх, Заря...

Брось, брось, Комар... помнишь, как тебя звали в школе? Кажется, вчера: ярко светит солнце, девочка с косичками несется по коридору, ты встаешь из-за обшарпанной парты... Это усталость. Ты просто устал девятый час подряд болтаться кверху ногами. Здесь все вверх тормашками — ни пола, ни потолка. Поешь. Задумайся. Есть время поразмышлять.

Выдавливая борщ из тубы в рот, он подумал, что космическая пища — это целый процесс. Процесс питания жижей. Наверное, когда-нибудь он превратится в культуру. Холодные роботы, отблескивая хромом и мигая лампами, станут надувать алюминиевые тубики пиццей. Целые фабрики-кухни на орбите. А земляне, гордые красивые земляне на пути к Марсу, слушая Чайковского, будут заедать жидкий шашлык жидким пловом.

Он поморщился: пресновато. Словно на большой высоте — смазанный, слабоватый вкус. Кажется, не хватает соли.

Рубин подплыл к иллюминатору: наполненная океанами голубая Земля. Так много воды, так мало суши. Выдавливая шоколад, трогая пересохшими губами металл тубы, он разглядывал материки, стараясь вспомнить названия проплывающих под ним рек. Жидкий плов... забавно, надо бы рассказать о нем Женьке с Иришкой. Дети, мои дети...

Дети.



В обычном спортивном костюме (левая гача чуть завернулась), в черных хлопчатобумажных носках, сорокалетний, начинающий сидеть человек завис перед иллюминатором на невысказанной высоте. Его усталое лицо вытянулось, внимательные карие глаза застыли, всматриваясь в одну, видимую только ему точку. Он вдруг увидел девушку, еще студентку, которая не знала — а он понял сразу! — что станет его женой. Перед ним проплывали припыленные, неказистые учебные самолеты. Маленькая комната с металлическим чайником. Дети: девочка дуется, мальчик читает книжку. Первый взлет. Он думал о том, что называется домом. Дом — это ощущение. Едва заметный, открытый только тебе запах. Услышанный где-то вкус.

Дом.

Он смотрел на Землю, не различая размазанных облаков, морщинистых гор и далеких океанов. В иллюминаторе, там, где между стекол застыли кристаллики льда, он увидел стол в цветастой клеенке, лучик света, кошку с котенком, движение женских рук...

Он долго висел, задумчивый и спокойный, серьезный и невесомый, не замечая, что тубик выскользнул из пальцев, поплыл вверх. Он висел, погруженный в память, снова дома, пока планета не развернулась — или это он обошел планету? — накрыв поблескивающий огоньками «Союз» гигантской тенью. Корабль — точка, песчинка, слабый светлячок в пространстве. Над ним безмерно растянутая, тяжелая, беззвучная, невыразимо огромная черная глыба, мрачная сфера, Земля.

Черный космос, черная планета. Уголь. Уголь. Кокс...

Распахиваются чугунные створки. По тяжелым, отполированным до холодного блеска рельсам фанерный гроб скатывается в печь. Прощай, прощай, Сергей Павлович! Прощай, ЭСПэ! Легкая фанера вспыхивает, как бумага, колеблется, трещит в разъяренном пламени. Бряцают, закрываясь, дверцы, худой кочегар, играя мышцами, подбрасывает сизого коксу: прошло время прощаний! Настал час огня. Рычащие языки пламени, струи раскаленного воздуха вгрызаются, разрывая белое тело Главного. Пустая оболочка обугливается, горит. Тысячеградусный пожар визжит, скребется в чугунные створки, раскаляет посеревший кафель печи.

Жена ЭСПэ больше не плачет. Смотрит потерянным, ушедшим далеко-далеко взглядом, как трескается крестообразно белый череп главного конструктора ракет — огонь отражается, пляшет в ее утонувших зрачках. Горит, горит, сгорая в седой пепел, оседающую в легких сизую пыль, уносится через черную трубу прах ЭСПэ. Вопит, ярится оранжевое, стрекочущее костями пламя.

Рубин стоит в стороне. Механики подкручивают огонь, следя за черной стрелкой, ухмыляясь, перекрикиваются о чем-то. Голый по пояс кочегар кидает кокс. По его ребрам стекает струйка пота. Рубин стоит в стороне, глядя на женщину, ощущая едкий, удушливый запах гари. Рубин стоит.

Белый, белый, метущийся с неба снег. Холодное, замутненное облаками солнце. Бледная улица, влажное крошево сыплется на лицо, валит за шиворот. Рубин снаружи: неприкрытую шарфом шею хлещет холодом.

Он вдыхает простуженный воздух, подставляет лицо ветру, чувствует, как таят на щеках, превращаясь в воду, снежинки. Рубин смотрит на небо, сжимает в руках, бережно прячет под китель сверток из писчей бумаги. В нем горстка пепла. Частица праха, частица памяти о человеке. Они запаяют ее в капсулу. Они похоронят ее на Луне.

Рубину кажется, что он чувствует исходящее от праха тепло. Бережно, как ребенка, укрывает сверток. Воспоминание об ЭсПэ...

Космонавт оттолкнулся, отплыв от иллюминатора, достал из контейнера тубу красного цвета, «Напиток из клюквы», сделал несколько глотков. Соберись. Ты должен выжить. Должен вернуться. Тесно, тесно в консервной банке! Должен вернуться, должен жить. Впереди — тишина. Глухие витки.

Что делал он в это время? Вспоминал дом — правда. Пробовал спать — Заря сказала поспать — верно. Но сна не получалось. Усталость подкатывала к мозгу, но стоило закрыть глаза, как просыпалась стрелка на четырнадцать ампер, подмерзшая картошка в голодном, накрытом войной училище, нераскрывшаяся батарея, разламывающийся череп ЭсПэ... Он вздрагивал, очнувшись от полудремы, разглядывал плавающие перед лицом руки, снова закрывал глаза.

Напряженное забытье.

Но больше всего он работал. Привязавшись к креслу, чувствуя, как леденит пальцы на ногах — носки пропитались холодным потом, — снова двигал управляющие ручки, переключал режимы командно-сигнального устройства, пытался закрутить корабль, взглядывался в визир. Контроль за системами, визуальное наблюдение через иллюминаторы — его подхватила работа. Напряженный, сконцентрированный, Рубин едва не пропустил сеанс связи. На тринадцатом витке он успел кое-как передать обстановку, добавил:

— На ночной стороне трудно ориентироваться по бегу Земли вручную.

Кажется, ты уже чувствуешь, как угасают, умирают вокруг тебя приборы. Скоро, совсем скоро батареи иссякнут, остановится регенерация воздуха... и тогда...

\* \* \*

Сколько осталось энергии? Стрелка падает. Еще немного — и все системы погаснут, корабль замрет, повиснув на орбите мертвой грудой металла. Исчезнет свет, уйдет тепло и смолкнут навсегда приборы — станет тихо-тихо, как в детском саду в тихий час. Тихо-тихо... Для тебя это значит одно: смерть.

Заря должна была все просчитать. Но сколько все-таки осталось энергии? Время еще есть. У тебя еще есть время закрутить батарею на Солнце.

Закрутить... Как веет тишиной. Нераскрывшаяся батарея утянет тебя к черту.



Что же они решили? Второй корабль... Не будет второго корабля. Что еще отказало? Не работает солнечно-звездный датчик. Нарушена система ориентации...

Ладно. Ладно. Экономь время. Ну-ка, еще разок, закрутка!

— Рубин, я Заря, прием, — спокойный голос Кедр.

На связи Кедр! Добрался-таки до центра! Теперь...

— Я Рубин, прием.

— Рад слышать тебя, Рубин! Очень рад! Товарищи мне все передали. Успел отдохнуть? Значит, так: готовься к посадке. Посадочные данные дадим на шестнадцатом витке. Сама посадка будет на семнадцатом. Подготовься хорошенько, проверь все...

Кедр спокоен; Заря решила садиться.

В глаза словно насыпали песка. Сколько он уже в космосе? Двадцать два часа... Батарея долго не протянет. Посадка на семнадцатом... получается, еще часа три... Хватит энергии? Должно хватить. Но что же балансировка? Ориентация? Садиться на разбалансированном корабле...

Ладно. Ладно!

Для начала подготовить командную рубку — спускаемый аппарат. Затем орбитальный отсек, его придется сбросить перед посадкой. Успеть. Нужно все успеть. Интересная у тебя, Комарик, будет посадка.

Подготовка занимает время. Нужно проверить системы, аккуратно разложить все вещи так, чтобы не нарушить центровку корабля. Центровка очень важна при входе в атмосферу, иначе болтанка страшная! Ты едва успеваешь. Наконец, еще раз помочившись — больше шанса не будет, задраиваешь люк в орбитальный отсек. Прощай, друг.

Теперь все твое жизненное пространство — пара кубических метров. Стальное брюхо командной рубки. Ничего... Ничего. Чем меньше спускаемый аппарат, тем мягче посадка. Как же здесь тесно! Что они все-таки решили с балансировкой? Разложи все по местам... Не торопись. Ориентироваться по звездам не получится — накрылся датчик. Что останется? Ионная ориентация... Так. Надо накрепко привязаться в кресле. Привяжись.

Новый виток. Зашелестели динамики.

— Я Заря, Рубин, как слышите меня? — спросил Кедр.

— Заря, я Рубин. Слышу вас хорошо. Перенес всю аппаратуру сюда, в корабль. Люк-лаз закрыт. На борту порядок, как говорят. Параметры кабины следующие: давление восемьсот, температура семнадцать и пять.

— Все нормально, я Заря.

— Понял вас, понял.

— Готовьтесь к заключительным операциям. — Всегда удивлялся способности Кедр, слегка искажая слова, звуки, как-то упрощать их, сводить все до обыденности. Немного припыленной, будто компот из старых времен, совсем не страшной обыденности.

— Повнимательнее, поспокойней, все идет нормально. Я Заря, прием.

— Вас понял.

— Сейчас будет автоматический спуск с ионной ориентацией. Этот спуск, значит... — Кедр поколебался, — настоящий, нормальный. Заря, прием.

— Вас понял.

Должно сработать. Если не сработает, если нераскрывшееся крыло сорвет балансировку, сбивая с курса, ударит корабль об атмосферу... Ты видишь — огненная болванка в небе, тысячи горящих осколков...

Брось! У тебя мало времени. Нужно садиться сейчас, иначе застрянешь здесь навечно. Навечно... пока не закончится энергия — у тебя будет очень короткая вечность, Комарик. На сколько еще хватит батареи? Заря торопится с посадкой. Часов на пять? Шесть? Так... Что они делают сейчас? Передают команды автоматике. Автоматика не подведет. Вечность в шесть часов... Слушай, что там еще говорит Кедр. Настоящий, нормальный спуск... Скоро все решится. Да...

— Рубин, все команды к вам на борт прошли нормально.

— Понял.

— Ждем тебя на Земле, дорогой.

— До встречи!

— Даем сверку времени.

В ушах запищало: «Пип-пип-пип». Рубин ответил:

— Поправка по времени минус одна секунда.

— Отлично. Тебе повезло с часами. Хорошие поставили. Не забудь поплотнее привязаться-пристегнуться перед входом в плотные слои атмосферы.

Холодит ноги. Прохладно на борту. Не суетись, все будет нормально. Главное — не суетиться. Ты уже сядешь. Ты справишься, ерунда! А все же — прохладно...

— Из оборудования научного я только хронограф взял.

— На память его привезешь. Тут товарищи передают тебе горячий-горячий привет, самые добрые пожелания мягкой, хорошей посадки.

— Большое спасибо. Осталось до встречи немного, скоро увидимся. Желаю вам успехов во всем.

Искаженный голос Зари пропадает. Вот и семнадцатый виток. Ты слышишь, как гудят электродвигатели, со щелканьем переключают режимы автоматы. Скоро закончится легкость. Падение навалится на грудь перегрузками, будет спуск. Только бы не подвела автоматика...

Он сжимает кулаки: а все-таки досадно, что не удалось справиться с батареей. Программа полета накрылась из-за такой ерунды! В школе нас учат, что все возможно. Учись отлично, старайся — хорошенько старайся! — и все получится. Надо только поднапрячься, надо только вытащить себя, вырвать, хрустя суставами, из связок, перетрясти внутренности, свинтить голову и собрать заново. И так — вновь и вновь каждое утро, каждый день, закручивая горячие от любви, холодные от дисциплины шарниры.

Включается система ориентации.

Все обязательно получится...

Но это неправда. Это же неправда! Почему получается далеко не всегда? Ты выложил на все сто. С распухшим от невесомости лицом бился над этой однокрылой машиной, вертел ее нещадно двадцать с лишним часов. Если бы только можно было закрутить «Союз», ты бы это сделал!

Но — не получилось.

Рубин наблюдает, как на командно-сигнальном устройстве, пощелкивая, отображаются режимы управления. За стеклом в иллюминаторе — Земля.

Нас учат, что все возможно. Но ведь не все возможно, верно? Помнишь его? Твой друг, он так старался, чтобы попасть на фронт. Он был готов, как немногие до него. Отличный летчик, ему бы жечь врагов, ему бы вернуться, посверкивая Звездой Героя, подняться в космос. Он очень старался. Значит... все было возможно?

— Конечно! — отвечает школа.

— Не все... — шепчет жизнь.

Нелепая смерть: на первом взлете забарахлил двигатель, самолет разбился о полосу.

Ты чувствуешь плавные толчки из стороны в сторону. Корабль легкими движениями подруливает, подкручивая себя, направляет на курс.

Вспомни ЭСПэ. Сколько в нем было силы! Вздрыбив сотни заводов, подняв тысячи людей, он рвался к цели, раздвигая космос, он был неостановим. Невидимый и великий, он знал одно: впереди — Марс. И мы верили, верили...

Пустое тело на операционном столе. Значит, не все возможно...

Воздух пахнет пылесосом. Кажется, все в порядке. В одном иллюминаторе — Земля, в другом — белые точки, звезды.

Ты прав. Ты все сделал правильно, ты надорвался, взвинчивая эту красивую машину... и где результат?

Куда ни глянь — сплошное однокрылье...

Словно бусины в медный таз, цедит секунды хронометр.

Но что же теперь? Скрипеть, как песком на зубах, этой калечной истиной? Люди перемешались. Она раздала нам, не спрашивая, одним — погоны и славу, другим — забвение и нищету. Кто лучше? Как нас учили в школе — кто прав? Ты должен стараться изо всех сил, и тогда...

Что — тогда?

Никто ничего не гарантирует. Никто ничего не обещает. Но есть ты. Ты сам. И ты отвечаешь — выложил ли по полной, сделал ли то, что мог. На двух или на одном крыле. Ты можешь сдохнуть в неизвестности, задохнуться на старте, но только ты отвечаешь перед собой. Награды не было и не будет. Есть только крыло внутри, как лезвие.

Ответь, ты на лезвии?

«Союз» вздрогнул. Корабль шатнуло в сторону, затем с мягким электрическим гулом — в другую. Еще раз. Словно невидимый поводырь ошибся, потерял направление и теперь пытается отыскать его вновь. Рубин сжал пальцы, всматриваясь в приборы. Ионная ориентация. Ориен-



тация... Черт! Он прильнул к визиру: под ногами экватор. Корабль уходит с курса... Защелкали, переключая что-то, автоматы. Скоро система должна дать команду на спуск; тогда сработает маршевый двигатель, и мы ринемся, рванемся вниз по неверной траектории... Отходим от направления по тангажу...

«Союз» заваливает не туда. Отходим... Скоро команда на спуск. Как будем спускаться? Щелчок; вот-вот включится корректирующая двигательная установка. При таком расхождении...

Щелчок. Нет. Куда при таком расхождении?! Может, удастся откорректировать...

Щелчок. Нет!

Сейчас они сорвутся вниз....

Отказ. Автоматика блокирует посадку.

Одинокий человек с усталым лицом отрывается от кресла, подплывает к иллюминатору. Он на прежней орбите. Под ним — далекая, лазурная, медленная Земля. Недостигаемый островок света. Вокруг — безвоздушное пространство. Скоро закончится энергия. Если закончится энергия — космос задушит тебя.

Космос тебя убьет.

Заря на радиогоризонте.

— Вас понял. Ионная ориентация не сработала, корректирующая установка не включилась, — буднично говорит Кедр. — Все нормально. Понял вас. Передохни, пожалуйста. Мы пока подумаем, как тебя посадить.

Одинокий человек в космосе. Земля поместила тебя в стальную капсулу, Земля выстрелила тебя наружу. Там, под тобой, рождаясь и умирая, в борьбе и лени копошится человечество. А ты — муравей вне муравейника, частичка разума в пустоте. Заря совещается. Идет, идет время, нервно, громко тикают секундные стрелки, а Заря все молчит. Сколько еще протянет корабль? Какой у него запас энергии? Не сядешь — системы сдохнут. Без батарей — сдохнут. Умрет, затихая, гул электричества, становясь все слабее, слабее, погаснет свет, смолкнет регенерационная установка. Представь: очень холодно. Очень тихо, мертвенно тихо. Только тиканье стрелок. Ты прильнешь к иллюминатору, задыхаясь, словно подводник в подводной лодке, только перед глазами, будто в насмешку, целый мир жизни, планета воздуха — светящаяся, теплая, выплунувшая тебя Земля.

Сеанс связи закончился, Заря думает. Кедр посоветовал не беспокоиться. Кедр посоветовал не переживать. Дождаться следующего витка. Время еще есть. Еще есть время...

В животе заурчало. Новый эксперимент. Надо тщательно все зафиксировать: космический желудок переваривает космический борщ. Перед серьезными операциями больному всегда делают клизму. Очень практично. Под наркозом мышцы расслабляются — бывает всякое... Перед космическим полетом клизма тоже обязательна. Утилитарно, просто, эффективно. В космосе не до таких забот. Опорожнить кишечник, очиститься



еще на старушке Земле. Клизма перед операцией. Операция... Отчего-то вспомнился ЭСПэ.

Твоя операция продолжается. Что ж, опять неудача. Ионная ориентация не сработала.

— Не все срабатывает, — шелкает автоматикой жизнь.

— Я знаю, — спокойно отвечает Рубин.

Восемнадцатый виток. Заря наконец решилась.

— Ручную ориентацию по бегу Земли осуществить в пять часов на светлой части, развернуться на сто восемьдесят градусов для ориентации по-посадочному, — отчеканил Кедр. — Перед входом в тень включить стабилизацию на гироскопах. При выходе из тени вручную подправить ориентацию. Как поняли меня? Прием.

Неужели так плохо?

Ну да, конечно. Отказал солнечно-звездный датчик, ионная ориентация не работает, корабль не может правильно нацелиться на посадку. Что остается? Последний шанс: заменить отточенные аппараты человеком, сажать корабль на глазок, по-самолетному, удерживая машину движениями рук. Работа для пилота.

По спине пробежал холодок.

Работа для тебя.

На светлой стороне еще можно ориентироваться по движению планеты. Трудно, но можно. Да... Лишь бы хватило времени. Только бы успеть! Хорошо. Но на ночной... В темноте движение Земли почти не различить — ориентиры смазываются. Держаться на гироскопах? Придется... Только бы не подвели... Все сегодня подводит... Как ни крути, а отклонение будет. Он не железный, машина уйдет по курсу в сторону. На выходе, когда он снова вывалится на светлую половину, нужно будет очень быстро откорректировать курс.

Черт! Ничего из этого не обрабатывали.

Только бы хватило времени откорректировать курс! Малейшая ошибка — и тебя размажет об атмосферу. Больше попыток не будет. Энергии совсем нет.

— Рубин, я Заря. Как поняли меня, прием?

— Я Рубин. Вас понял. — Что-то запершило в горле, голос немного осип. — Вас понял, повторяю задание...

Это нелегко... Только бы хватило времени. Только бы успеть!

— Все верно, — подтвердил Кедр и продолжил медленно, словно по бумажке: — В пять часов пятьдесят семь минут пятнадцать секунд включить СКД. Расчетное время работы двигателя сто пятьдесят секунд. После ста пятидесяти, если нет выключения от интегратора, выключить двигатель вручную. Как поняли меня, как поняли?..

«Я справляюсь, — подумал Рубин, ощущая легкий холодок внутри. — Должен справиться... Все возможно. Возможно все! Надо только больше стараться...»

— Я Заря. Даю данные ручного спуска. Виток девятнадцатый. Баллистический. Не спеши. Уточняй ориентацию потихоньку. Все должно быть нормально.



— Я все прекрасно понял... Знаю, как быть. Все будет нормально, — ответил Рубин.

Все будет нормально, если у него получится... Все будет хорошо.

Связь пропадает, восстанавливается снова. Ты прокручиваешь в голове варианты посадки. Все зависит от тебя. Теперь все зависит только от тебя. Мелькают перед глазами движения на тренажере. В ладонях — управляющие ручки. Невидимые мысленные движения. Кажется, на том конце другой голос. Это бывший зам ЭсПэ, новый Главный, говорит что-то. Заря волнуется. Они переживают за посадку. Ничего. Все будет хорошо. Только бы успеть... Успеешь, не можешь не успеть...

— Вас прекрасно понял. Я не беспокоюсь, не волнуюсь. Буду работать согласно программе.

Пахнет чем-то тяжелым. Спертый воздух. А если не получится? Всегда на дне души, на потаенных антресолях сознания — скользкая мысль. Ты уже проходил: собранный, напряженный, брался за дело... и проваливал его. Вспомни училище: сколько раз давал зарок, клялся плавно добирать ручку при посадке самолета — и сколько нарушал, дергал ее? Думал — не ошибусь, гнал от себя мысль об ошибке. Сама мысль — как предвестие. Может, если совсем не думать... но как же не думать?.. Как же теперь не думать...

— Рубин, как самочувствие, как настроение?

— Самочувствие отличное. Настроение хорошее. Система жизнеобеспечения работала прекрасно.

Если не получится... Что делать, если не получится? Батареи почти на исходе... Неправильный вход в атмосферу может... Сплюнь, лучше сплюнь через плечо.

— Очень рад. Мы все уверены, что у вас все будет хорошо. Работайте спокойно. При спуске попробуйте вести репортаж. Может быть, тут будет что-то слышно.

Собратся. Начинается работа. Настоящая работа, от которой зависит твоя жизнь. Все получится. Только бы успеть. Надо постараться. Очень постараться, постараться изо всех сил...

Тикает хронометр.

— Я Рубин. Через минуту включаю ориентацию.

— Понял. Связь с вами кончаем, не будем мешать вашей работе.

— Я беспокоюсь, хватит ли времени на ориентацию...

Заря пропала. Он остался один.

Мир был как бритва: слепящее, отточенное, плоское лезвие — и ты на его грани. Закрути до визга пружину, пусти — пусти! — сверкающий механизм. Ты делаешь плавное движение — легко нажата кнопка. Щелчок. Щелчок стального сердца. Горячий шарнир. Твои руки уверенны. Переключаешь режимы, вводишь данные. Ладони касаются управляющих ручек. Мысли острые.

Усталый человек в сером — штаны немного примяты, сосредоточенны глаза — ты поворачиваешь многотонный корабль к Земле. Ноги леденит холодом, щеки пылают. Напряженно гудят системы, монотон-

но шелестит вентилятор, урчит регенерационная установка. Ты медленно двигаешь ручки, мысли звенят — «Союз» разворачивает вниз.

Плавно движется космос за стеклом. Борьба. Молчаливая борьба. Асимметрия. Поджатая батарея дестабилизирует. Нужно прицелиться, внимательно, до боли в глазах — ориентация по бегу Земли. Ты вглядываешься в визир. Вот... Вот планета! Медленный, медленный поворот. Немного заносит. Острые иглы по позвоночнику. Планета под ногами... Точнее, точнее ручку! Тебя сдвигает в сторону. Корректирующий импульс. Еще. Не удастся сориентироваться — корабль уводит!

Шею ломит. Шея раскалывается; ты сосредоточен, ты — красивый «Союз», ты несешься в безвоздушном пространстве по орбите, нацеливаясь на Землю, закрепляя себя в космосе, ищешь направление к дому.

Хлопок. Еще — управляешь двигателями: держать ориентацию, держать! Ручка идет легко, видишь: внизу под тобой бегут, несутся измятые облака. Сквозь разрывы мерцает глубокой синевой океан. Хорошо...

Хорошо!

Теперь медленный разворот по вертикальной оси. Тошнит. Должно быть, от волнения слезятся глаза — не мигать! Не мигать. Почему так болит шея? Нежнее, нежнее отклонить ручку в правую сторону. Только бы хватило времени! Сколько времени до перехода в тень? Едва заметно изменяется бег планеты... Вот и ночная сторона! Совсем близко. Надо успеть до нее... Скорее! В темноте не сориентироваться. Почему так медленно? Быстрее. Быстрее!

Беззвучно несется «Союз» по орбите, приближаясь, все приближаясь к тому месту, где теплая, мерцающая нежным светом половина планеты переходит в угасшую, омутно-утоную часть тьмы. Ты не успеваешь... Не успеваешь сориентировать корабль до перехода в ночь.

Чернота раскрывает огромный рот...

Быстрее... Быстрее!

Счет на секунды. Слишком медленно... Не успеваешь! Не успеваешь!

— Не все возможно, — шепчет черная половина планеты.

Еще чуть-чуть... Передержишь, поздно отпустишь ручку — не будет времени исправить...

«Союз» входит в темноту. Угасают протянутые в пустоту руки-антенны, появляются тени.

Не все возможно...

Есть! Ты бросаешь ручку в нейтральное положение, до боли вглядываешься в визир... Удалось! Кажется, удалось!

Все погружается в ночь. Внизу, где-то там под ногами, несется едва различимая в скатанных прожилках облаков черная слюдяная поверхность океана. Ты жмешь на кнопки, включая гироскопы — с задержкой в секунду щелкает автоматика. Удалось. Кажется, удалось...

Рубин закрыл глаза, попытался расслабить шею, замер. Будем ждать. Остается ждать, старик. Если ты все сделал верно, если только не

ошибся, то ориентация прошла. Вспомнился догорающий вечер, холодные весенние сумерки за окном.

Он надавил на веки пальцами — стало легче, перед глазами заплясали лилово-оранжевые пятна. Что же там говорил генерал Каманин? Что же?.. Все погасло, подернутое пепельным дымом.

Ты всего сутки здесь, а металлическая банка, изнутри покрытая серым, уже разжевала тебя... Ты странно думаешь, старик. Это усталость. Всего двадцать четыре часа, а кажется, пронеслась такая чужая, такая отдельная, целомудренная на звуки и запахи, раскрытая острой боли, истрепанная до нервов жизнь. Чувствуешь? Холодно. Пропитанная влагой рубашка прилипла к спине. Почему так холодно? В кабине семнадцать градусов. Рубин поехал. Кажется, дует по ногам, кажется, тянет от иллюминаторов. Вряд ли... Вряд ли.

Не может быть.

Надо собраться. Ты сделал очень многое. Ты сделал то, к чему не готовили. К чему никто не был готов. Осталось чуть-чуть. Сейчас корабль выйдет из тени. Ты проверишь стабилизацию, уточнишь данные для спуска. А дальше... Не время! Соберись! Еще немного работы, чуть-чуть...

Уходит лето. Дочка ковыряет ложкой кашу — завтра в школу... Тянет холодом. Звездочки на погонах... На кухне шумит вода, горит яркий свет.

Скоро светлая сторона. Медленно течет время. Последний рывок. Помнишь, в жизни надо очень стараться? Быть на пределе. Помнишь?

Сначала засияла освещенная, расплавленная на тысячу золотистых красок антенна. Корабль вышел на свет. Рубин потонул в визире — отклонение совсем небольшое! Тебе везет, Комарик! Везет! Несколько корректировочных импульсов, легких движений ручкой — «Союз» чуть сопротивляется, мешает скрюченное крыло батареи — задать ориентацию, сверить направление...

Готово.

Внизу изогнутая, напоенная светом, прозрачным воздухом и яркой, искрящейся, бесконечной жизнью, раскрылась планета. Родная планета. Земля.

Ты вводишь данные. Уверенные пальцы — в складках между костяшек залегли морщинки — нажимают на кнопки, загораются индикаторы на табло. Ты на пороге дома. Осталось запустить двигатель, сойти с опостылевшей орбиты вниз.

Время. Настало время. Палец замирает на красной кнопке. Ты смотришь на циферблат. Тикают, рассекая секунды, стрелки. Время! Ты нажимаешь на клавишу. Ничего не происходит...

Хлопок! Корабль толкает, уверенно направляя по курсу вниз... Вниз!

— Я Рубин, двигатель работает тридцать секунд, работа двигателя устойчивая, — доложил он в микрофон.

Тишина. Никто не слышит тебя. Молчание.

— Шестьдесят секунд, двигатель работает нормально.

За стеклом бесшумно пронесится пространство, мерцают яркие, крупные звезды, сияет, увеличиваясь, Земля. Ты летишь — «Союз» слегка закручивает — мчишься во тьме.

— Девяносто секунд.

Светлый пилот замечательного корабля.

— Сто двадцать...

Медленный, ни с чем не сравнимый заход на посадку. Ты улыбаешься? Ты ползешь на последнем крыле... помнишь песню?

— Сто сорок...

Сосредоточиться. Сейчас интегратор вырубит маршевый двигатель... Сейчас... Палец на кнопку: если не сработает автоматика — выключишь вручную... Сейчас...

Щелчок. Гул прекращается.

Отлично! Отлично.

Расслабиться. Перевести дух... Дрожишь от напряжения. Кажется, открылось второе дыхание. Легкие, отточенные, сверкающие мысли. Идет управляемый спуск. Почти все. Ты сделал это. Управлял неуправляемым, контролировал неконтролируемое. Ты справился! Что теперь? Да, что теперь? Ждем разделения. Дождаться, пока кабину, спускаемый аппарат, отстрелит от других отсеков корабля. Можно перевести...

— Рубин, я Заря, — сквозь шум и резкое шипение доносится голос Кедр. — Рубин, я Заря, как слышите меня? Вызываю на связь.

— Я Рубин, двигатель работал сто сорок шесть секунд. Нормально все идет. Все идет нормально! — Какая легкость, какая сила во всем теле! — Корабль был сориентирован правильно! Нахожусь в среднем кресле. Привязался ремнями.

— Как самочувствие, как дела? — обрадованный, светлый Кедр. — Я Заря, прием.

— Все отлично, отлично, все в порядке.

Все в полном порядке!

— Поняли! Вот тут товарищи рекомендуют дышать глубже. Ждем на приземлении! Я Заря, прием.

— Спасибо, передайте всем...

Раздался взрыв.

Рубин вздрогнул — уши обожгло помехами. Что-то, скрежетнув, мелькнуло за бортом. Корабль, накренившись, пошатнулся. Все куда-то сдвинулось, поплыло, метнулось в сторону. Внизу, под ногами, там, где был визир, обнажился выпуклый иллюминатор. Рубин ухватился за ремни.

Дрожь пронеслась по спине в ноги. Где-то под мышками выступил теплый леденящий пот. Во рту пересохло.

Соберись!

Рубин вслушался: все так же гудели механизмы, отчитываясь, переключались приборы. Возьми себя в руки, дружище!

Разделение?.. Спокойно. Сработали пиропатроны — приборно-агрегатный и орбитальный отсеки отсоединились, покинули нас. Конечно, разделение... Корабль выплюнул визир, как застрявшую безделушку.



— Я Рубин, произошло разделение...

Помехи, шипение в ушах. Заря не слышит. Заря пропала. Пропала связь.

Держись, старик! Сейчас — самое интересное... Чертово веселье. Ты уже садился... Осталось совсем немного. Еще шаг — и ты дома. Справился. Ты справился! Теперь держись...

Он почувствовал, как подкатывает долгое, долгое падение. Семь тысяч метров в секунду.

Длинный баллистический спуск. Тыходишь в атмосферу, спиной вперед. Ты не видишь, что там, под тобой. Тебя валит, раскачивая, вниз, ты падаешь, падаешь до крика, до молчаливого визга, спиной, спиной...

Что-то жесткое, что-то невыразимо тяжелое вжало его в кресло, надавило на грудь, с сипом выпуская воздух, пытаешься вытолкнуть сердце, раздробить ребра. Рубин почувствовал, как глазные яблоки, мозг, мысли расплющивает, размазывает по ложементу. Он попытался вдохнуть — и не смог. В глазах потемнело, голова закружилась; по обшивке заплясали цветные пятна.

Корабль затрясло. Вокруг все гудело, верещало, скреблось. Рубин увидел, как в прозрачном стекле иллюминатора заплясали языки пламени. Сначала маленькие, нежные, хрупкие, словно огоньки от свечки — они разрастались, жадно впиваясь в оболочку, обглаживая, плавя, вгрызаясь в нее. Океан раскаленной плазмы ревел за бортом, пытаешься сожрать «Союз». Стало душно. Жар, жар расходился от раскаленных стен и стекол иллюминаторов, давил на лицо, впивался в легкие. Капилляры вздулись, щеки обжигало теплом.

Рубин закрыл глаза, изо всех сил впился ногтями в ладони, сжавшись, почувствовал, как падает, падает, падает спиной вниз... Что-то оторвалось, вырвавшись из желудка, с диким беззвучным воплем пронеслось через мозг, наполняя его всего от пяток до позвоночника ужасом.

— Я Рубин, иду на посадку. Давление в кабине...

Как страшно. Как невыносимо до дрожи страшно...

— ...пятьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба. Ощущаю небольшую...

Ты падаешь, падаешь, падаешь! Посмотри! Скорей бы открылся парашют. Скорей бы почувствовать толчок: легкие стропы подхватывают тебя...

— ...перегрузку. Самочувствие хо...

Страшно. До чего страшно. Когда же все это кончится? Тебя вдавливают, ты не узнаешь свой голос:

— ...самочувствие отличное. Температура в кабине...

В глазах темнеет. Совсем ничего не видно. Огонь остался выше, сбитый потоками воздуха. Обуглился, запекся темной заскорузлой коркой иллюминатор...

— ...двадцать шесть градусов.

Когда же откроется парашют? Уже скоро, уже сейчас... Только бы...

— Я Рубин, как слышите меня?..

Что это? Выстрел? Страх только здесь...

— ...как слышите?..

Страх только сейчас. Ты привык к нему, ты трогаешь его... Легкий толчок — кажется, отстрелило парашют. Уже пора бы... уже...

На секунду все замедлилось, словно натянутое до предела, дернулось, оборвалось, проваливаясь с огромной скоростью вниз.

Вниз.

Падаю! Падаю! Стены пошли кругом — корабль завертело. Перед глазами цветные мечущиеся пятна. Где лево, где право... только подкатывающая к горлу тошнота: держаться, держаться — вырвет... Держаться.

Визг, скрежещущий, нарастающий грохот. Все быстрее, быстрее...

Спиною вниз.

Ты сжимаешь кулаки, впиваешься зубами в губы. Тошнота плещется где-то на дне желудка. Корабль закручивает, перегрузка вдавливает тебя в ложементы, раскалывается голова. Ты несешься, чувствуя ужасное, неостановимое падение. Тебя колотит, ты дрожишь — острая игла впивается под грудину, холодеет, немеет где-то в области сердца.

Страх. Клокочущий страх...

— Заря, я Рубин... — шепчешь ты.

Жена моет посуду. Ее покрасневшие руки тонут в воде, она говорит, улыбаясь вполборота, ты смотришь на нее, внимательно смотришь, она...

Перегрузка сжимает тебя до хрипа. Тепло и солоно во рту. Ну когда же? Когда?..

Сейчас! Сейчас раскроется парашют!

Удар.

Все переворачивается, идет кувырком, мелькает. Ты чувствуешь пронзительную, резкую боль.

Мимолетная улыбка.

Взрыв.

\* \* \*

Невесомый утренний свет пробивался сквозь прозрачные шторы, играя тенями, обнажал лица. Сонные, усталые, счастливые лица. Центр дальней космической связи не выпался. В обычной столовой был накрыт роскошный стол. Простые, но обильные закуски, грузинские темно-бордовые, ярко пахнущие сухие вина. Из приоткрытого окна приносило прохладное дыхание Черного моря. Центр не спал больше суток. И вот в восемь часов утра, поднимая бокалы и громко, почти выкрикивая, люди праздновали. Отмечали, переживая убитый страх, изношенную усталость, миновавшее их горе. Успешная посадка: доложили, что в шесть часов двадцать четыре минуты аппарат приземлился в районе Орска.

— А все-таки молодец Володя! Какой молодец! Справился! Что бы мы делали без человека! — весело сказал Кедр. — Молодец!

В дверном проеме показался офицер. Как-то косолапо, словно стесняясь, немного угрюмо обходя празднующих, подошел к Кедру, прошептал:

— Вас к телефону...

— Алло! Юрий Алексеевич? — сказала трубка.

Кедр изменился в лице.

Тихий свет. Бряцанье вилок. Чей-то тост.

О чем-то спорили, громко говорили создатели «Союза». Они не заметили ухода Первого, они не чувствовали в утреннем, немного соленом воздухе с Черного моря едва заметные звуки беды.

\* \* \*

Генерал Каманин смотрел, как догорают останки корабля «Союз». Обугленные, искореженные куски металла еще тлели, присыпанные землей. То и дело тут и там вокруг обожженной воронки вспыхивали, раздуваемые холодным ветром, затухали маленькие огоньки.

Шумели, вспарывая воздух, лопасти вертолета. Военные суетились, кто-то кричал, пытаясь отогнать в сторону мужика в телогрейке — тот рвался к обломкам, тряся закопченной головой, протягивал черные ладони, орал что-то. Невдалеке хмурой серой толпой замерли люди. Они говорили вполголоса, вспоминая, как увидели падающий корабль, закручивающийся серыми стропами нераскрывшийся парашют. Прибежав сюда первыми, переждав взрывы, они потушили пламя, загасили чадающий, алчный костер мерзлой землей.

Немного в стороне, бросив чемоданчик с выцветшим алым крестом в грязно-черный пепел, курил врач. Ветер доносил запах гари и еще чего-то химически-резкого, лезущего в горло, обжигающего рот.

Генерал Каманин потрогал носком сапога обугленный обломок, развернулся, подошел к тому месту, где на зеленом брезенте лежал обожженный черный бесформенный комок. Он опустил на корточки, скинув фуражку, посмотрел на то, что осталось от космонавта, замер на минуту. Затем тяжело встал, приказал: «Грузите» — и поднялся по трапу в вертолет.

*Примечание: в тексте использованы записи переговоров летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Михайловича Комарова с Землей, а также слова из песни «Cotin' in on a wing and a prayer» («Бомбардировщики») Д. Макхью и Г. Адамсона. Русский текст: С. Болотин, Т. Сикорская.*

*Рассказ является частью романа «Грызть».*



---

Максим ЧИН-ШУ-ЛАН

## А СНЕГ ИДЕТ

Р а с с к а з

Не вызывает сомнения факт, что большинство из встреченных нами людей можно описать одним словом. Для Леонида Сергеевича, сторожа-охранника в ООО «Авалон», таким словом является слово «старик». Как тщательно природа лепит человека в начале его жизненного пути, с такой же аккуратностью она затем разрушает полученный с таким трудом результат. Поэтому, разглядывая Леонида Сергеевича, вы вряд ли увидите белокурого мальчика в школьной форме и с портфелем, студента железнодорожного техникума, водителя, машиниста, моряка на корабле дальнего плавания, рабочего завода, передовика производства и, наконец, ветерана труда. Нет, ничего из этого вы не увидите. А увидите вы старика с большой головой, крючковатым, лихо загнутым носом и глазами: в прошлом — нежного небесно-голубого оттенка, а сейчас — серыми, цвета сухого цемента. Как монах проводит невеселое сравнение, так он, водя по голове рукой, делает так, чтобы казалось, что волос на ней как будто бы больше. Голая опушка посреди зимнего леса — ну куда это, скажите, годится!

Что касается дополнительных фактов о старике, то старик, понятное дело, пенсионер, дважды как дедушка, хотя связи с детьми и внуками никакой из-за какой-то мелкой, давно уже забытой обиды, увы, не поддерживает. А жена его — Галина, она же Галя, Галинушка, Галчонок, к сожалению, не так давно умерла. О том, как пережил Леонид Сергеевич эту трагедию, и о том, какие выводы сделал, будет еще сказано ниже.

А сейчас, одним морозным январским утром, старик, пододев под брюки две пары штанов, шел на работу. А трудился он, как уже было отмечено, сторожем в фирме, название которой тоже было уже раз упомянуто. Фирма эта, к слову, занималась строительством скромных, но многоквартирных домов, квадратный метр в которых стоил так дорого, что само собой в голове возникало нехорошее слово «кредит». А между тем вклад Леонида Сергеевича в решение жилищного вопроса россиян был немаленький и заключался он в том, что сутки через двое старик охранял еще недостроенные квадратные метры от рук тех несознательных граждан, кто о кредитах или не слышал, или принципиально ими не пользовался. За проявленную смелость и бдительность старик получал 1 500 рублей в смену, плюс пенсия 12 206 рублей. Итого, как он сам

говорил, выходила почти тысяча американских долларов, которые старик в руках никогда не держал и сорок лет живую не видел.

Работу свою — главным образом за спокойствие — старик очень любил. Тем более что последнее время он только тем и занимался, что сторожил и сторожил. И делал это уже так давно и успешно, что в какой-то момент ему самому стало казаться, что ничем другим он и не занимался. Однако тишина и спокойствие, за которые старик свою работу так сильно ценил, зачастую не касались тех мест, где ему приходилось трудиться. Сначала ветер лихих перемен стер с лица земли действовавшую безо всех разрешений автостоянку, затем нелегальную лесную площадку, там, где доски принимают и пилят, а под конец неизвестно как, но все-таки открывшийся в обход закона склад-магазин. Поэтому, видимо из-за тяжелого груза своего печального прошлого, старик твердо решил, что о нынешнем месте работы распространяться не будет. Впрочем, Леонид Сергеевич вообще был человеком малообщительным, вместо пустых разговоров предпочитал молчать, то есть — думать. Надеялся втайне старик, что вместе с годами придет к нему мудрость. Но вот старость пришла, а мудрости не было. И вечный вопрос о жизни и смерти так и остался для него загадкой. Старику, может, и не были уже так интересны вопросы о жизни, но вот о смерти, о том, что будет после нее, старик думал и днем, и еще усерднее ночью. Бывало так, что обычно тихий сторож вдруг быстро и горячо начинал говорить с кем-нибудь, пусть даже с человеком совершенно случайным, пытаясь его убедить, а на самом деле себя в том, что ответ ему вдруг стал известен, а потом, спустя какое-то время, что все-таки нет, неизвестен. И заканчивалось все всегда тем, что совершенно уставший старик приходил к выводу, что никого решения у тайнства смерти нет и быть в природе не может. На этом месте он, по обыкновению своему, умолкал до следующего, более удачного раза.

Итак, одним морозным январским утром Леонид Сергеевич, если двумя словами, то одинокий старик, пододев под брюки две пары теплых штанов, шел на работу. При этом ничего примечательного с ним в пути не случилось, не считая того, что какая-то женщина, сама уже в возрасте, но еще не седая, встала, уступив ему в автобусе место. Неловкая получилась ситуация. Пришлось Леониду Сергеевичу, краснея и стесняясь в словах, целых две остановки доказывать, что он на самом деле никакой не старик, а плохо выспавшийся молодой человек. На том и доехали.

А утро и правда выдалось чертовски холодное. Мороз был такой, что от него, как говорят, стекла трещат и один зуб по другому промахивается. А тут еще и снег ко всему. Нервный, стремительный снег. Он тебе в глаза, в рот, за шиворот лезет. Такой преследует человека, как совесть, и никак не оставит в покое. И такие сугробы, как специально, за ночь намел, что задавит. Ну и черт с ним. Тем приятнее было увидеть три этажа еще строящегося кирпичного здания, высокий забор с обязательным в данном случае венцом из остро заточенной проволоки, а уже за забором — родную сторожку. Сторожка эта, кстати, была совсем не сторожка, а самый настоящий фургон, большой, на четырех здоровенных, правда, намертво вмерзших колесах. Снаружи фургон был темно зеленый, впе-

ремешку с ржавыми пятнами, которые обильно росли на нем и были похожи на рыжие елочки. Два небольших мутных окошка были закрыты решетками, одна из которых, на висячем замке, отворилась, на случай пожара. И не зря, потому как внутри фургона стояла печка-буржуйка. Ее железный отросток в виде насквозь проржавевшей трубы на добрый метр выделялся над крышей.

Глядя на эту трубу, из которой крупными кольцами валил серый дым и алыми каплями разлетались искры, старик невольно представил себе, как через какую-то минуту окажется в теплом, даже жарко натопленном помещении, и ноги, несмотря на усталость, сами понесли его скорее во двор. Во дворе было пусто и вместе с тем шумно. Строители, приходившие на целый час раньше, уже приступили к своим нелегким обязанностям. С грохотом туда-сюда ворочался кран, то поднималась, то опять опускалась груженная кирпичами корзина. Шипя и деляя больно глазам, работала сварка. Леонид Сергеевич поднялся на первую ступеньку фургона, взялся за холодную ручку и огляделся вокруг, словно намеревался увидеть кого-то. Но никого рядом не было. Он заглянул под фургон. И там никого. Только к расчищенной от снега площадке тянулась узкая цепочка следов, должно быть принадлежащая собаке.

— И куда они могли подеваться? — задался вопросом престарелый охранник, но долго над этим не стал думать и потянул тяжелую, обитую по краям толстой тканью пальто дверь на себя.

И тут же в лицо ему ударил горячий и удушливый воздух и соленый запах, какой обыкновенен в жарких и грязных квартирах.

— Так ты еще жив? — услышал Леонид Сергеевич грубый низкий голос, стоило ему показаться в дверях.

— Да, жив, — предупредительно-вежливо отозвался старик и так же ровно добавил: — И ты, я смотрю, Володя, не болен.

В ответ человек, которого только что назвали Володей, не то сидя, не то лежа в бесформенном кресле, громко и нехорошо засмеялся. А после буркнул себе под нос:

— Не подох, старый черт, — и еще сильней развалился.

Володя — как могло показаться, дурной человек — был коллегой Леонида Сергеевича, чья смена с появлением последнего благополучно закончилась. На вид ему было лет сорок, а по паспорту — на десять лет меньше. Причиной такой разницы была черная полоса, которая никак не отпускала Володю. Лицо его от несчастий потускнело, осунулось, глаза озверели, а юмор стал груб и жесток, как и у всякого человека, который не получает от жизни того, что страстно желает, а именно — денег. Да, денег, этих жалких, но ценных бумажек в нужном количестве никак не удавалось заработать Володе. Он пытался. Он многократно пытался. И после окончания престижного факультета одного престижного вуза сменил не две, не три, а четыре работы. Но на каждой из них его эксплуатировали, на каждом месте не ценили, на каждом — недоплачивали. Устав от всего этого беспредела и разругавшись со всеми, два года тому назад Володя решил с неблагодарным трудом завязать и уйти в свободное плавание. Почти сразу после такого решения от Володи сбежала жена, всего лишь

гражданская, но все равно не чужая. Это в свою очередь окончательно добило и так потерявшего тягу к жизни Володю, и, просидев без дела еще год, он как будто прозрел и устроился работать охранником.

— А где собаки? — спросил Леонид Сергеевич, безуспешно пытаюсь пристроить на переполненную вешалку куртку.

— Не пушу, — злобно сощурившись, отозвался Володя.

Леонид Сергеевич не спеша, по-стариковски упал на диван, при этом положив перед собой еще мокрую куртку, и спокойно, даже беззлобно сказал:

— Зря. — Подумав, добавил: — Холодно на улице же.

Слова старика не тронули сердца Володи, который сел прямо и, скрестив руки, ответил:

— Все равно не пушу. В своих теплых шубах потерпят. А то устроили мне здесь из фургона собачью будку. — И Володя презрительно огляделся вокруг.

Леонид Сергеевич намек понял и проследил за Володиным взглядом. Тут ничего, конечно, против не сказать, Володя был прав: фургон их ужасен и грязен. Желтые, болезненного оттенка обои большей частью ободраны. Из дивана в трех местах торчит поролон. Собачья шерсть комками повсюду и даже на столике, что стоит между диваном и креслом. А на столик без слез и не глянешь — мало того что завален чем только ни попадя: в куче здесь и остатки еды, и ноутбук, и журналы. Главное, что дотронуться до него просто так невозможно. Случайно коснешься, и рука тут же липнет в чем-то невидимо-вязком. И такой же точно беспорядок повсюду. Пол в фургоне дощатый, неровный, прямо между его досок лежит вечная пыль. А в углу, там, где электрическая помещается плитка, еще и рожки, и рис попадают. И доски в том углу от постоянного варева темные, и пахнет там над плитой как-то особенно кисло.

— И какой же нормальный человек будет здесь жить? — делает вывод после осмотра Володя.

Леонид Сергеевич полной грудью вздыхает, тем самым соглашаясь, что никакой нормальный человек здесь жить не будет, а вслух говорит:

— Жалко животных, немолодые они.

— Себя пожалей, в такой грязи находиться, — произносит Володя, пододвигаясь к ноутбуку поближе, чтобы сыграть напоследок еще одну партию в танки.

Леонид Сергеевич, которому нечем заняться, животных-то нет, пододвигается к Володе поближе и глядит, как тот на ноутбуке играет. Самому старику компьютерные игры не нравятся, ему нравятся шахматы.

Под однообразное гудение мотора танков, то и дело доносившееся из хриплых динамиков, прошло минут десять. Больше за это время ничего не случилось. Володя играл, Леонид Сергеевич, сидя рядом, смотрел. Наконец старику надоело смотреть, он поднял руку и вытянул из пачки журналов газету. Но вытянул неудачно: один из журналов упал в сторону и угодил прямо в тарелку с едой. Еда, соответственно, оттуда вывалилась, и сухая картофелина покатила по полу. Володя на мгновение поднял голову, выругался. Его танк в эту самую секунду подбили.

— Давай, устрой мне тут картину, Сергеич, — жалуясь, протянул он и, бегло взглянув на старика с газетой в руках, сухо добавил: — Лучше вакансии мне почитай.

Чувствуя себя виноватым, Леонид Сергеевич встал, поднял картофелину с пола и, подув на нее с разных сторон, положил обратно в тарелку. После чего сел на прежнее место и, развернув газету, начал читать.

Снова раздался звук двигателя, изредка прерываемый пальбой и Володиными криками:

— Открой глаза!.. Куда прешь?! Сейчас я тебе!..

— Слушай, — спросил старик у Володи, — а ты кто у нас по специальности? Юрист?..

— Ну, юрист... Ах ты, гнида! Счас я тебе!.. — заорал вдруг Володя, которого снова подбили.

Произнеся многозначительно «гхм», Леонид Сергеевич продолжил рыскать по газетной странице, до тех пор пока не нашел искомое слово.

— Требуется, — вслух стал читать он, — юрист ЖКХ, можно без опыта. Зарплата... Зарплата от двадцати тысяч рублей. Это тебе не пойдет?

Володя не поднимал головы:

— Не пойдет... Сволочь ты. Там работы навалом, и такие же старики, наподобие тебя, круглыми сутками жалуются.

Тут лицо Володи, как и голос, стало плаксивым:

— «Меня эта скотина сверху опять залила»... Или «каждое воскресенье он дрелит и дрелит»... Или «канализацию вчера прорвало, плохо пахнет». И вот такие головняки всего за двадцать тысяч рублей. Нет уж, лучше я здесь посижу.

Закончив паясничать, Володя одной рукой взял со стола сигарету, потом зажигалку и, закурив, продолжил играть. А Леонид Сергеевич, не желая возражать, вернулся обратно к газете.

— Требуется, — снова прочел вслух старик, — сотрудники в батальон ГИБДД по такому-то краю, отслужившие, здоровые... юридическое образование, можно среднее специальное, обязательно.

Леониду Сергеевичу вакансия показалась хорошей, и он вопросительно посмотрел на Володю. Ответом было молчание.

В комнате стало как будто бы жарче, слышно было, как стреляют дрова в печке-буржуйке. Прошла минута, другая. Володя нервно поерзал на кресле: в игре вот-вот должна была произойти серьезная битва. Сквозь зубы с усмешкой сказал:

— Не годится. Я в армию по здоровью не годен, — и, выставив вперед левую ногу, добавил: — Плоскостопие.

Бесшумно вздохнув, старик не стал дальше читать и отложил газету. И в этот самый момент оторвался от ноутбука Володя: он победил, лицо его было довольным.

— Знаешь что? — сказал он, начав тянуться к картофелине, потом, вспомнив, где она побывала, отдернул руку. — Знаешь... Вот ты бы уволился или помер, Сергеич, и мне денег вот так бы хватило! — Он резко

чиркнул у себя над головою ладонью, показывая, как много у него было бы в таком случае денег.

— И мне бы, если бы ты ушел или умер, твоя зарплата лишней не стала, — отозвался старик и непонятно чему улыбнулся.

Громкий раскатистый смех вдруг сотряс всю сторожку. Согнувшись пополам, Володя смеялся. Глаза его увлажнились, одной рукой он со всей силы стучал себя по коленке и не переставая гоготал.

Леонид Сергеевич тоже не выдержал и опять непонятно чему улыбнулся. Слаб был старик, но на Володю зла не держал, сочувствовал ему и считал человеком несчастным. Его бессмысленное, безнадежное отношение к жизни, его покалеченный юмор напомнили старику его самого в те времена, когда закрыли завод и Союз развалился. Но тогда Леонида Сергеевича спасла от уныния его родная, его бесценная Галя, а вот у Володи никого близкого не было. Один он жил. И поэтому медленно точила его болезнь под страшным названием одиночество.

— Нет, старик, — кончил смеяться Володя, — раньше тебя я точно в могилу не лягу. — И потянулся, разведя в стороны крепкие, сильные руки.

— Это мы еще посмотрим... — робко ответил ему Леонид Сергеевич, а сам подумал: «Тут не поспоришь».

Помолчали. Володя, отдохнув, вернулся обратно к компьютеру. Леонид Сергеевич тоже собрался чем-то заняться, но не успел, так как из-за двери послышался странного характера звук. Леонид Сергеевич посмотрел на Володю, тот или ничего не услышал, или просто не отреагировал, продолжая играть. Звук повторился. Странный это был звук, как будто кто-то скребется или стучит, но не по самой двери, а рядом. Леонид Сергеевич подождал и, не выдержав, пошел открывать.

— Не вздумай пускать. Выгоню, — грозно произнес ему в спину Володя.

— Но как не... — хотел было не согласиться старик.

— Не вздумай!

Леонид Сергеевич подошел ко входу и отпер дверь. Что-то темное вместе с ветром и снегом влетело в фургон и, тряся головой и телом, начало стряхивать с себя снег по-собачьи. Но это была не собака, это был третий сторож — Никита, мальчик четырнадцати лет, уже подросток. В глазах Леонида Сергеевича он был, конечно, мальчиком, едва не ребенком — светлым, розовощеким, с круглыми и ясными любопытствующими глазами. Ругался он хлеще Володи: так обложит, не один день потом приходиться в себя будешь. На вопрос, откуда набрался, он отвечал — в школе. Но поражало Леонида Сергеевича в Никите вовсе не это, поражали старика знания мальчика. Со всеми этими телефонами и компьютерами Никита был на «ты». Знал и историю, экономику, другие науки. И по-английски мог больше двух слов связать, набравшись всего в Интернете.

Какое это, должно быть, удивительное место — Интернет, думал старик, удивляясь, как четырнадцатилетний ребенок может столько всего знать и все может обсудить.



Сторожем Никита, понятное дело, работал незаконно, по блату. Его отец знал другого отца, который и помог это устроить. Работал он для своего возраста сносно, никто на него не жаловался.

— Иптать-колотить! — прыгая на одной ноге, сказал мальчик. Он был без шапки, и темные волосы его блестели от влаги и снега. — Жесть, на улице холодно.

Леонид Сергеевич закрыл за мальчиком дверь и, хлопая новоприбывшего по белой спине, спросил:

— Почему без шапки, Никит?

— Да ну ее в баню... С ней... ще холоднее, — через слог, потому что замерз, отозвался Никита. Не дожидаясь, пока его спросят, щелкая челюстями, добавил: — Вещи, идиот, здесь оставил.

— А-а... — тут же протянул со своего места Володя. — Тебе повезло, мой родной, я их чуть было не выбросил. За диваном лежат.

Услышав два неприятнейших для себя слова, «выбросить» и «родной», Никита, которому уже порядком надоело отряхиваться, сморщился и, расстегнув куртку, но не снимая ее, двумя прыжками перемахнул через комнату, оказавшись на противоположной части дивана, зацепив сапогами обивку.

— А уроков у тебя сейчас нет? — поинтересовался у Никиты старик.

— Есть, — отозвался тот и, шебуриша пакетом, стал проверять, все ли вещи на месте. Убедившись, что все, сел нога на ногу, скинул куртку на плечи — было все еще жарко, печка не остыла — и с неподвижным лицом стал смотреть, как Володя играет. Быстро устав и от этого, стал вертеть головой:

— А куда подевались собаки?

— Снаружи, — садясь с другого края, отозвался старик.

Никита поджал тонкие губы и, растянув неимоверно, произнес одно слово:

— Ясно.

Снова пауза, только короткая. Не умеющий сидеть спокойно, Никита решил закинуть ноги на столик, но сделал это неумело, толкнув ту самую, что и старик до него, стопку журналов, и та, опрокинувшись, повлекла за собой тонометр.

— Да вы издеваетесь! — тут же возмутился Володя.

Старик было поднялся сам все убраться. Никита не двигался и, может, помог бы старику, если бы не грубый окрик Володи.

— Подними! — приказал он Никите.

Мальчик как сидел неподвижно, так и остался сидеть. Никто не успел и глазом моргнуть, как Володина рука, описав полукруг, треснула сорванца по затылку.

— Ай! — раздался болезненный выкрик, а после — несколько не имеющих адресата крепких словечек.

— Подними! — снова раздался повелительный голос.

Никита поднялся, обошел стол стороной и свалил обратно на стол журналы, громко ударив по ним сверху тонометром. Володя и старик наблюдали за ним, ничего не говоря.



Мальчик сел, скрестив руки, и по виду его было понятно, что он чрезвычайно обиделся. Но обижался он на Володю недолго, потому как уже через десять минут, зевнув широко, как бы невзначай, но обращаясь понятно к кому, произнес:

— Ты все в эту древность играешь?

Фраза содержала в себе долю презрения, и Володя, почувствовав это, цинично сказал:

— А ты уже нет?

— Нет, — ровно, но с ноткой превосходства ответил Никита. — Я теперь в космическую игрушку играю.

— Что за игрушка?

— Ты не знаешь, — сказал он опять с превосходством. — Она про космические корабли, межзвездные перелеты и станции. Освоение новых миров и планет и трансгенерацию.

— Транс... гене... что? — не уловив смысла сказанного, поинтересовался старик.

— Трансгенерацию, — не без ехидства повторил Володя и, повернувшись к Никите, спросил: — Малой, ты-то хоть знаешь, что это такое?

— Нет, — ничуть не смутившись, ответил Никита. Самообладание редко покидало его. Про таких говорят: тверд как камень. Но и камень бывает хрупким.

— Знаете... — Никита отвел глаза в сторону, как бы размышляя над тем, сказать или не сказать, и все-таки не сдержался: — Я тут подумал и... Скажите, а сложно сейчас физиком стать?

— Кем-кем? Физиком? — Володя в который раз громко и раскати-сто рассмеялся и сквозь узкие щели красных от недосыпания демонических глаз посмотрел на Леонида Сергеевича. Подрагивая часто плечами, старик тоже смеялся.

Дело тут было в том, что Никита — человек с миллионом идей, идей, которые жили в нем меньше, чем бабочки. Примерно раз в два месяца он хотел кем-нибудь стать. Недавно — миллионером, после — генетиком, а теперь уже физиком. Именно благодаря увлечениям Никиты в фургоне появились такие полезные для современного человека журналы, как «Форбс», «Коммерсант», оказавшиеся незаменимыми, когда нет стаканов, реторты и колбочки. Прошел месяц, можно было ждать чего-нибудь нового.

— Хватит смеяться, — скрестив и ноги, заметил Никита. — Я, между прочим, серьезно.

— А чего сразу не этим... как его... космонавтом? — не переставая злорадствовать, поинтересовался Володя.

— Неинтересно мне быть космонавтом, — сказал полноватый Никита. — Здоровых сейчас до хрена, а вот ученых нашей стране не хватает.

При этом голос Никиты стал тверже. Он больше не говорил, он декламировал.

— Вы слышали?.. — начал Никита. — Наши в следующие десять лет хотят Луну заселять. — И, глядя на лица своих собеседников, по которым было понятно, что они ничего такого слышали, добавил укоризненно:

— Это же начало новой космической гонки! Многотонные ракеты, летящие в космос, колонии на Луне, орбитальные станции, межзвездные перелеты, гиперпространство — все это кто-то же должен построить? Какие же впереди у меня перспективы: телепортация, космические линкоры...

— И трансгенерация! — воспользовавшись моментом, вставил Володя.

— И она, да, естественно. — Никита провел перед собою ладонью, оттопырив в стороны большой палец с мизинцем, показывая, как, по его мнению, летает линкор.

— Сергеич, тебе сколько было, когда Гагарин наверх полетел?

Старик неловко почесал за ухом и ответил:

— Лет девятнадцать, может быть, двадцать.

— И о чем ты тогда сразу подумал?

— Я... — Старик перестал чесать за ухом и потер ниже, за шейей. —

Я... я не поверил, — честно признался старик.

— Во-о-от! — сказал Никита так, как будто знал об ответе заранее.

— Потом уже, когда не через кого-то, а вживую, по телевизору его показали, тогда, конечно, поверил, — не обращая внимания на Никиту, закончил старик.

Мальчик продолжил:

— Вот — не поверил. В это вообще трудно поверить, если подумать, что только шестьдесят лет назад человек своими глазами увидел, что Земля наша круглая.

— Пятьдесят три, — поправил Никиту Володя.

— Да. Неважно, я округлил. А теперь только представьте... Пятьдесят три года — это меньше одной человеческой жизни. Что же будет еще спустя пятьдесят? Колонии на Луне и Марсе, межпланетный туризм, инопланетяне, возможно... — В этом месте Никита изменился в лице и погрустнел. — Жаль, — добавил он, и горькая складка легла у него возле губ.

Володя со стариком, не сказав вслух ни слова, посмотрели на него вопросительно.

— Жаль, что нельзя заглянуть вперед лет на двести... или лучше пятьсот. Своими глазами увидеть, что там будет, в будущем. Звездолеты, планеты, пространство... Один человек как-то сказал, что фантастика — это тоска человека по будущему. И я с ним полностью в этом деле согласен. И почему человеческая жизнь такая короткая?

Тут Леонид Сергеевич, который хотел что-то добавить, промолчал, а Володя, обеими руками оттолкнувшись от кресла, сказал:

— Ладно, пойду я до дому. Устал.

Володе были неинтересны разговоры о космосе, ему бы поговорить о другом: за жизнь, о деньгах, а еще лучше о том, что Т-34 — хороший танк, но «тигр» лучше... и что на танк ИС была установлена артиллерийская пушка А-19 и Ворошилова, который лично вызвался все испытать, ею чуть не убило. Но ни Никиту, ни старика, к сожалению, эти темы не трогали. И Володе оставалось только уйти.

Натянув на себя зеленую, затертую до пятен на локтях куртку, Володя потоптался на месте и, засунув руки в карманы, спросил:

— А может кто денег занять? — И после непродолжительной паузы: — Мне на черпак не хватает.

Старик с мальчиком скинулись и дали Володе двести рублей. Тот деньги принял, сказал, чтобы записали на счет, что с полочки он занятое разом вернет.

И тут неожиданно всем троем стало совестно: Володе — за то, что у него не было денег, Никите — за то, что он дал. А тяжелее всего приходилось Леониду Сергеевичу, которому было неловко и за то, что он дал, и за то, что у него было больше всех денег. Опустившись, как занавес, в фургоне возникла неловкая пауза. Все ждали, что, получив деньги, Володя развернется, уйдет. Но Володя не уходил, а оставался стоять. Достал из кармана, куда он уже успел их положить, две бумажки, посмотрел на них, помял, потом опять распрямил и все-таки убрал их обратно в карман.

— Собак не кормите, — сказал он угрюмо, перед тем как уйти. — Я их уже покормил.

И, не попрощавшись, растворился за дверью.

В ту же секунду несколько снежных пушинок залетели в фургон, а вместе с ними забрался внутрь и холод. Невидимой змеей прополз он к дивану и коснулся руки Леонида Сергеевича. Старик от этого леденящего прикосновения вздрогнул. Никита, почувствовав кожей мороз, тоже поежился.

День наступал. Стройка, как огромный муравейник, работала. Пуще прежнего надрывались моторы, еще громче раздавались уместные в данном случае нецензурные крики, только теперь к ним присоединились особо раздражающие всех и каждого стуки. «Бум, бум, бум...» — методично отбивали молотки на площадке.

Часы на руке у Никиты показывали ровно двенадцать. Мальчик еще раз порылся в пакете, удостоверился, что вещи на месте, и встал.

— Мне пора в школу, — сказал он, лениво потягиваясь и одновременно зевая. — А то на последний урок опоздаю.

Леонид Сергеевич, смерив взглядом Никиту, спросил:

— Так ты уроки прогуливаешь?

— Да там физкультура.

— Плоскостопие? — поинтересовался старик.

— Хитрожопие, — ответил Никита и застегнулся. — Завтра у меня, Сергеич, четыре урока и я где-то на час опоздаю.

— Хорошо, — принял новость Сергеич. — Только ты не задерживайся.

— Не, не буду. У меня завтра физика, — улыбнулся Никита.

— И шапку надень.

— Да у меня ее нету, — как-то нехорошо буркнул Никита.

— На вот, эту возьми. — Старик залез в рукав своей куртки и вытащил оттуда толстую шапку.

— А ты?

— Завтра вернешь.

Мальчик натянул шапку, поправил ее и туда, и сюда.

— Нет, лучше я так. — Шапка ему не понравилась.

— Надевай, — потребовал старик. — Еще менингитом заболеть не хватало.

— Да ладно, — расхрабрился Никита. — Тут недалеко. Школа-то рядом.

Зная, что старик все равно будет настаивать, Никита открыл дверь, выскочил, запнувшись в проеме обо что-то, и, не удержавшись, упал.

Леонид Сергеевич не видел, что именно помешало Никите, но слышал, как тот закричал:

— Чертовы псины! Пошли вон от меня! Фу, фу, фу! Я кому сказал?! Отвалите!

Стало ясно: о собак споткнулся Никита. Собак было две. Одна, медленно виляя хвостом, ходила вокруг Никиты кругом, а другая, более крупная, стояла на нем, упершись в него передними лапами, и хвост ее тоже, словно автомобильная щетка, двигался туда и обратно.

Кое-как все-таки выбравшись из-под собачьих объятий, Никита, не отряхиваясь, крикнул: «Эх, твою мать!» и «Врешь, не возьмешь!» — и кинулся навстречу крепкому и такому же дерзкому, как и он сам, ветру. У него был вид молодого петуха, готового к драке. Собаки рысцой проводили его до ворот, после вернувшись к фургону. Они любили Никиту — и любили за то, за что любят собаки детей: за то, что они еще дети.

Собаки жили тут давно, еще до появления на площадке самого Леонида Сергеевича. Наверное, самое любопытное в них было то, что свои необычные для собак имена они позаимствовали у двух уже оставивших службу охранников. Таким образом, первый из двух псов стал называться Василий, так как один из сторожей был Николаем Васильевичем, а второй стал почему-то Зелёный — или, если ласково, Зелёнка. Кажущуюся бессмысленность клички объяснить очень просто, и смысл тут в том, что другого сторожа звали Геннадий и собаку поначалу и назвали Геннадием, но совсем скоро укоротили до Гены. А за Геней, следуя популярному мульту, последовал Крокодил. Но кричать много раз на дню: «Крокодил, Крокодил!..» — очень долго и сложно, да и за психа, чего доброго, могут принять, так в итоге сделался из Крокодила — Зелёный. Добрый, ласковый пес, хоть и черного цвета.

К слову, Зелёный был моложе Василия, было ему всего восемь лет, в пересчете на человеческий возраст выходило около пятидесяти шести, младше Леонида Сергеевича. О прошлом Зелёного было известно немного. Говорили, что мать его, победительница многочисленных конкурсов и особа среди кинологов весьма уважаемая, принесла щенят от безродного пса. И Зелёный, как совершенно ненужный королевский бастард, был благополучно забыт, оказавшись в итоге на улице. Правда это или нет — никто точно на площадке не знал, но снаружи Зелёный и правда был похож на овчарку, только поменьше и без горбинки на носу.

О втором псе, Василии, можно сказать еще меньше. Он стар, лет ему примерно одиннадцать. Он крупнее Зелёного, морда у него не острая, а как у эрдельтерьера — тупая. Шерсть у Василия белая с черными пятнами и на удивление вьющаяся. Возле носа у Васи беда: шерсти узким треугольником нет, а от самого носа куска не хватает. Говорят, хватили

пьяные мужики его горячей палкой по морде, вот и шрам в виде уродливой и плохо пришитой заплатки остался. Шрам-то остался, а нюх у Васи пропал. С тех самых пор они неразлучны с Зелёным. Куда ни пойдёт молодой, Василий ковыляет за ним — одна лапа у него не сгибается. Так они вместе и ходят. Что будет с Василием, если Зелёный раньше помрет, страшно подумать. И старик даже как-то раз, когда никого, кроме собак, рядом не было, не выдержал и сказал:

— Хоть бы ты, Василий, раньше ушел и не мучился.

Но сейчас все нормально, и оба пса, как здоровые, стояли и смотрели на старика, виляя хвостами. Старик сильно нравились эти, должно быть, последние в его жизни собаки, а больше всего в них ему нравилось то, что из всех трех сторожей псы были похожи на него самого: такие же немолодые и, что не менее важно, тихие, словно не собаки, а волки. Ни Зелёный, ни Василий понапрасну не лаяли, а спокойно лежали: один в углу возле печки, а второй — свернувшись клубком на потрепанном кресле, том самом, на котором совсем недавно можно было увидеть Володю.

Не дожидаясь, пока его будут просить, старик широко открыл двери и впустил собак внутрь, с этого и началась его смена.

Каждый, кто имел случай сравнить день с ночью, знает, что первый, обычно переполненный разными делами и суетой, пролетает словно скорый поезд — мгновенно, не оставляя после себя ничего, кроме воспоминаний, таких же мелких и плохо связанных между собой, как части изорванной в клочья бумаги. Совсем иначе обстоит дело ночью. Ночью не существует этого круговорота из необходимых для жизни, но не являющихся самой жизнью дел и гарантированно, если вы один или в скромной компании знающих толк в ночи людей, происходят всего два, но поистине грандиозных события. Первое — на место, где вы находитесь, черным саваном опускается тьма. И второе — следом за тьмой, до сих пор внушающей страх человеку, приходит отдых, а вместе с ним и покой. И кажется даже, что жизнь — это длинная, бескрайняя ночь, по недоразумению прерываемая на день. Но настанет момент, когда долгожданный покой больше прерываться не будет. Нетрудно догадаться, что момент этот не что иное, как смерть.

Смеркалось. Короткий день кончился, и на фургон, словно морской вал на пристань, накатил вечер. Но и он не смог удержаться надолго и вскоре растаял, растворившись в круговороте забот и мелких событий. Было уже около десяти часов вечера, когда наглухо закрылись ворота и на площадке никого, кроме Леонида Сергеевича, Василия и Зелёного, не осталось. Зелёный, по своему обыкновению, лежал в углу возле печки и делал вид, что дремал. Его хитрость выдавали глаза, которые он открывал при малейшем звуке или движении, открывал и проверял, не случилось ли чего интересного или вкусного, и снова прятал обратно. При этом перед самым носом Зелёного лежала покусанная, но так и не съеденная в итоге картошка, которую старик решил отдать псам, но, как выяснилось затем, зря: плотно, должно быть, накормил их Володя. Сам Леонид Сергеевич сидел на диване в позе думающего человека, сосредоточившись и подперев одной рукой подбородок. Наморщив и без того морщинистый

лоб, старик внимательно изучал шахматную доску. Положение на ней накалялось. Слева и справа от доски в ожидании скорой развязки кучками стояли покинувшие поле боя фигуры, короткий взгляд на которые давал ясно понять, что Леонид Сергеевич, игравший за черных, с треском проигрывал. Напротив старика в полуразвалившемся кресле, положив морду на передние лапы, закрыв один глаз, следил за игрой умудренный жизнью Василий. Волноваться ему было не о чем: счет по партиям и без того был 3:1 в его пользу.

Шло время. Теплый желтый свет ярко освещал сторожку. Грозный ветер, оставшийся не у дел, беспомощно бился о ее толстые стены. Слышно было, как дико он воеет после каждой неудачной попытки. Из узких отверстий динамиков, тех самых, из которых утром рычали свирепые танки, теперь лилась неопишимо красивая музыка, как балерина, легкая, изящная, грациозная, делающая несколько шажков на носках, взлетающая, плавно опускающаяся, потом делающая паузу... И такое вот совершенство продолжалось аж четыре минуты. Хорошо стало с этим танцем в сторожке, спокойно. Душа, словно накрытая пледом, вытянув ноги, больше никуда не торопилась. Серые тени на обшарпанных стенах разлеглись на обоях и выросли. Собаки, которым от мелодии хотелось спать, сладко позевывали. И мешало идиллии только одно: печка погасла и давно не горела, да еще злобный ветер сумел отогнуть от фургона металлический лист и стучал им снаружи.

Леонид Сергеевич тяжело вздохнул: идти наружу после ленивой нирваны очень не хотелось, но выбора не было — ночь только началась и мороз только усиливался. Старик положил указательный палец шахматному королю на корону и, приложив небольшое усилие, опрокинул того набок. Василий этот жест принял и в честь победы приоткрыл второй глаз. Там отразился старик. Он одевался. Вторая кофта, куртка, мохеровый шарф, шапка — утепился Леонид Сергеевич по полной программе, так что шей вращать свободно не мог и, оглядываясь, вынужден был повернуться всем корпусом, как космонавт.

— Ну что? — сказал Леонид Сергеевич, обращаясь к собакам. — Кто хочет пойти со мной за дровами?

В ответ на это странное предложение Зелёный, который обычно реагировал на каждое слово, остался лежать, и даже хвост его не показал никаких признаков жизни.

Тогда Леонид Сергеевич, переступая с одной ноги на другую, повернулся к Василию.

— Ну а ты, старикан, не хочешь со мной прогуляться?

Услышав, что к нему обращаются, пес, как сфинкс, высоко поднял голову, но через секунду вжал ее в плечи, при этом глаза его смотрели то в сторону, то на Леонида Сергеевича, а брови треугольниками запрыгали то вверх, то вниз. Так он говорил старику: «Иди за дровами один, а я тебя здесь подожду. И не надо на меня таким взглядом смотреть, я преданный пес, но и ты ведь не живодер, на холод меня не потащишь».

Уж кем-кем, а живодером Леонид Сергеевич не был. Да и собаки ему в походе за дровами были не очень нужны. Так, за компанию...



Леонид Сергеевич отпер тяжелую дверь и оказался на улице. Снег валить прекратил, но холодно было ужасно, почти так же, как и утром. В разных концах стройплощадки неярко горели два фонаря, крупницы света просачивались через окошки фургона. Мрачной тенью, словно утонувший корабль, возвышался силуэт опустевшего кирпичного здания. Леонид Сергеевич сделал шаг в пустоту, спускаясь на одну ступеньку пониже. И тут же ветер, налетевший откуда-то сбоку, полоснул его, сначала по одной щеке, затем по другой. Старик поднял было вверх воротник, но тот только скособочился на сторону и сразу упал. Ветер проносился мимо и радостно свистал. В такт ему стучал отогнутый металлический лист, словно поверженный колокол.

Старик вдохнул морозного воздуха, выдохнул и загнул чертов лист, чтоб тот не звонил, обратно на место, а после трусцой побежал туда, где был сарай. Там под идущей волнами шифера крышей лежали дрова и стоял огромный, весь покрытый шрамами пень для их колки. Закряхтев, старик выдернул из пня топор, снял с самого верха полено. Установив полено точно перед собой, старик наполовину вбил в него полукруглое лезвие, после чего со всего маху ударил топором с надетым на него поленом об пень. Раздался ломаный треск. Две тонкие доски повалились на землю, запахло деревом.

Леонид Сергеевич почувствовал, что устал, и, положив обе руки себе на колени, присел на пень отдохнуть. Луны видно не было. Звезды горели, но горели как-то неярко. Где-то над головой старика, скрипя, качаясь на плохо натянутом проводе, вяло освещал двор одинокий фонарь. Переведя дух, старик встал, вынул из поленницы еще одну чурку и, крякнув, с шумом ее расколол. Кровь хлынула по его старым венам, он раскраснелся, вытащил следующую чурку и, снова крякнув, но этот раз веселее, тоже ее расколол. После шестого или седьмого полена старик их считать перестал. Шарф его вылез из-под воротника, мороз, как показалось, стал как будто слабее.

Еще несколько раз после этого взлетал вверх топор. Дров вокруг пня накопилось с достатком. Наконец Леонид Сергеевич, сильно измотанный, побежденный годами, снова присел. Заколело в боку, давление резко упало. Вокруг стало тихо. Перестал раскачиваться старый фонарь, в его тусклом взгляде светлой паутиной шел снег, мелкие блестящие которого падали и на очищенную за день от этого самого снега площадку, и на крышу фургона, и на самого Леонида Сергеевича. Шапка и брови того вскоре сделались белыми. Показалась луна. Сбравшись с силами, старик прихватил с собой столько дров, сколько смог унести, и хрустящей зимней походкой пошел обратно в сторожку.

Едва завидев Леонида Сергеевича, идущего к печке с дровами, Зелёный оставил нагретое место и перелег. Дрова упали и покатались по полу. Старик сел, но не на диван, а на подлокотник. Круговым движением размотал с шеи шарф и остался сидеть неподвижно. Бок теперь не болел, а онемел, и двигаться старику совсем не хотелось. Хотелось, не изменяя позы, упасть на диван, не снимая с себя ничего, закрыть глаза и уснуть. Увидеть сны — и если повезет, то приснится Га... Лицо жены, молодое



и красивое, вспомнилось ему. Сердце Леонида Сергеевича на мгновение замерло, а потом, мотнув головой, старик сначала произнес про себя, а после и вслух: «Нет».

— Нет, — приходя в себя, повторил он. — Нет. Надо работать.

Разбросанные дрова лежали в сторожке.

Старик покачал головой и посмотрел на Василия.

— Да, надо работать...

Не разобрав слов и подумав, что его прогоняют, Василий не слез, скорее сполз с кресла и лег рядом с Зелёным.

Старик, двигаясь так, как будто никакой усталости и не было, встал, опираясь на стену, и пошел топить печку. Дело это, стоит сразу сказать, старик очень любил и относился к нему с уважением. Не торопясь, пошурудил кочергой внутри печки, вынес полное корыто золы и вернулся, впусив при этом свежий и колючий воздух. После чего сел как-то по-детски, на корточки, и принялся совать в черное горнило дрова. Самые крупные положил вниз, те, что помельче — слева и справа, и еще несколько сверху, так чтобы в итоге получилось то, что сам Леонид Сергеевич называл ласково «домиком». Соорудив импровизированное строение внутри печи, старик вставил в него лист мятой газетной бумаги и чиркнул спичкой. Огонь стремительно побежал по бумаге, оставляя за собой черный тлеющий след, потом занялись и дрова. Алеющий свет упал из печного окошка и осветил не всю голову, а только лицо старика. И лицо это сразу как-то порозовело, заиграли на нем веселые тени, показались морщины. Греясь, как кот, старик от удовольствия зажмурил глаза и выставил вперед себя бледные руки. Это было короткое мгновение, когда вокруг тебя еще холодно, а возле печки — тепло, созданное своими руками. Он почувствовал себя хорошо. Так хорошо себя, наверное, чувствует только повар, сумевший приготовить вкусный обед, или врач, которому удалось спасти от смерти того, о ком думали, что спасти его уже невозможно.

Сторож задраил заслонку и принялся ждать. Часы, как в цирке, ходили по кругу. Собаки вяло позевывали. Старик глядел на чугунные кольца поверх печи, в щелях между которыми прыгали языки красного пламени, и понимал, что его ожидание кончилось. Взяв в руки пакет купленного угля, Леонид Сергеевич сморщился: покупного он не любил, любил сыпать по старинке, лопатой и ведрами. Высыпав содержимое пакета до последнего камешка в печку, он снова облокотился на стенку. На этот раз ждать пришлось недолго. Пламя, получив от старика добавку, поначалу, будто не обрадовавшись сошедшему оползнию, приутихло, даже исчезло из виду, но потом приняло уголь и разгорелось с удвоенной силой. Жадное гудение донеслось из-за чугунных застенок, жалобно затрещали дрова, и сквозь кольца поднялось вверх серое облачко дыма. Это был тревожный сигнал. Следом из печи выплыло еще одно облачко, а потом из нее потянуло дымом.

«Наверное, слишком много дров положил», — подумал старик, когда, откровенно говоря, уже было поздно и дым, обнаглев, проплывал перед глазами белыми волнами. Даже собаки встревожились, подняли уши,

а затем и повскакивали. Леонид Сергеевич открыл дверь и выпустил случайных пострадавших наружу. Следом вышел и сам.

Луна, словно пригвожденная к небу, висела на месте, и созданное с таким старанием тепло устремилось вверх, к ней. Постояли, переминаясь. И когда старик решил все-таки зайти внутрь, то, к полному разочарованию, обнаружил, что в сторожке стало еще холоднее, чем до того, как он начал топить. Но что и вправду было невыносимо, так это запах дыма, который теперь был повсюду. И не было вещи, которая не пропахла им: стол, диван, кресло... да и сам старик успели провонять настолько, словно все они побывали в эпицентре большого пожара.

— Ну и дела... — почесал лысую макушку старик.

Одно было счастье: печка не полностью прогорела, а значит, утерянное недавно тепло еще могло вернуться. Но запах... Из-за него ни один из псов не вернулся на нагретое место. Не хотелось оставаться тут и самому Леониду Сергеевичу. Поэтому, нахлобучив на большую голову шапку и заперев сторожку на ключ, старик отправился в магазин купить себе какой-нибудь еды и водки.

Все те же цирковые часы двусмысленно показывали половину двенадцатого. В переулках было темно. Уличные фонари грустно горели. И три тени нестройной цепочкой двигались вдоль заснеженной улицы. Одна из них, с отрезанной тьмой головой, была человеческая, две другие, длинные и четвероногие, принадлежали собакам.

Леонид Сергеевич шел вперед медленно, каждый раз приходилось вынимать ноги из неглубокого снега, и думал, удастся ли ему купить водки или же нет. Наверное, удастся. Вдруг он только сейчас увидел свою тень, у которой не было головы. Это было забавно. Леонид Сергеевич посмотрел влево, вправо, присел — голова появилась опять. Встал — снова исчезла. Однако... Прежние переживания бесследно оставили старика, и он двинулся дальше с мыслью о смерти. Это может выглядеть странным, что человек вдруг, будто ни с того ни с сего, начал думать о смерти. Может. Но странно это не для человека, который тяжело и долго болеет. И думы эти хоть и не были слишком радостными, но и безнадежными или грустными они не были.

— Господи! Только бы не заболеть, только бы не слечь! — молил старик, когда стариком совсем не был. Повезло. Отец старика, давно покойный, последние пять лет своей жизни пролежал парализованный после инсульта. Тогда еще юный Леонид Сергеевич наблюдал, как отнялась у его отца после первого удара левая сторона, а после второго — другая. И вот ты ходишь днем по делам, ночью по комнате, а человек лежит на диване и пальцем нормально двинуть не может. И вскипает в таком живом мертвецке бессильная злоба. Злоба эта затем превращается в ненависть ко всему и к себе в первую очередь. И ее становится так внутри много, что именно от ненависти, а не от третьего удара человек в конце концов умирает.

Такая судьба миновала Леонида Сергеевича. Конечно, с утра где-то болело, но, как недобро шутят врачи, если у вас в старости ничего не болит, то, скорее всего, вы уже умерли. Не миновала старика другая про-

блема, от которой, судя по всему, и остановится в роковой момент его сердце. И имя этой проблеме — тоска. Старик скучал по Галине. Скучал так, как скучает ослепший по свету, как оглохший скучает по звуку или как онемевший — по голосу.

Она ушла рано утром, почти такой же зимой, на работу и уже никогда не вернулась. После напуганные очевидцы рассказывали, что автобус, ехавший своим обычным маршрутом, занесло и многотонная коробка, перевернувшись, налетела на людей, стоявших в это время на остановке. Среди этих несчастных людей была и Галина. Смерть ее была неожиданной и, как сказали черствые до чужих страданий врачи, почти безболезненной. Почти. Безболезненной. Каким, оказывается, страшным может быть слово «почти». Старик остановился и посмотрел на пустую, уходящую в темень дорогу. И до чего странна и неестественна бывает эта внезапная смерть. Ничто в тебе ей не верит. Проснешься спустя десять дней, один год и четыре дня — и первая мысль: ничего не было. Но люди вокруг, как голые вешалки и убранные в ящик под стол женские тапочки, упрямо, словно мигающий красный, твердят тебе: было. Было все. Была и зима, и утро, и остановка, был и автобус... и нет теперь одного — нет больше Галины. Леонид Сергеевич первое время ходил как неживой, цепляясь за стены, руки-ноги волочил, глаза были цвета рисовой жижи. Жизнь кончилась? Да нет, как назло — продолжается. И нигде не болит. Только вот пусто внутри и как-то по-особому грустно.

— И зачем ты меня здесь оставила? — обратился старик вслух к умершей жене. Он часто говорил с ней, когда ему, как сейчас, было совсем одиноко. Не надо над ним, пожалуйста, за это смеяться. Да, старик говорил с ней... и даже больше того: иногда ему казалось, что она ему отвечала.

Сам старик не видел в своих разговорах ничего странного и объяснял их себе просто: да, жена его умерла, но она не исчезла. Потому что два человека, однажды повстречавшихся как будто случайно и оставивших в жизни друг друга значительный след, никогда после этого и ни при каких обстоятельствах не будут уже одинокими. Соскучится один — и тут же в воспоминаниях появится другой. А там и разговор сам собою завяжется. И правду говорят про «смерть не разлучит вас». Смерть, конечно, великая штука, но вынуть одну душу из объятий другой даже ей не под силу.

И все же...

И все же было кое-что, чего сильно не хватало Леониду Сергеевичу, а именно — их с Галиной тайного поцелуя. Стоя позади, чуть ниже шеи, в первую выпирающую вперед косточку. Все другие ласки со временем растерялись, ушли, а та, с которой все начиналось, осталась...

Леонид Сергеевич поднял глаза и спросил, будто у неба:

— Где ты?..

Прошла минута, следом другая, и голос изнутри его самого, похожий на голос жены, ответил ему:

— Я здесь.

Тут и собаки, будто что-то почуяв, мягкими носами ткнулись в обшарпанный рукав старика. А Зелёный не только ударился в руку, он под

эту самую руку залез, и старику ничего не оставалось, как почесать за ухом одного, а потом и другого. И пошел снег.

Леонид Сергеевич подошел к днем зеленому, а теперь черному зданию, внешне похожему на невиданных размеров обувную коробку. Он не стал ломиться в закрытую металлической шторой дверь, а обошел коробку по кругу и негромко постучал в мало кому известные двери поменьше. Никто не отозвался. Старик хотел было постучать еще, но, когда его рука уже поднялась, в двери открылось окошко и высокий голос с восточным акцентом произнес:

— Кто там?

— Я, — неожиданно быстро отозвался старик, раньше чем успел это понять.

— Кто — я? — отдельно переспросил посерьезневший голос.

— Сергеич, — признался старик.

Ответа не было. Но было слышно, как за перегородкой что-то шевелится; потом съехала с салазок стальная задвижка и дверь отворилась. На пороге ее стоял невысокий мужчина в строгой рубашке и брюках, восточной наружности, с приплюснутым носом и с черными, но уже запачканными сединой волосами. На груди у мужчины красовалась приколотая к рубашке небольших размеров картонка, на которой было написано: «Эдуард Акопян». Прищурился один глаз и убедившись, что ночной гость оказался действительно тем самым Сергеичем, Эдуард убрал руку с пояса, где болтался предмет, похожий на электробритву, и сказал:

— Сергеич, ты бы прекращал так поздно приходить. Меня от твоих визитов точно рано или поздно хватит удар.

— Да ладно тебе, — извиняющимся тоном отозвался старик. — Первый раз, что ли...

— Первый... не первый, — вздохнул Эдуард, закрывая перед собаками дверь. — А мне по-прежнему страшно. Ты чай будешь?

Старик отрицательно мотнул головой, несвязно объяснив отказ тем, что у него печка до сих пор топится, да и собаки к тому же не кормлены.

— Значит... и чай пить не будешь... — как будто жалуясь, проворчал Эдуард. — И мне одному тут сидеть. Бери чего хотел и уходи, у меня там без тебя фильм интересный идет.

Из подсобки, где обычно сидел Эдуард и где стоял небольшой телевизор, кто-то густым басом грозился во что бы то ни стало кого-то убить, послышались выстрелы. Когда они закончились, Эдик с грустным лицом произнес:

— Только водки я тебе не продам. Не могу.

Тут из телевизора послышался полный боли и страдания умирающий голос, который сказал: «Как так? Ты меня предал?» Грусть с лица Эдика перешла к Леониду Сергеевичу, и тот, не найдя ничего лучше, спросил:

— Почему?

— Закон, — как само собой разумеющееся резюмировал Эдуард.

Между тем, пока они говорили, в зале одна за другой с шипением и треском загорались длинные лампы, демонстрируя ошметки того, что осталось после набега жадных до еды посетителей.

«А еще говорят, что денег у людей нет», — мелькнула у старика укоризненная мысль. Но важнее было понять, почему Эдик решил стать законопослушной, но, без сомнения, подлой гадиной. «Может, его за прошлый раз наказали?» — подумал старик и спросил:

— Тебя за последний раз наказали?

Эдуард, почесав тремя пальцами гладко бритую щеку, ответил:

— Нехорошо. Не положено, — и, виновато пожав плечами, добавил: — Закон.

Услышав ответ, Леонид Сергеевич подошел к полке, где была выставлена жидкость для ванн, и принялся набирать полные руки этих маленьких синих бутылочек.

До этого момента абсолютно спокойный, Эдуард дернулся как-то нелепо, его и без того большие глаза округлились, и он, запинаясь, возразил:

— Чего ты? Это продается для тех, у кого денег нет! Ты ведь от них и умереть можешь...

— Это еще почему? — искренне удивился старик. — У меня ванна вся грязная.

Тут нервы совсем подвели Эдуарда, потому что он, остановив руку Сергееича, заискивающе и с какой-то тупою надеждой спросил:

— Сейчас?

А потом добавил:

— У тебя на работе нет ванны.

— И ванны у меня нет, и друзей нет, оказывается.

Старик высвободился и добавил очередную бутылочку к тем пяти, что уже успел нагрести. Выходило примерно два литра.

— Эх, умеешь же ты уговаривать, — сдался в конце концов Эдуард. Быть причастным к гибели старика ему ни в коем случае не хотелось, он сдался — с условием, что в следующий раз старик успеет до закрытия магазина.

Сергееич согласился, обрадовавшись, все взятое ранее положил обратно на место, после чего вытащил из кармана припасенный пакет. Туда, на самое дно пакета, первым делом легла бутылка «Столичной», после к ней присоединились две банки тушенки, пачка рожек, соленые огурцы, тоже в банке, молочная колбаса, колбаса копченая, сосиски, булка черного хлеба и сало. Сало он взял с мясом. Чистого сала Леонид Сергеевич не любил, от чистого у него кружилась голова и тошнило.

Набрав полный пакет и оставив Эдику деньги, старик уже собирался, попрощавшись, уйти, как вдруг на глаза ему попался стеллаж, сверху донизу уставленный цветастыми шоколадками. Что-то екнуло у него в груди, и он шагнул к полкам.

— Жене? — спросил Эдуард, не знавший о старике ничего, кроме того, что касалось работы.

Старик не ответил, взяв в руки первую попавшуюся яркую плитку. Не разобравшись, что на ней было нарисовано, спросил:

— Вкусная?

— Они все тут вкусные, — по-хозяйски улыбнувшись, ответил Эдуард.

Старик огляделся и расстроено убедился, что выбор шоколада огромен.

— Какая нужна? — снова заговорил Эдуард. — Есть с фундуком, с изюмом, с грецким орехом, с миндалем, с повидлом, с кремом, молочный, горький, белый, воздушный... есть еще...

Эдуард подошел к стеллажу и снял одну с полки.

— Новинка сезона, с кокосом.

Леонид Сергеевич шоколадку взял, покрутил в разные стороны и вернул Эдуарду. На полке он заметил небольшую плитку, на которой красовалась знакомая девочка в зеленой косынке. Ее Леонид Сергеевич и выбрал.

Окончательно рассчитавшись и распрощавшись с Эдуардом, он вышел на улицу. Собаки дружно завили хвостами и бросились навстречу Леониду Сергеевичу, но не к нему самому, а к пакету, вокруг которого и запрыгали, словно парадные кони.

— Фу! Нельзя! Пошли вон! — растерялся старик, отгоняя их от себя сначала свободной рукой, а затем и ногой, зацепив за бок Василия и извинившись.

Шел с неба снег. Такой крупный, что каждая снежинка была почти с березовый лист. Сказочным был этот снег. Мягким, блестящим. Повсюду в электрическом свете сверкали мягкие белые шапки и одеяла, а дорога и вовсе выглядела усеянной дорогами камнями невесомой тканью. Если бы в платье из такой ткани одеть дочку, какая бы, должно быть, из нее вышла бы принцесса... Старик, любовавшийся снегом, покачал головой. Все в такую погоду выглядит чистым и прекрасным. Глядишь — и душа не нарадуется... Вот и собаки снежными бровями забавно моргают. И на спине у каждой из них по сверкающей мантии.

Старик снял толстую варежку, зачерпнул чистого снега и потер им лицо, почувствовав обжигающий холод. Затем снова надел варежку и мазнул снегом по мордам собакам. Им без снега нравилось больше, и, стряхнув с загривков нападавшее, они побежали вслед за хозяином.

Легкий ветер чуть обжигал влажное лицо старика. Ему захотелось идти не по расчищенной и не успевшей еще утонуть узкой тропинке, а сквозь белое море, утопая в снегу по колено, идти напрямик. Но он не стал этого делать, сдержался, однако шаг все же ускорил. У него в голове одна за другой стали появляться картинки. Вот бегуны, напрягая все жилы, срываются со стартовой линии... и пловцы с высоко поставленных над бассейном табуретов врезаются в прозрачную воду с отчаянными взмахами рук; вот взлетает вверх университетская раздвижная доска, снизу доверху исписанная знаками формул, студенты пишут, ручки горят, не находя себе места, ходит из угла в угол профессор; вот низкий бас ведет обратный отсчет... Оглушающий шум, взрывом вырывается пламя, и ракета устремляется к звездам. Как будто наблюдая за оставленным ракетой дымящим хвостом, старик поднял голову к небу, откуда на него смотрела луна и ее вечная свита — золотистые звезды.

Старик попытался представить то, о чем с такой страстью говорил сегодня утром Никита. Все эти станции, колонии, корабли... и даже



эту... как там ее... Старик несколько раз беспомощно щелкнул пальцами. Транс... Транс... чего-то там. В общем, неважно...

Мимо старика с чудовищным гулом, которым, вероятно, был разбужен не один человек, пронеслась по дороге машина, не оставляя, подобно урагану, после себя ничего, ни единого звука. Стало неожиданно тихо. А потом из этой мертвенной тишины заиграла в голове старика знакомая музыка и на освещенной огнями рампы сцене опять появилась артистка. Старик, только увидев ее, приветливо улыбнулся, как улыбаются родному созданию, и, расслабившись, начал угадывать, что будет там дальше, в будущем, лет через десять, а может быть, двадцать... и еще — как будет выглядеть то здание, которое он охраняет. Это должен был быть четырнадцатизэтажный, украшенный стеклом и железом гигант, одно из самых высоких зданий в округе. Наступит момент, когда уберут за ненадобностью колючий забор, на свалку отправят временное жилище, фургон, и упавшая на землю красная лента откроет перед новоселами гостеприимные двери. Дом оживет. Будут жить в нем мужчины и (почему-то непременно) красивые женщины. У них появятся дети. И дом наполнится детским смехом и радостью...

И вот, когда старику уже показалось, что он слышит переливчатый смех, прямо у него на пути, на дороге, отлепившись от ночной черноты, показался темный силуэт в капюшоне. Необъяснимый страх охватил старика, и он остановился как вкопанный. Под ложечкой у него засосало. Псы, заинтересовавшись, что же случилось, обогнали его, но тут же попятись: рядом с черной фигурой, слева и справа, гордо выпятив вперед широкие колесообразные груди, стояли два огромных ротвейлера, одетых так же, как и их высокий плечистый хозяин — в пуховики с капюшоном. Увидев их, Зелёный с Василием сделали по шагу назад, вплотную приблизившись к Леониду Сергеевичу, однако, как успел заметить старик, хвосты не поджали, в любую секунду готовые принять, судя по всему, последнюю драку.

— Только бы ничего не случилось. Только бы ничего не случилось! — кого-то заклиная, взмолился старик, уставившись в овальной формы черноту под капюшоном. Незнакомец не двигался. Его собаки, встав смиренно и высунув казавшиеся в темноте багровыми, словно кровь, языки, смотрели прямо на старика и замерших у его ног двух верных товарищей, но делали это с таким безразличием, как будто перед ними никого не было вовсе.

— Только бы не было драки...

Вдруг один из ротвейлеров рванул с места и, обнажив белые острые зубы, цапнул другого за морду. Тот не растерялся и, с неестественной быстротой отскочив в сторону, широко раскрыв бездонную пасть, рыкнул в ответ. Еще мгновение, и между двумя чудовищами случилась бы драка, если бы не хозяин, которой резким движением натянул поводки. Тут же раздался жалобный визг — и одного из ротвейлеров, зачинщика, откинуло в сторону. Человек в капюшоне, видимо, был очень силен. Следом дернулся другой поводок, раздался еще один визг.

— Идем! — глухим басом приказал ротвейлерам силач в капюшоне.



Злые, но вынужденные подчиниться, собаки, склонив тяжелые головы, пошли за хозяином. Когда они проходили мимо Леонида Сергеевича с компанией, у старика замерло сердце, но вскоре странная и страшная троица скрылась из виду. Вместе с ними прошел и сковавший старика страх. Леонид Сергеевич выдохнул. Зелёный с Василием обошли его два раза по кругу и сели аккурат возле пакета, откуда приятно пахло салом с сосисками. На этот раз старик не стал их гнать прочь, а просто переложил пакет из правой руки в левую и двинулся дальше. Снег по-прежнему шел, но уже, казалось, был не таким уж и крупным. И застывшее в сугробах горбатое море подрастеряло часть своей красоты. Но самое обидное было, что сцена бесследно пропала, а вместе с ней пропала и артистка.

И все-таки приятное чувство не покинуло старика до конца, и под влиянием природы он уже было начал снова мечтать, как вдруг почувствовал что-то неладное: Василий, старый колченогий пес, семенил впереди, а Зелёного не было. Старик обернулся. И там, у себя за спиной, он никого не увидел. В панике, чуть не уронив пакет, старик бросился обратной дорогой. Спотыкаясь, он бежал, и пакет, мерзко шурша на ветру, болтался в разные стороны. Василий, тоже смекнувший, что что-то случилось, быстро хромал вслед за хозяином.

Зелёного он обнаружил на перекрестке: в неглубоком сугробе под фонарем лежало что-то темное, издалека похоже на набитый чем-то мешок. При приближении человека с собакой мешок зашевелился.

— Что с тобой? — упал на колени старик. — Что с тобой случилось?

Василий, остановившись рядом, смотрел за тем, как старик теребит у себя на коленях голову пса.

— Ну давай, поднимайся... — бормотал старик. — Живи, я тебя умоляю!

Морщинистая, вся в вздувшихся венах рука, дрожа, тронула собачий нос. Нос был влажным... Ничего не было понятно: вот был живым пес, а сейчас он лежит за смертью, как будто его подстрелили.

Старик прижался щекой к морде Зелёного и, качаясь из стороны в сторону, как душевнобольной, повторял:

— Не умирай... Пожалуйста, не умирай!

Снег засыпал их обоих.

Прошло, наверное, минут двадцать, прежде чем Зелёный, царапая лапами воздух, попробовал перевернуться и встать. При этом пес сильно ударил старика по лицу и в живот. Но старик с мокрым не от снега лицом ничего не почувствовал и только просил:

— Давай... Давай, черт тебя подери! Вставай, дохлая тварь!

Зелёный попробовал снова. Не вышло, сил не хватало. Василий стоял неподалеку, как статуя, и смотрел, и если бы он не был собакой, то Леонид Сергеевич точно бы решил, что старый пес молится. Сам же старик, последовав примеру Василия, отошел в сторону и тоже начал молиться странной молитвой, состоящей из одного только слова — «давай».

— Дава-ай... дава-а-ай... — молился старик, но видел, что попытки Зелёного не увенчиваются успехом: пес раскачивался, взбрыкивал, точно на нем лежало что-то тяжелое, однако подняться не мог.

Старик подошел, присел на колено и, как игрушку, а не живое создание, поставил Зелёного на ноги. Подержал так немного. Лапы пса, словно по льду, разъезжались. Потом, не спеша, готовый в любую секунду опять подхватить, старик отпустил лохматое тельце. Зелёный сделал несколько слабых шагов, передняя лапа его подломилась, но, не желая сдаваться, он выпрямился и остановился, ожидая хозяина. Василий подтянулся к нему, обнюхал, желая узнать, тот это еще Зелёный или не тот. Признал. Тогда он сел рядом с пострадавшим и, продолжая обнюхивать его лапы, тоже стал дожидаться Леонида Сергеевича. Как вожак стаи, старик вышел вперед, несвойственным ему жестом провел пальцем по глазам, вытер их насухо и только после этого повел собак за собой дальше.

Три сгорбленных силуэта можно было увидеть той ночью идущими по снежной равнине. Все трое шли медленно, иногда останавливаясь, чтобы третий, ковыляющий неровно и отстающий, имел возможность нагнать. Силуэты эти, конечно, принадлежали старику и его собачьей компании. Несмотря на чуть было не случившуюся трагедию, душа старика ликovala и радовалась. Хоть поначалу Зелёный нешуточно напугал старика, но зато теперь он точно знал, чем займется, когда вернется в фургон. Первым делом он накормит псов до отвала, не пожалев для этого ни колбасы, ни сосисок. Сделав это, с чистой совестью опустится на выдавший виды диван, нальет себе рюмочку водки, выпьет, закусив куском ароматного сала на хлебе, нальет еще одну, выпьет, снова закусит — и вот тогда, пьяный, но счастливый, уляжется спать. И тут, если ему повезет, во сне к нему явится родная Галя. Она скажет ему мягким голосом:

— Пора. Следуй за мной.

А он мотнет головой и ответит:

— Нет, я хочу еще посмотреть.

И, повернувшись на другой бок, по-детски свернувшись калачиком, продолжит лежать. А Галя, никогда не любившая спорить, сядет подле его головы и будет так ждать, пока старик не проснется.

А завтра... А завтра будет Никитина смена.



Дмитрий РЯБОВ

## АПРЕЛЬСКИЙ РОМАНС

Пьеса

*...Война сложна, темна и густа, как непроходимый лес. Она не похожа на ее описания, она и проще и сложнее. Ее чувствуют, но не всегда понимают ее участники. Ее понимают, но не чувствуют ее позднейшие исследователи.*

Илья Эренбург

### Действующие лица:

Хромов Алексей Степанович, главный хирург госпиталя, майор, 38 лет.

Ривкина Рая, снайпер, младший сержант, 23 года.

Клюева Лида, санинструктор, сержант, 24 года.

Виноградова Тоня, прожектористка, рядовая, 19 лет.

Шрайнер Ольга, переводчица, лейтенант, 25 лет.

Ложкин, инструктор ЛФК, 19 лет.

### 1.

Сибирь, тыловой эвакогоспиталь, кабинет Хромова. На столе телефон, за столом — Хромов в медицинском халате поверх кителя, на стуле — Клюева в госпитальном халате.

Хромов. Вы что, Клюева, самая грамотная на весь госпиталь? Устроили тут политинформацию! И без вас читали, что 3-й Белорусский взял сегодня Кенигсберг.

Клюева. А 3-й Украинский в центре Вены бои ведет... Уже театр там заняли!

Хромов. И отлично! Идите отдыхайте. Скоро ужин.

Клюева. Товарищ майор, когда следующая комиссия, чтоб на фронт?

Хромов. Вы у нас, кажется, ротный санинструктор?

Клюева. Так точно. Сержант медслужбы.

Хромов. Вот! Должны специфику понимать, коллега. Диагноз свой знаете?



К л ю е в а. Я пятый месяц по госпиталям... Хватит!

Х р о м о в. Нет, не хватит! Множественное проникающее осколочное грудной клетки. Открытый пневмоторакс! И огнестрельный перелом нижней конечности! Остеомиелит еле обуздали... Какая вам, к чертям, комиссия?

К л ю е в а. Мне Гитлера добить надо!

Х р о м о в. Без вас добьют. Идите, идите.

К л ю е в а. Райку-то Ривкину вчера на комиссии выписали...

Х р о м о в. Коллега, как вы знаете, каждое ранение — индивидуально. У Ривкиной характер повреждений другой и лечилась она дольше.

К л ю е в а. У нее тоже осколочное в грудную. И в брюшную полость еще! А ее выписали!

Х р о м о в. С ограниченной годностью. В запасной полк. А вам, как главный хирург, я без комиссии скажу: еще месяц-другой провалаетесь.

К л ю е в а. Война ж без меня кончится!

Х р о м о в. А для вас она уже... У вас в перспективе полная негодность к строевой.

К л ю е в а. Что ж мне — сторожем в колхоз?

Х р о м о в. Могу оставить у нас. Люди нужны, коллега, работы хватит.

К л ю е в а. Там ребята гибнут, а я буду в тылу жировать? Фигушки, товарищ майор!

Х р о м о в. Сержант Ключева, встать! В палату шагом марш!

Ключева выполняет команды и идет к выходу, сильно прихрамывая.

Х р о м о в. Ключева! Почему костылями не пользуетесь?

К л ю е в а. Они под мужика деланы, большие все. А меня на них кособочит. Некрасиво...

Х р о м о в. Не-кра-сиво?

К л ю е в а. Ага. Прямо перекашивает всю.

Х р о м о в. (бешено). Ногу! Ногу беречь надо, Ключева! Идите с глаз... И скажите Ривкиной: курить не бросит — губы оборву.

К л ю е в а. Она ж нечасто, товарищ майор...

Х р о м о в. А ей вообще нельзя после контузии легкого! Так и скажите: будет курить, смену диагноз и комиссию вчистую. Свободны!

Ключева выходит.

Х р о м о в. (фыркает). Некрасиво...

Звонит телефон, Хромов снимает трубку.

Х р о м о в. Хромов. Добрый. Какие генеральские замашки? Он что, в обком жалуется? У него посевная скоро, а мне санпоезд ночью принимать! Тяжелораненых. Тяжело, понимаете? Я бензин прошу не к теще ехать! Ни на что не намекаю, товарищ второй секретарь... Да. И вам не хворать. (Кладет трубку, кричит в сторону двери.) Есть там кто еще? Входите!

Входит Л о ж к и н, кладет на стол листок бумаги.

Хромов бегом читает его и рвет.

Л о ж к и н. А я пятое напишу. И шестое. И двадцать шестое! Мне девятнадцать скоро, а я в тылу сижу! А наши Кенигсберг уже взяли!

Х р о м о в. Скоро и Вену возьмут. Еще ко мне вопросы есть?

Л о ж к и н. От людей же стыдоба... Сосед Витька младше меня, а неделю, как с фронта. Рука в локте вообще не гнется и медаль у него.

Х р о м о в. Почему рука у Витьки не гнется, знаете?

Л о ж к и н (солидно). Да ерунда, зимой под Краковом гранатой хлестануло...

Х р о м о в. Верно, граната — ерунда: извлек осколки, шьешь и в гипс. А вот послеоперационный период — не ерунда! Рука — сложный механизм, восстановить трудно... Но можно.

Л о ж к и н. Что ж Витьке не восстановили?

Х р о м о в. Инструктор ЛФК вроде вас был. На фронт, поди, удрал, а раненые — черт с ними! Пусть руки-ноги не гнутся, спины кривые... А он воюет! Герой. Кверху дырой.

Л о ж к и н. Он за Родину воюет!

Х р о м о в. Вас, Ложкин, сюда что, не Родина прислала? Доверили важную работу — инструктор по лечебной физкультуре. Даже на спецкурсы отправили. При мединституте!

Л о ж к и н. Да что эти курсы? Я ж не врач, я не учился...

Х р о м о в. Чтобы людей лечить, не всегда надо учиться. Иногда достаточно их любить.

Л о ж к и н. На курсах так не говорили.

Х р о м о в. Говорили, Ложкин. Вы не услышали.

Л о ж к и н. Может, другого взять, если я не слышал?

Х р о м о в. Сколько в городе сейчас госпиталей?

Л о ж к и н. Мы да инфекционный, остальные к фронту пошли. Да вы ж сами знаете...

Х р о м о в. Я-то знаю... А начальник госпиталя наш где? Два терапевта, пять санитаров? Начхоз? (Разводит руками.) Кадровый некомплект! Где я вместо вас кого возьму?

Л о ж к и н. Меня всерьез не видят, плюют на физкультуру! Женская палата дразнится...

Х р о м о в. Пожестче, Ложкин, вам полномочия даны. Я вот теперь все один — и дрова ищу, и руки ампутую. Суровая жизнь, а не ною.

Л о ж к и н. Ну, вы же главный хирург, поэтому и так.

Х р о м о в. А вы инструктор по ЛФК, и хватит дурить! У вас все должны ходить нормально и чтоб руки у них гнулись! Боевая задача ясна?

Л о ж к и н. Боевая, ну... Сидим в тылу...

Х р о м о в. И в тылу есть боевые задачи. Соседа Витьку вспомните.

Л о ж к и н. Витька-то при чем?

Х р о м о в. Знаете, Ложкин, что я ненавижу больше всего?

Л о ж к и н. Понятное дело! Что и все — фашизм.

Х р о м о в. Это в стратегическом плане. А в тактическом?

Л о ж к и н. Когда в палатах грязно?

Х р о м о в. Когда отсутствуют логические связи в проявлениях высшей нервно-психической деятельности индивидуума.

Л о ж к и н. Это у кого у нас такое?

Х р о м о в. Да есть у некоторых... И хватит болтать! (*Достает из стола лист бумаги.*) Вот из санотдела к исполнению. И марш за мной в ординаторскую, там еще кое-что нужно.

Ложкин и Хромов выходят.

## 2.

Женская палата. Три железные койки с тумбочками. В палате Р и в к и н а и В и н о г р а д о в а, у которой забинтована правая рука и голова.

В и н о г р а д о в а. Как думаешь, он не врет? Говорит, что станут пальцы разгибаться. Он хороший врач?

Р и в к и н а (*пожимает плечами*). Я вот — жива, и Лидка тоже. Ее привезли-то всю в гипсе, дышала через раз, аж синяя... А сейчас вон прыгает.

В и н о г р а д о в а. Говорит, долго лечить еще... С января валяюсь: Уфа, Челябинск, у вас уж две недели, и ничего! Сколько это — долго-то, Рая?

Р и в к и н а. Спи побольше. Во сне заживает быстрее. И время незаметно идет.

В и н о г р а д о в а. Говорит, мышцы сожгло. Вдруг пальцы так и будут? Не могу я спать...

Р и в к и н а. Я тоже сперва, как ранили, не могла. Кошмары были.

В и н о г р а д о в а. Бомбежки?

Р и в к и н а. Будто мы на речке: жарко, песок белый-белый... Отец у берега Томку плавать учит, та хохочет, а мама черешню ест. Кулек из газеты, на нем красные пятна, у мамы пальцы тоже красные... Я гляжу на тот берег и чую — сейчас они попрут! А у меня винтовки нет! Берег пустой, мы как на ладони, я в купальнике... И, зараза, без винтовки!

В и н о г р а д о в а. А потом что?

Р и в к и н а. Ничего. Заору — и просыпаюсь.

В и н о г р а д о в а. А где сейчас твой?

Р и в к и н а. Скидельский район, деревня Синий Камень. Под Гродно. Где ж им быть-то...

В и н о г р а д о в а. Синий Камень... Красиво у вас там, наверное?

Р и в к и н а. Там тихо. И меня все ждут.

В и н о г р а д о в а. Хорошо, когда ждут... Я с одним человеком в переписке состою, так, если он долго молчит, я прямо аж вся...

Р и в к и н а. У тебя бумага, чтоб писать, она тонкая?

В и н о г р а д о в а. Тетрадь обычная.

Р и в к и н а. В клеточку?

В и н о г р а д о в а. Какая разница?

Р и в к и н а. Никакой. Дай половину? С табачком еще туда-сюда, а с бумагой...

В и н о г р а д о в а. Да ты что? Ты что? А на чем я писать ему буду? Нет...



Р и в к и н а (*раздраженно*). Как пишешь-то с такой рукой?  
 В и н о г р а д о в а. С какой — такой? Нормально пишу. Часто. И он мне! А тебе часто пишут? Твои ж на нашей территории!

Р и в к и н а. Вообще не пишут. Просто ждут. На нашей территории.

Ривкина достает кисет с табаком, скручивает сигарку. Входит К л ю е в а.

К л ю е в а. Костылями, сказал, надо пользоваться. Месяца два еще.

Р и в к и н а. С бумагой беда... На всех одна газета, до дыр читают, сигарку не свернешь.

К л ю е в а. Он сказал, губы оторвет, если увидит, что куришь.

Р и в к и н а. Любят мужики указывать! А если погоны со звездами, так вообще! Я под Ломжей с нейтралки приползла, спирту с разведкой жажнула, вышла в окоп на свежий воздух, а там лейтенантик один: «Зачем вы, говорит, курите?» Я сутки в засаде, пять фрицев кокнула, а он мне: «У вас, говорит, пальцы от табака станут желтые...»

В и н о г р а д о в а. Красивый?

Р и в к и н а. Необстрелянный.

К л ю е в а. На свидание, поди, завлекал?

Р и в к и н а. А то! Я, говорит, не могу вам приказать, товарищ прелестная младший сержант, в любви нет субординации...

В и н о г р а д о в а. Пошла?

Р и в к и н а. Я ж говорю — я с передка только, спать хочу, винтовка не чищена. А он стоит, скрипит ремнями новыми... Умора!

Ривкина, скрутив сигарку, выходит.

В и н о г р а д о в а. И правильно! Неизвестно кто, и сразу свидание ему! А может, у девушки с ним общих интересов нет?

К л ю е в а. Там на всех один интерес — в живых остаться.

В и н о г р а д о в а. Мещанство какое! А победить?

К л ю е в а. Это само собой... Только как ты победишь, если мертвая?

В и н о г р а д о в а. Как думаешь, не врет Хромов, что пальцы разогнутся?

К л ю е в а. Чего ему врать-то? Аж целый майор медслужбы!

В и н о г р а д о в а. В санбате тоже был майор медицинский. Нас из-под бомбежки привезли, он всем: ничего, милая, терпи, милая, рана легкая... А потом Лена Голикова, Маша Терехина, Сивакова с третьего взвода, Ледницкая — все умерли.

К л ю е в а. Где вас так накрыло?

В и н о г р а д о в а. На разгрузке.

К л ю е в а. Зениток, что ли, не было на станции?

В и н о г р а д о в а (*пожимает плечами*). Там цистерны какие-то, бензином прет... Мы ж только с формировки, пока добро свое тягали, тут — они от солнца! Первый взрыв слышала, а потом как сквозь вату.

К л ю е в а. При бомбежке надо рот открывать.

В и н о г р а д о в а (*озадаченно*). Зачем?



К л ю е в а. Давление взрывной волны сравнять. Не контузит и не глохнешь.

В и н о г р а д о в а. И всю бомбежку с открытым ртом?

К л ю е в а. Конечно. Вот так. *(Показывает, как открыть рот.)*

В и н о г р а д о в а. Представляю, как бы все бегали с открытым ртом! И комиссар товарищ Ляхов! И комполка! *(Смеется.)*

Входит Ривкина.

В и н о г р а д о в а. Фууу... Ты бы, заедала, что ли... Табачищем не-сет, жуть!

К л ю е в а. А мне нравится... Ну-ка, Райка, подыши еще! Ух ты! Как в землянке...

В и н о г р а д о в а. Тот лейтенант, конечно, развязный тип, Рая, но он верно говорил: зачем ты куришь?

Р и в к и н а. Ах, лейтенант, лейтенант! Я вечером гимнастерочку новую надела, пошла его случайно встретить, а его днем еще — прямым попаданием... В ровике их трое сидело, так и сгребли на брезент, что нашли. А он красивый был...

К л ю е в а. Красивые чаще гибнут. И раненый, если красивый — обязательно умрет.

Р и в к и н а. Ты просто запоминаешь его за красоту. Красивого жальче просто.

В и н о г р а д о в а. Красота вообще не важна! Главное, чтоб душа у него и умный был.

К л ю е в а. Это конечно. Но если мужик еще и красивый — разве плохо?

Р и в к и н а. Красивого любить приятней. Аж сердце обмирает!

Входит Л о ж к и н с инвалидной тростью в руках.

Л о ж к и н. Попрошу внимания, товарищи...

Р и в к и н а. Ложкин! А если б мы были голые?

Л о ж к и н. Как это?

К л ю е в а. Совсем! Переодевались бы или что...

Л о ж к и н. У меня официальное сообщение.

В и н о г р а д о в а. Стучаться надо, Ложкин, сколько раз говорить!

Л о ж к и н. Да вы ж не... *(Идет к выходу.)* Одетые ж вы.

К л ю е в а. Ложкин! Куда?

Л о ж к и н. Стучаться.

В и н о г р а д о в а. Ох... Говори уже!

Р и в к и н а. Раз мы все равно не голые.

Л о ж к и н. Товарищи раненые женщины!

В и н о г р а д о в а. Девушки.

К л ю е в а. Э-э... *(Переглядывается с Ривкиной.)* Ну, ладно, пусть так.

Л о ж к и н. Согласно новой инструкции Наркомздрава раненым полезен свежий воздух, значит, ЛФК теперь будет на дворе. И воздушно-солнечные ванны заодно...

К л ю е в а. Там же снег еще!

Л о ж к и н. Апрельский снег у нас недолгий.

В и н о г р а д о в а. А ночью метель была!

Л о ж к и н. Сибирь тут у нас... Но для закалки полезно! Согласно циркуляра санотдела СибВО. А мерзлявым ватные штаны из подменки дам.

Ложкин достает из кармана письмо-треугольник, отдает Виноградовой.

Л о ж к и н. Вам от почтальона. (*Виноградова отходит, торопливо читает письмо.*) А вам от товарища майора. (*Отдает Ключевой трость.*) Чтоб не кособочило, он сказал.

Р и в к и н а. А мне ничего ни от кого?

Л о ж к и н. А вам он сказал, что, если будете курить, губы оборвет.

Р и в к и н а. Да что вы ко мне все прицепились?

Л о ж к и н. Курить потому что вредно.

Р и в к и н а. А воевать не вредно?

Виноградова сует в карман халата письмо, быстро выходит из палаты.

К л ю е в а. Откуда им знать-то? Сидят в тылу, физкультурой занимаются.

Л о ж к и н. Я на фронт все время прошусь добровольцем!

К л ю е в а. Ряшку-то наел, доброволец...

Р и в к и н а (*в тон*). Фронтовиков на мороз гоняет!

Л о ж к и н. Так согласно инструкции же...

К л ю е в а. Дурацкие ваши инструкции с Хромовым! Хотя спасибо ему за тросточку.

Л о ж к и н. Вы бы лучше упражнения делали для ноги, чтоб без тросточки ходить.

К л ю е в а. Я сама военный медик, а буду приседать, как пионерка? Навыдумывали тут, в тепле... «Ноги на ширине плеч, руки на пояс!» А толку? ЛФК, физио... Эта еще, как ее?

Р и в к и н а (*схидно*). Парафинотерапия.

К л ю е в а. Будь она неладна! Мне на фронт надо, там быстро долечусь...

Входит Виноградова. Она еле сдерживает слезы.

В и н о г р а д о в а. Почему не сказал, что товарищ майор на операции? А, Ложкин? Бегаю, ищу его... Рая, тебе форму выдали на выписку? У тебя какой размер ноги?

Р и в к и н а. Тридцать восемь. А сапоги-то все равно сорок второго, меньше нету.

В и н о г р а д о в а. Большеваты... А я — две портянки! Давай!

Р и в к и н а. Чего давай?

В и н о г р а д о в а. Форму! Мне твоя сойдет, мы одних размеров, а в сапоги две портянки наверну, чтоб не хлябали!

Л о ж к и н. Не положено в палате обмундирование. У вас госпитальное есть.



Виноградова. Я на выписку! Товарищ майор с операции выйдет и выпишет!

Ключева. Это почему это вдруг?

Виноградова. Мне на фронт срочно надо!

Ключева. Всем на фронт надо. И всем срочно...

Виноградова. Я приду уже одетая, чтоб сразу на вокзал... Хочешь, сходим к нему двое? Попросим, скажем, нам надо... Потребуем!

Ключева. Да плевать ему... Он никого не отпускает. И тебя не отпустит.

Ложкин. Потому, что у вас вон рука...

Виноградова. Что — рука? Рука как рука! *(Всхлипывает.)*

Ривкина. Тонь, ты что? Болит?

Виноградова. Нет! Не болит! Форму дай. Ты послезавтра едешь, а мне сейчас надо.

Ривкина. Никто никуда тебя не выпишет. Сама знаешь.

Виноградова. Тебе жалко? И катись в свой запасной полк! Жри тушенку, пока все в окопах!

Ривкина. Про окопы-то рот закрой! Я их побольше твоего знаю.

Виноградова. Нас тоже, говорили, под Будапешт везут! Что я, виновата, что разбомбили?

Ривкина. В запасном я ненадолго, с первой же маршевой ротой уйду. Снайпера всегда нужны.

Ложкин. У вас же ограниченная годность...

Ключева. Чихать на это! Потеряет вашу справку, и все! А на передовой никто не спросит. Ах, Райка, молодец! Я б рванула тоже так вот!

Виноградова. Ложкин, ты же местный... Тут эшелоны к фронту ходят?

Ложкин. Может, ходят, может, нет... Вам для чего?

Ключева. Какая бдительная тыловая крыса...

Ложкин. Что вы все: крыса, крыса... Я все равно на фронт уйду! Или сбегу!

Виноградова. А побежали вместе?

Ложкин. Куда вместе? *(Ошеломленно.)* На фронт?

Виноградова *(вкрадчиво)*. Форму принесешь нам из подменки... Наши документы в канцелярии возьмешь...

Ключева *(в тон)*. Скажешь, в медкарту уточнения внести... И укатим тихо, чтоб никто... Неси обмундировку!

Ложкин. Ага, сейчас прямо! Дезертиром объявят. Вас тут лечат, а я на службе.

Виноградова. Ты ж на фронт, а не в тайгу! На фронт!

Ложкин. И вам нельзя без разрешения.

Виноградова. Чьего?

Ложкин. Товарища Хромова! Вы еще не выздоровели.

Ключева. Как медик, скажу: на передовой все заживает быстрее. Нервы на пределе, болеть некогда. Знаешь, как жили? По три дня не спали, нашатыря нюхнешь — и дальше!



Р и в к и н а. Мы прошлым летом так шли. Хорошо шли! Ударно! Долги с лихвой получали, с мясом, с кровушкой. Воняло по всей Белоруссии, убирать не успевали.

Л о ж к и н. Чего убирать?

Р и в к и н а. Фрицев дохлых.

К л ю е в а. Видал ты, Ложкин, фрицев?

Л о ж к и н. Каких? Таких вот... Мертвых?

К л ю е в а. Дохлые-то смирные. А когда фланг прорвали и медсанбат — гранатами, таких видал? Как они прикладами добивают? А тебе — ствол в ноздрю, и глядит глазами рыбьими, изучает... Вот пока такие любопытные еще есть, мне, чтоб на фронт, ничьего разрешения не надо, понял ты, физкультурник?

Пауза.

Л о ж к и н. Я сапоги вам нынче принесу, а утром форму. В ночь санпоезд придет, разгрузится, а завтра обратно. Могу к вокзалу вывести.

Р и в к и н а. Эти не возьмут. Надо, чтоб без врачей. Или воинский, или с техникой.

Л о ж к и н. И шинели принесу. Холодно ехать-то...

Ложкин выходит.

Р и в к и н а. На пищеблок с утра хлеб завозят. Если на разгрузке мужикам поулыбаться, можно буханки три прибрать, чтоб не совсем голодом. По пути еще достанем.

К л ю е в а. Ты с нами, что ли? (Обнимает ее.) Райка!

Р и в к и н а. А чего мне через Омский запасной кругалы давать?

В и н о г р а д о в а. Я хлеб не буду воровать.

Р и в к и н а. И никто не будет. Это наш паек законный, просто вперед его получим.

В и н о г р а д о в а. Надо Ложкину сказать, чтоб ночью все принес... Ис утра уже рвануть! А хлеб не надо, по пути найдем, ты ж сказала...

К л ю е в а. Как найдется еще... Думаешь, он у рельсов на столбах растет? Там народу самим жрать нечего.

Р и в к и н а. Я через два дня по предписанию убываю, вот и выведу вас тихо. А пока форму приготовим, продукты соберем.

В и н о г р а д о в а. Два дня? А вдруг война кончится?

Р и в к и н а. Хватит тебе, не бойся. Молодая еще, все успеешь — и войну, и свадьбу.

Виноградова бросается на койку, плачет в голос.

В и н о г р а д о в а. Ой, хоть бы... хоть бы победа еще не скоро!

Р и в к и н а. Сдурела, что ли?

К л ю е в а. Да контуженая она... Бывает.

В и н о г р а д о в а. Ой, хоть бы война еще подольше!

К л ю е в а. Антонина! Ну-ка, брось!

В и н о г р а д о в а. Мне успеть надо! Успеть погибнуть! Насмерть!

Ривкина. Точно дура контуженая...

Виноградова. Ага! Контуженая! И лысая! Спина сгорела, рука кривая! Дура, дура я! Уродина! *(Выхватывает из кармана халата письмо, швыряет его.)* Дождалась весточки!

Клюева переглядывается с Ривкиной, поднимает письмо.

Клюева *(бегло читает вслух)*. Дорогая Тоня! Кирюша сказал, что вы серьезно ранены... Он просил написать, что сильно занят учебой... Пятый курс консерватории... Очень устает... Я, как любая мать... Единственный сын... У него опять нашли плоскостопие и близорукость... Уважаю вас... *(Дочитывает, передает письмо Ривкиной.)*

Ривкина *(читает вслух)*. Уважаю вас, как защитницу Родины... Не нужно больше переписываться с Кирюшей. Приезжайте к нам в Москву в гости после войны...

Ривкина и Клюева подсаживаются к Виноградовой, которая резко отодвигается от них.

Виноградова. Жалость унижает человека, ясно вам?

Клюева. И не думали даже!

Ривкина. Это его жалеть надо. Очкарик плоскостопый.

Виноградова. Перестань сейчас же! Он умный!

Ривкина. Много их, умных, по тылам... А этот вовсе ущербный: нормальные на фронте, а он учится.

Клюева *(кривляется)*. Пятый курс, консерватория... От чего устал-то? Трынди-брынди, балалайка?

Виноградова. Не балалайка! Музыковед...

Клюева. Кто-кто?

Виноградова. Изучает музыку.

Клюева. Чего ее изучать-то? Ее слушать надо или петь. Она что, география — изучать?

Виноградова. Вы завидуете просто! Завидуете! Потому его мне и ругаете...

Ривкина. Обзавидовались, конечно. До смерти аж.

Виноградова. Что вы меня любви учите? Я сама большая!

Ривкина. Ты хоть целовалась, большая?

Виноградова. Конечно! Сто раз! С мамой, с подругой...

Клюева. Большая, да.

Виноградова. Сами-то! Вам и не пишет даже никто! Чувства только в кино и видели!

Клюева. Да уж прямо! У меня тоже был друг сердца. И сердца, и души...

Ривкина. И всего остального организма.

Клюева. А что, нельзя? Там убивают каждый час, что, нельзя один разочек счастья?

Ривкина. Почему нельзя? Я тебе не комиссар. Только что вспоминать, чего уж нету?



Виноградова. Ты, Рая, зачем так? Если у тебя отношений не было, так что?

Ривкина. Было, не было... На ужин пойдете?

Ключева. Надоела уже эта каша. Каша, каша, каша...

Ривкина. Ладно, тоскуйте про любовь... Глаза, губы... Может, еще что вспомните.

Ривкина выходит.

Виноградова. А как вы с ним познакомились?

Ключева. Тихой летней ночью. Луна, роса... Березки нежно шелестят...

Виноградова. Он там тебе стихи читал?

Ключева. Он матерился на весь лес.

Виноградова. Какая гадость!

Ключева. Заматерись, если осколками задницу распорет.

Виноградова. Драпал, что ли?

Ключева. Антонина, там война. Там в спину или куда еще не редкость, и по своим, бывает, бьют. А он «языка» прикрыл от минометов. Разведчик.

Виноградова. Ух ты!

Ключева. Да. Комвзвода. Они гауптмана взяли, а на нейтралке — обстрел. Навалился, чтоб сберечь, а сам получил в мягкое. Там артерий много крупных: кровяца, как с барана — и кроет матом в три наката!

Виноградова. А потом?

Ключева. Перевязала, да в санбат.

Виноградова. Нет-нет, потом, когда вы... Как было?

Ключева. Я войну замечать перестала. Ни стрельбы, ни грязи — как нет ничего! Только губы его и глаза. Три месяца...

Виноградова. Погиб он, да?

Ключева. В разведотдел армии забрали. Сказали, перспективный...

Виноградова. А ты?

Ключева. У меня сапоги грязные, руки йодом провоняли... А там телефонистки, у них духи трофейные, вот и нашел себе какую-то. Поухоженной.

Виноградова. Ты ее видела?

Ключева. Некогда мне шалав штабных разглядывать. Сапожки начистят, юбочку ушьют и ходят, чай разносят! А я зимой вшей из белья выжаривала, конечно, куда уж нам...

Виноградова. Ничего! Фронт покажет, кто какой! Мы еще... А они пускай с кем попало!

Ключева. Ты-то своего умного где нашла?

Виноградова. Через дом они с мамой жили. Эвакуированные из Москвы. Да обойдемся! Правда?

Ключева. Правда, правда. Спать давай.

Виноградова. Лида... А как это — когда тебя целуют?

К л ю е в а. Когда как. И еще смотря кто... Иногда и стошнит.  
 В и н о г р а д о в а. Лида, а что там было, в санбате? Когда немец тебе стволом в лицо?

К л ю е в а. Тебе сколько лет?

В и н о г р а д о в а. Девятнадцать! Скоро. Летом...

К л ю е в а. Вот летом и расскажу. Спи.

Клюева ложится на свою койку. Виноградова ворочается, засыпает.  
 Входит Ривкина.

Р и в к и н а. Договорилась с пищеблоком...

К л ю е в а. Тссс!

Р и в к и н а. ...про сгущенку. Мол, день рожденья! Обещали банку дать. В пути сгодится.

К л ю е в а. Жалко Тоньку. Как ей жить-то? Обгорелая, волос нет... Кто полюбит такую?

Р и в к и н а. Сейчас всех жалко. Всех нас.

К л ю е в а. У меня хоть чувства были настоящие! А у вас одна сплошная война...

Р и в к и н а. Я вообще-то замужем была.

К л ю е в а. Замужем? Ты не говорила.

Р и в к и н а. А ты не спрашивала.

К л ю е в а. Я-то тебе все рассказывала!

Р и в к и н а. А про фрица и ствол в нос?

Пауза.

К л ю е в а. Гимнастерку растянула, улыбаюсь, грудь вперед — гляжу, глазки замаслились... Обняла его — и в глотку! У меня был скальпель старый, ногти стричь... Всю залило поганой юшкой. Автомат взяла, пошла своих спасать. Убить должно было... А третий взвод выручил, успел! Повоевала минут пять, а потом неделю золой оттиралась.

Р и в к и н а. Ты ж медик. Что тебе его кровь?

К л ю е в а. Другая она была. Скользкая.

Р и в к и н а. А мы первой партизанской свадьбой были. Комиссар говорит: если жить семьей — землянку ройте. Вырыли маленькую. Занавеска ситцевая, чугунок... Мой Сёма любил домой приходить. А как его в засаде убило, я в общую ушла. Не смогла одна дома.

К л ю е в а. С его фамилией живешь?

Р и в к и н а. Сперва свою оставила, потом его взяла. Своих и так не забуду, а он детдомовский. Кто без меня вспомнит?

К л ю е в а. Спирту бы сейчас!

Р и в к и н а. Или шоколадку...

Девушки засыпают. За окном ветер гремит ржавой водосточной трубой. Тянется беспокойная, ноющая, недобрая госпитальная ночь. Раздается резкий стук в дверь.

К л ю е в а. Вон они! Бей короткими! Бей!

В и н о г р а д о в а. Лида? Лида!



Р и в к и н а. Мать твою... Какого черта? Кто?

Входит Ложкин с двумя туго набитыми вещмешками.

Р и в к и н а. Сдурел?

Л о ж к и н. Вы ж просили стучаться! Пока в каптерке суета, принес вот вам... Прячьте!

К л ю е в а. Сколько времени?

Л о ж к и н. Пять утра. Эшелон большой, лежачих много, ох много... Долго возить, машина-то одна. Прячьте, прячьте, а я туда!

Ложкин выходит, Ривкина и Ключева рассовывают вещмешки под койки, ложатся.

К л ю е в а. Давно уже тот бой не снился... К чему бы?

Р и в к и н а. Не к чему, а от чего.

В и н о г р а д о в а. От чего?

Р и в к и н а. От нервов! Их беречь надо, а то кое-кто рыдал, что война кончится — а тут все везут, и везут, и везут...

### 3.

Кабинет Хромова. Х р о м о в изучает медкарты.

Входит Л о ж к и н с листом бумаги.

Х р о м о в. Опять?

Л о ж к и н. Даже наш начхоз на фронте! Что я, хуже? Он старый, я молодой.

Х р о м о в. Фронт не там, где стрельба, а где Родина скажет. Язык уже стер, Ложкин!

Звонит телефон, Хромов снимает трубку.

Х р о м о в. Хромов. Добрый. Я пистолетом не махал. Я сказал, что таких на фронте стреляют. Нам бензина дали на три ходки, а на перроне сорок семь лежачих! Сорок семь, товарищ второй секретарь! Морозить их, что ли? А этот брат в салон не хочет! При чем здесь пистолет? Ну, был пистолет. Просто в руке был. Да хоть в Государственный Комитет Оборона, ваше право! И вам не кашлять... *(Кладет трубку.)* Ложкин, вы видели, как я утром на вокзале перед трамваем махал пистолетом?

Л о ж к и н. Вы не махали.

Х р о м о в. А в обком уже кто-то накапал! Где у меня был пистолет?

Л о ж к и н. В руке.

Х р о м о в. Вот!

Л о ж к и н. Вы его трамвайщику в бок тыкали.

Х р о м о в. В бок, в бок... Не махал же! Что я, не понимаю? Тыловой город.

Ложкин протягивает Хромову лист бумаги, Хромов, не глядя, хочет порвать его.



Л о ж к и н. Нет! Это в обком! На вас жалоба. Принес, чтоб знали: все по правде, не донос.

Х р о м о в. Ну-ка, присядьте, Ложкин... Вы ее знаете, правду-то?

Л о ж к и н. Вот и прочитайте, чтоб все честно.

Х р о м о в. Я и так скажу, что там: героическая Красная Армия напрягает последние силы и никак не добьет немца, потому что майор Хромов не пускает туда меня, сопляка. Так?

Л о ж к и н. Чего это — сопляка сразу?

Х р о м о в. Вы, Ложкин, в первом бою сколько немцев убить сможете?

Л о ж к и н. Да на сколько патронов хватит! И гранатами еще! Вдогонку!

Х р о м о в. Ни одного не убьете. А вас убьют. Немец грамотно воюет, не в кинокомедии.

Л о ж к и н. Меня, поди, тоже обучат. И стрелять, и штыком...

Х р о м о в. На войне главное не штык, а ненависть. Чтоб пальцами в глаза, чтоб зубами в глотку! От такой даже пули рикошетят... Есть такая?

Л о ж к и н. Есть!

Х р о м о в. Нету. Неоткуда. Да и незачем уже вам...

Л о ж к и н. Почему это?

Х р о м о в. Вон ее полные палаты, у каждого своя, все опять в окопы рвутся. И в окопах ее навалом... Пусть уж они войну кончают. А вам другие дела найдутся.

Л о ж к и н. Сейчас главное дело — все для фронта, все для победы!

Х р о м о в. Победить — полдела, надо эту победу сберечь.

Л о ж к и н. Мы ж фашистов разобьем! От кого беречь-то?

Х р о м о в. От самих себя. После войны еще страшней, чем на войне.

Л о ж к и н. Уж вы скажете, товарищ майор... Победа! Мир! Живи да живи!

Х р о м о в. А как жить? Сейчас для всех одно важно — победа, а потом каждый свое вспомнит. У того — семья, у того — убили, у кого руки-ноги, а кто полный ампутант... Им до смерти война будет сниться. А человеку должно сниться счастье.

Л о ж к и н. Как это?

Х р о м о в. Уж кому как... Главное, просыпался чтоб с улыбкой. Вот и надо сберечь от войны, кого можно, чтоб по-глупому не гибли.

Л о ж к и н. Я, может, погибну геройски ...

Х р о м о в. Это мы мастера! Геройски погибну, и отстаньте! А для чего?

Л о ж к и н. Чтоб страна жила!

Х р о м о в. Чтоб страна жила, надо дома строить и хлеб растить. И люди нужны без ненависти! Такие, как вы, кого не отравила еще война эта поганая...

Л о ж к и н. Это справедливая война! Священная! Они же на нас напали!



Хромов. Верно. Но я не обязан любить войну, даже если она справедливая. Можете, кстати, в своей жалобе добавить: доктор Хромов считает войну мерзким делом.

Ложкин. Почему вы мне это говорите?

Хромов. Потому что вы мужчина, Ложкин. Мужчина обязан страну от войны хранить, война душу выжигает. Особенно у женщин. А им еще детей рожать.

Ложкин. Так они ж вон сами на фронт рвутся!

Хромов. Плохо! Стыдно нам должно быть, что войну к ним подпустили. Страшней убитых женщин только мертвые дети.

Ложкин. Вас тоже война отравила?

Хромов. Я хирург, мне положено смертью дышать. А вот Виноградовой положено на свидания бегать в легком платье. А у нее обширные ожоги третьей степени, контрактура пальцев... Волосы на голове сгорели. И уже не вырастут.

Ложкин. А без волос жить нельзя? Живая же...

Хромов. Вы, Ложкин, не понимаете: для женщин это страшно. И пальцы у нее разгибаться не будут. Что ей приснится — счастье или как топливо горит под бомбежкой?

Ложкин. Вообще-вообще ничего сделать нельзя?

Хромов. Глубокие повреждения тканей, волосяные фолликулы уничтожены. Я не Бог...

Ложкин. Как же она на фронт собралась?

Хромов. На фронт? Да ей комиссия инвалидность поставит, и все, домой!

Ложкин. И правильно! Я ей тоже: у вас — рука, а она: «Тащи обмундирование!» А куда она с такими пальцами? Как стрелять-то будет? Убьют ее зря.

Хромов. Какое обмундирование, Ложкин?

Ложкин. На фронт бежать. Я говорю: вам лечиться надо, а они с Ключевой: «Трус, трус!» Ну, принес два вещмешка с подменкой.

Хромов. И когда они собрались?

Ложкин. Ривкину завтра выпишут, и эти тоже... А какая им война? Чуть живые сами.

Хромов. Почему сразу не доложили? С ними рвануть хотели?

Ложкин. Ну... *(Вздыхает.)* Работать-то и правда некому. Мужиков тьму побило, а посевная скоро. Витька-сосед говорит: на агронома выучусь... А хирургом страшно быть?

Хромов. У нас милосердная работа. Даже когда ноги ампутуруем.

Ложкин. А у Виноградовой чтоб волосы были и пальцы вылечить — в Москве смогут?

Хромов. Сейчас — нет. Но раньше и от гриппа помирали, а теперь-то лечим. *(Глянув на часы, встает, протягивает Ложкину жалобу.)* Я на обход. Не забудьте вашу...

Ложкин берет жалобу, рвет ее, идет к двери. Останавливается.

Ложкин. Но я хоть сейчас, если вдруг что! Я не трус, товарищ майор.

Хромов. Я вижу.

Хромов и Ложкин выходят. На столе Хромова звонит телефон.  
Звонит долго и нудно.

#### 4.

Женская палата. Появилась четвертая койка, на ней —  
Ольга Шрайнер вся в бинтах. У окна Ривкина, Ключева  
и Виноградова разглядывают обмундирование.

Ключева. Шинели он еще сулил. Но лучше б ватник, в нем сподручней.

Ривкина. Лучше, хуже... Не барахолка! Документы получу, и рванем. Эшелоны в ночь ходят часто, к утру далеко будем! Табачку бы в дорогу и бумажки...

Виноградова (*нюхает гимнастерку*). Как в ней ехать? Хлоркой воняет — ужас!

Ключева. Зато стерильно. Ни грязи, ни крови.

Виноградова. Откуда здесь кровь-то?

Ключева. С таких же, как мы. В банно-прачечном штопали, глянь: у меня две пули было в живот, а у тебя, похоже, осколок — ишь, как раскроило.

Виноградова. У тебя такая же, Рая?

Ривкина. Откуда здесь другие-то?

Шрайнер. Девчонки... Девчонки, а почему тут потолок синий?

Ривкина (*глядит на потолок*). Он вообще-то желтый. С трещинами.

Шрайнер. А должен быть белый. В госпитале должен быть белый потолок.

Ключева. С дороги тебя туманит. И анемия — как живая... Кушать хорошо и спать.

Шрайнер. Неделю сплю в санпоезде, аж с Венгрии. Меня куда привезли?

Виноградова. В Сибирь...

Шрайнер. Ничего себе... А тепло!

Ривкина. Топят хорошо. Куришь?

Ключева. Да постой ты! (*Шрайнер*). Где тебя?

Шрайнер. На Балатоне в феврале. Не курю.

Ривкина. Слыхали мы про Балатон... Как там было-то?

Шрайнер. Как бывает на войне, так и было. По-всякому.

Ключева. Жарко?

Шрайнер. Да уж, не мерзли...

Ключева. Это Рая, это Тоня, я Лида.

Шрайнер. Ольга. Шрайнер.





Ривкина. Немка? Ты немка?

Шрайнер. Немка.

Виноградова. Ну, немцы разные есть...

Ривкина. Не спорю, разные. Есть бомбой битые, есть танком давленные... А я вот любила — в харю пулей! Специально заряжала разрывной, чтоб рыло вдребезги!

Шрайнер. Я тоже видела разных немцев.

Ривкина. Видела она... А сама хоть одного фрица шлепнула?

Шрайнер. Как там поймешь, кто Фриц, кто Ганс, а кто, может, Иоганн? Себастьян. Бах.

Виноградова. Вот именно, Рая! Известный музыкант-немец! И антифашисты есть!

Клюева. Хватит! Развели политотдел: фашисты, антифашисты... Как завтра уйти-то?

Виноградова. Да хоть через забор!

Ривкина. Чинно уйдем, в ворота. Я-то с документами, скажу, мол, на анализы веду.

Виноградова. Сапоги все огромные... Других нет, что ли, в армии?

Клюева. На мужиков же шьют. Нам, было дело, и трусы мужские выдавали — ужас!

В коридоре голос Хромова: «После обхода готовьте Левченко на ампутацию кисти, ассистирует Холмогорова...» Девушки торопливо суют обмундирование в вещмешки, прячут их под койки. Входит Хромов с медкартой в руках.

Хромов. Здравия желаю, товарищи... (*Шрайнер.*) Главный хирург майор Хромов. (*Читает медкарту.*) Лейтенант Шрайнер, так... Касательное височной области справа, сквозное пулевое правого плеча, сквозное пулевое непроникающее грудной клетки, сквозное пулевое правого бедра. Две штуки... Кучно.

Ривкина. Как-то все с одной стороны... За стеной пряталась, лейтенант?

Хромов. Ривкина, здесь я — главный хирург! (*Шрайнер.*) Уличный бой?

Шрайнер. Озеро Балатон. Автомат почти в упор.

Хромов. Просто отлично! Раны все хорошие, сквозные, в ткани. Как общее самочувствие после санпоезда, Ольга Адольфовна? (*Смотрит в медкарту.*)

Ривкина. Адольфовна?

Шрайнер. Товарищ майор, прошу разговор наедине. Это необходимо. Жизненно важно.

Хромов жестом приказывает Виноградовой, Ривкиной и Клюевой выйти.  
Они выходят.

Шрайнер. Товарищ майор, мне долго здесь лежать?

Хромов. Офицерская палата, конечно, есть, как положено по уставу. Но мужская.



Шрайнер. Я не про это... Сколько мне лечиться?  
Хромов. Месяца три. Если будете выполнять все предписания, а то кое-кто...

Шрайнер. Буду. Я буду. Но мне нужно врача, чтоб осматривал.  
Хромов. Естественно, вас будут наблюдать. Это же госпиталь, вы не волнуйтесь!

Шрайнер. Гражданского врача, товарищ майор... Женского.

Хромов. В медкарте этот факт не отмечен.

Шрайнер. Вы мне не верите?

Хромов. Я хирург. Верю в то, что вижу. Сквозные пулевые вот вижу...

Шрайнер. Есть у женщин признаки. На первом этапе.

Хромов. Не ваш случай. Множественные ранения, стресс... Все объяснимо и так.

Шрайнер. Нет, не так! Я чувствую. Я знаю.

Хромов. Что ж, позвоню коллегам. Еще жизненные вопросы есть?

Шрайнер. Просто не хотела при всех, подумают — походно-полевая жена, подстилка...

Хромов. А вы где служили?

Шрайнер. Армейская разведка. Переводчица. Спасибо, товарищ майор...

Хромов. На здоровье. *(Кричит в сторону двери.)* Товарищи, прошу обратно!

Входят Виноградова, Ривкина и Ключева.

Хромов. Ривкина, Ключева, Виноградова, не буду утомлять вас деталями взаимодействия наркоматов и ведомств, скажу кратко: наш эвакогоспиталь 1239-бис — тыловое лечебное учреждение, но здесь действует воинский устав. Ясно?

Виноградова. Так точно.

Хромов. По уставу приказ командира — закон для подчиненного. Приказ выполняют безоговорочно, точно и в срок, чем поддерживают дисциплину, особенно необходимую во время войны. Вопросы?

Ключева. Никак нет.

Хромов. Вещмешки на середину палаты.

Ривкина. Какие вещмешки?

Хромов. С обмундированием, в котором Ключева и Виноградова хотели самовольно покинуть место лечения, грубо нарушив дисциплину. Ясно, товарищ младший сержант?

Ривкина. Так точно, товарищ майор.

Ривкина достает из-под койки вещмешки, Хромов их забирает и выходит.

Виноградова. Все равно... Все равно сбегу!

Ключева. В халате? До первого патруля... Как узнал-то? А?

Ривкина *(кивая на Шрайнера)*. Адольфовна... Подходящее отчество. И дела похожие!

Шрайнер. Я ничего про вас не говорила.

Ривкина. А про что вы говорили? Наедине, важно, необходимо...

Шрайнер. Это мое личное дело.

Ривкина. Немец-перец-колбаса, кислая капуста!

Виноградова. Предательша!

Ключева. Да зачем ей?

Ривкина. Нация такая поганая. Выше всех себя ставят, другие для них не люди.

Виноградова. Предательша! Предательша!

Шрайнер. Не смей! Я воевала как все!

Ривкина. В штабной столовой компот разносила — в ночную смену, ага?

Шрайнер. Я не обязана перед вами отчитываться.

Виноградова. А перед нами отчитываться не надо. Мы тебя просто судить будем.

Ривкина. По фронтовым законам.

Ключева. Антонина! Райка! Очумели?

Виноградова. А что ты ее защищаешь?

Ключева. Оля... Оля, ты откуда родом?

Шрайнер. С Поволжья.

Ривкина. Немка!

Ключева. Не из Берлина же! Наша она!

Ривкина. Наша молчала бы или с нами рванула, а эта боится, что ее любимых фрицев-иоганнов бить едем... Вот и доложила.

Ключева. Куда ей с нами-то, ее вон как изрешетило...

Ривкина. Неизвестно еще где. Вывезли, поди, к озеру на генеральский пикничок...

Виноградова. Бойкот ей! Будет стонать-подыхать — даже не подойдем! Бойкот!

Шрайнер накрывается с головой одеялом,  
 Ривкина и Виноградова отходят к окну.

Ключева. Рехнулись, точно... Она такая же, как мы!

Ривкина. Она — не мы, она как тот, в медсанбате. Кровь у нее, Лида, тоже скользкая.

Ключева. Ты с больной-то головы...

Ривкина. Убивать их надо. Каждый день хотя бы одного. Прицел под каску — бах! — и мозги брызгами.

Виноградова. Ты каждый день их так? Правильно!

Ривкина. Не каждый, жалко. Но под Ломжей сразу пять! И еще 12 надо, чтоб сошлось.

Ключева. В политотделе, что ли, насчитали план?

Ривкина. Сама. 96 фрицев — в аккурат по два за душу, а за детскую по три.

Ключева. Ничего себе, личный норматив...

Ривкина. А как иначе? Была деревня Синий Камень, и нет ее. Зола да ветер.

Виноградова. Ой, Рая... (Обнимает ее.) Ты ж говорила, ждут тебя там...

Ривкина. Конечно, ждут. Я им обещала каждого отдельно помянуть.

Клюева. И давно так поминаешь?

Ривкина. С лета 43-го партизанила, а как наши пришли — в регулярной. Фрицев-то, которых гранатой или чем, я не считаю. Только тех, что разрывной в морду.

Клюева. Что уж так... Смерть всегда смерть.

Ривкина. Когда деревню хоронили, своих не нашла: обуглило всех, скрючило, детей только по росту отличали. Черепа горелые, лиц вообще нет. Ни у кого! Вот пусть и фрицам так же!

Клюева. Легчает хоть, когда стреляешь?

Ривкина. Пока нет.

Стук в дверь. Входит Ложкин.

Клюева. Ты чего опять тарабанишь?

Ложкин. А вдруг вы голые?

Ривкина. Размечтался!

Ложкин (Шрайнер). Товарищ новенькая! Товарищ новенькая, вы спите? Товарищ майор просил передать, что сделал, как вы сказали. Завтра будет как договорились.

Ривкина. Ты про что это, а?

Ложкин (пожимает плечами). Он вот так велел сказать.

Виноградова. А про то! Про нас, про что ж еще? Что никуда мы... Точно это все она!

Шрайнер сдавленно всхлипывает под одеялом,  
Клюева подходит, гладит ее.

Виноградова. Лида! У нас же бойкот!

Клюева. Людьми-то надо быть, раненая же она! (Ложкину.) Тебе-то не влетело, что форму нам принес?

Виноградова. Тсс! Услышит она... (Шепотом, Ложкину.) Завтра снова принесешь?

Ложкин. Что еще тут за бойкот?

Виноградова. Этой предательше! Донесла, что мы на фронт бежим, а Хромов наорал и забрал все. Вот и пусть она ревет хоть всю ночь!

Ложкин. Это я.

Виноградова. Что?

Ложкин. Сказал! Про вас, про фронт... Не она.

Клюева. Ты?

Ложкин. И никакой вам формы больше не будет!

Виноградова. Это ты... Ты сказал Хромову?

Ложкин. Пальцы не гнутся — как стрелять? Лечить надо! И вообще, не женское дело...

Виноградова. А когда, значит, бензин на спине горит — это женское... Где ж ты раньше был, такой мужчина? Там, на станции, я

Верку Грачёву из-под теплушки потащила, а вытащила пол-Верки! И ее кишки по рельсам... Где? Ты? Был?

Л о ж к и н. Где надо! Где приказали, там и был! А теперь нам страну надо налаживать...

К л ю е в а. То есть ты на фронт идти раздумал?

Л о ж к и н. Я учиться пойду.

Р и в к и н а. Еще один никчемный! Учиться он пойдет...

Л о ж к и н. Я хирургом стану! И открытие сделаю, чтоб волосы после ожога снова росли, чтоб таким, как вот она, помогать.

В и н о г р а д о в а. А что, у меня не вырастут, что ли?

Л о ж к и н. Товарищ майор сказал, что нет.

В и н о г р а д о в а. Много он понимает! Мне в Уфе сказали, что... А где Хромов?

Л о ж к и н. На операции. Да он точно сказал: не из чего, говорит, расти, все сгорело...

Р и в к и н а. Ложкин! Шел бы ты уже! И так наговорил много...

Ложкин, вздохнув, идет к двери. Останавливается.

Л о ж к и н. Вы бойкот свой отменяйте. Ни при чем она, точно.

Ложкин выходит.

Ш р а й н е р (*из-под одеяла*). Blöde Kuh! Du hast ein grosses Maul! Du machst mich krank, Armleuchter! Es geht mir echt auf die Eier! Feck dich! Leck mich am arsch! Verpiss dich! Du Arsch mit Ohren! Scheisse... (*Откидывает одеяло.*) Перевести?

В и н о г р а д о в а. Да понятно в общих чертах...

Ш р а й н е р. Извинений не попросите?

Р и в к и н а (*едко*). Виноваты, товарищ лейтенант, сдуру померещилось! Больше никогда!

Ш р а й н е р. А если по-людски?

Р и в к и н а. А по-людски — всяко бывает, сама знаешь... Воевала же.

К л ю е в а. Райка, да обнимитесь вы, помиритесь! Как вы дальше-то будете?

Р и в к и н а. Так и будем... Скоро ужин и спать, а утром я — ту-ту! Чего обниматься-то?

Ш р а й н е р. Рая, я тоже убивала фашистов. И немцы были, и венгры, и даже один русский. Власовец. Мы его в лесу повесили.

Р и в к и н а. Партизанила, что ли?

Ш р а й н е р. В рейд ходила с разведгруппой. Пару раз.

К л ю е в а. О! Разведка! А какой фронт?

В и н о г р а д о в а. Товарищ лейтенант... Оля, скажи Хромову, чтоб меня отпустил! Мне очень надо! Он же тебя слушает... Ты его о чем просила?

Ш р а й н е р. Это личная просьба была. Врачебная тайна.



Ривкина. Ишь ты... А тут не разведка! Тут мы все одинаковы, все несчастные бабы...

Виноградова. Я не баба вам! И не несчастная!

Виноградова выбегает из палаты.

Шрайнер. Чего она такая нервная?

Ключева. Молодая еще, вот и рвется. Погибнуть ей приспичило.

Шрайнер. Погибнуть? Зачем ее с собой тогда брали?

Ключева. Это здесь от ерунды помереть охота, а там ой как жизнь любят, сама знаешь! Не погибла бы, инстинкт не дал бы.

Ривкина. Инстинкт... Куда она теперь такая?

Шрайнер. Все мы тут такие... Что ж теперь? Жить надо, я считаю.

Ключева. Точно! Из-за каждого письма лоб под пулю подставлять? Лбов не напасешься!

Шрайнер. Ей письмо пришло плохое?

Ключева. Дурацкое! Там, значит... (*Ривкиной.*) Где оно? Я ж тебе отдавала.

Ривкина. Мне? Когда? Какое письмо?

Ключева. Райка!

Ривкина. Понимаешь, с бумагой же туго... Прямо нет бумаги, хоть плачь!

Ключева. Скурила, что ли? Райка, Райка...

Ривкина. Да зачем оно ей? Чтоб свою любовь несчастную вспоминать, как ты?

Ключева. У меня счастливая была! (*Настойчиво.*) Оля, какой у тебя фронт?

Шрайнер. 3-й Украинский. 57-я армия.

Ключева. Ого-го! Свои, родные! Слушай, есть такой лейтенант Петров... Не знаешь? Тоже разведчик.

Ривкина. Хорошо не Иванов, уже легче. Петровых-то у нас раздва, и обчелся.

Шрайнер. Нет, не знаю. Фронт большой...

Ключева. Разведчиков-то меньше, чем пехоты, вот и думала я... Лейтенант Петров. Нет?

Шрайнер. У нас... У нас капитан Петров был.

Ключева. А может, он уже и капитан! Андрей?

Шрайнер. Игнатьевич. Из Читы?

Ключева. Верно! Молодец какой, капитан уже! (*Напевает.*) «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали...»

Шрайнер. Он убит.

Ключева. Не ври... Ты врешь!

Шрайнер. Капитан Петров Андрей Игнатьевич, из Читы. Убит.

Ключева. Это не он, значит... Точно, не он! Зачем врешь?

Шрайнер. Балатон, 26 февраля. Юго-западный берег, утро. Сама видела.





Р и в к и н а. А ты там что делала?

Ш р а й н е р. На пикничок выехала... По приказу штаба армии.

К л ю е в а. Это не он там был! У Андрюши примета особая... Не для всех!

Ш р а й н е р. Шрам у него такой, как горы. Вот тут. (*Показывает.*) Как две горы...

К л ю е в а (*отрешенно*). Зигзагообразный рубец от касательного осколочного ранения. (*Кричит.*) Тебя же ранило там! Что ты видела-то, какой шрам? Ранило же тебя...

Ш р а й н е р. Я его раньше видела. Много раз.

Пауза.

К л ю е в а. Штабная тварь! Чего ты с ним в разведку потащилась?

Р и в к и н а. Что, отпала охота мириться-обниматься? Я же говорю — Адольфовна...

К л ю е в а. Если б она не раненая была... Если б не раненая! Тварь! Мразь!

Ключева ложится на свою койку, утыкается лицом в подушку.

Входит Виноградова.

В и н о г р а д о в а. Девочки, а где мое письмо? Ну, которое... То?

Р и в к и н а (*суетливо*). Письмо? Да где-то... Поищем... Тут вот было... Срочно надо?

В и н о г р а д о в а. Просто сжечь его хотела. Найдешь если, забери на сигарки.

Р и в к и н а. А, ладно... Ладно. Что тебе Хромов-то сказал?

В и н о г р а д о в а. Медицина пока бессильна. А Ложкину, мол, язык отрежу за болтовню.

Р и в к и н а. Язык отрежу, губы оборву... Живодер! Одно слово — хирург.

В и н о г р а д о в а. Нет, он хороший, он мне все объяснил. Жить, говорит, надо.

Ш р а й н е р. Правильно говорит.

К л ю е в а. Тебя не спросили, подстилка штабная!

Ш р а й н е р. Я ведь не только по-немецки, я могу и по-русски матом обложить!

К л ю е в а. Давай, попробуй! Лахудра!

Р и в к и н а. Хватит уже! Мужика у вас убило, а вы грызетесь, как шавки...

В и н о г р а д о в а. Раньше думала: после войны такая жизнь будет, сплошное счастье! А что это за счастье — хочешь не хочешь, а живи... Это разве жизнь?

Р и в к и н а. Хорош тоску нагонять! Весь аппетит отбили, даже на ужин неохота... Скорей бы утро да уехать!

Девушки ложатся, засыпают; в палате темно и клубятся беспокойные сны. Виноградова встает, вырывает листок из тетради, неловко пишет забинтованной рукой.



Шрайнер (*приподнимает голову*). Ты что там делаешь?  
Виноградова. Стихи пишу.  
Шрайнер. Стихи? Какие стихи?  
Виноградова. Про любовь, какие ж еще...  
Шрайнер. С ума сошла? Какие ночью стихи?  
Виноградова. А когда их еще пишут? Всегда по ночам. Спи.

Виноградова оставляет листочек бумаги на тумбочке, выходит.

Шрайнер. Рая, Лидка! (*Пауза.*) Ключева! Ривкина! (*Пауза.*)  
Девчонки! (*Пытается встать с койки.*) Девочки, вы ж не спите, я  
знаю... Девочки!

Ривкина. Ну что, что, что? Чего тебе? Медсестру позвать?  
Шрайнер. Тоня куда-то ушла...  
Ривкина. Придет. Что нам ее, и в туалет провожать, что ли?  
Шрайнер. Она писала что-то. Говорит, стихи...  
Ключева. Какие еще стихи ночью?  
Шрайнер. Вот и я говорю! На тумбочке... Посмотрите на тум-  
бочке ее...

Ривкина встает, берет с тумбочки листочек, читает в полумраке.

Ривкина. Вот же каракули... Вот же... Лидка! За мной!

Ривкина и Ключева выбегают. Через некоторое время входят, ведя Виноградову.  
У Ривкиной в руках веревка.

Ривкина. Завтра Ложкину всю морду расхлещу веревкой этой!  
Виноградова. Я сказала, что скалку делать для занятий...  
Он не знал. И записка тоже, что сама, чтоб вас не таскали... Все равно  
задушусь.

Ривкина. Вот я не Ложкину, а тебе сейчас этой веревкой всыплю!  
Виноградова. Кто просил меня спасать, такую уродину? Кому  
я нужна...

Ривкина. Уродина? Девчата, слышите? Да ты что? Да глянь на  
меня или вон на Лидку — у нее вообще нос картошкой!

Ключева. Какой еще картошкой?

Ривкина (*с нажимом*). Картошкой! И шея короткая.

Ключева. А у тебя... Коленки толстые!

Шрайнер. А у меня уши оттопыренные и ключицы торчат.

Ключева. Да ты вообще вобла!

Ривкина. Ну-ка, тихо! Видишь, Тоня, какие мы? А у тебя и нос  
ровный, и глаза красивые, и губы, и... Лидка, дай зеркало свое!

Виноградова. Только свет не включайте! Не хочу руку свою ви-  
деть.

Ривкина достает из тумбочки свечу, зажигает. От свечи по тоскливой госпитальной  
палате расплывается покой. Девушки, притихнув, сидят вокруг дрожащего огонька.

Шрайнер. Воском пахнет.

Ривкина. Это венчалная. Моя.

К л ю е в а. Ого! В церкви, что ли, замуж выходила?

Р и в к и н а. Пожгли храмы-то... Отец Кузьма у нас минером был, муж его и попросил.

К л ю е в а. Во дают партизаны! Как при царе прям... А комиссар вам что сказал?

Р и в к и н а. Сказал — главное, чтоб любовь и бить фрица, а там разберемся.

Ш р а й н е р. Мама говорила, венчальные свечи беречь надо. Для трудных моментов.

Р и в к и н а. Самое сегодня время.

К л ю е в а. У нас молился кое-кто... А в ноябре приказ: плацдарм на Дунае расширить. А фриц как даст минометами! Молился не молился — все вповалку, раненых тьма. Тащу одного, раз — и как в яму глухую! В санбате, говорят, кровь из сапога через край текла...

Р и в к и н а. Свое не слышишь, это точно. Я под Ружаном позицию меняла, бегу за костел — вдруг в живот, в грудь остро так вдарило, как стеклом горячим кинули. И дышать никак. Твою ж мать! Упала, а помирать неохота. Осень, красота, небо синее...

К л ю е в а. А не говори, помирать прям неохота-неохота! Еще лежишь так некрасиво, в грязи...

Р и в к и н а. Нет, я красиво лежала, вся в осенних листьях — желтые, красные... Краля!

Хохочут.

В и н о г р а д о в а. Чего ржете-то? Чего смешного?

К л ю е в а. Если в клочья разнесет, смешного точно мало. Собирала таких, знаю. А мы-то живы! Руки-ноги на месте!

В и н о г р а д о в а. Лучше б меня там на станции в клочья разнесло...

Ш р а й н е р. Разнесло бы — другой разговор! Погибла за Родину. А в сортире вешаться — гадость.

Р и в к и н а. Вот верно говорит, хоть и Адольфовна!

В и н о г р а д о в а. Умные какие! Сами и повоевали, и любовь...

К л ю е в а. Где она, любовь наша? Поубивало.

В и н о г р а д о в а. Так хоть была! А мне как жить?

Ш р а й н е р. Жить как жить. Жизнью. После такой войны она другая станет. Совсем другая! Иначе вся наша кровь — зря. А так не может быть, это ж кровь...

Р и в к и н а. Золотые слова, прям бриллиантовые! Отчество бы еще тебе сменить.

Ш р а й н е р. Про генерала Власова слыхала, про предателя?

Р и в к и н а. Кто ж про него, иуду, не слыхал?

Ш р а й н е р. Его Андрей зовут. Что ж теперь, всех Андреев расстрелять?

К л ю е в а. Ты, Райка, да, угомонись. Мало ли кого как звать! Вон Ложкин — фамилия смешная, а парень-то серьезный. Вдумчивый.

Р и в к и н а. Опять ее защищаешь? А ведь глаза готова была выцарапать!

К л ю е в а. Да что уже... Не вернешь никого.

В и н о г р а д о в а. А мне Ложкин обещал руку вылечить. У него шаман знакомый есть.

Р и в к и н а. Вот вам и серьезный! Шаманам верит!

В и н о г р а д о в а. А что такого? В Сибири тайга кругом, а в тайге чего не бывает... Деду одному медведь руку сгрыз, а шаман тот вылечил! Ложкин обещал его сюда позвать.

Р и в к и н а. Ишь ты, обещал... А жениться он тебе не обещал?

В и н о г р а д о в а. Выдумала! Он на врача идет учиться. *(Пауза.)* Да и скакалку мою.

Ривкина молча показывает ей кукиш.

Подумав, показывает кукиш и второй рукой.

В и н о г р а д о в а. Мне упражнения делать! Ложкин научил! Каждое утро надо!

Ш р а й н е р. Да отдай. Если что, напишем домой: удавилась в сортире. В параше. Среди дерьма. Героически!

Р и в к и н а. Утром отдам.

Свечка, догорев, гаснет. Девушки ложатся спать.

## 5.

Кабинет Хромова. Р и в к и н а сидит на стуле,  
Х р о м о в подписывает ее документы.

Х р о м о в. Как самочувствие общее?

Р и в к и н а. Да ерунда снится: фриц на мушке, я ему бац — и в сердце, а целила-то в лоб!

Х р о м о в. Он же все равно убит.

Р и в к и н а. Я люблю видеть, как у него морда исчезает от моей разрывной.

Хромов внимательно смотрит на Ривкину.

Х р о м о в. После войны чем думаете заняться?

Р и в к и н а. А пока еще — война. Пока их надо убивать, как положено, да и все.

Х р о м о в. И как же положено убивать?

Р и в к и н а. Метко.

Х р о м о в *(отдает Ривкиной документы)*. Берегите себя.

Р и в к и н а. В запасном-то полку? Если только перловки объемя... Мне на фронт никак?

Х р о м о в. В заключении все причины указаны.

Р и в к и н а (*читает вслух*). Проникающее осколочное ранение брюшной полости с повреждением печени, множественные осколочные слепые ранения грудной клетки.

Х р о м о в (*назидательно*). Тяжелая сочетанная травма груди и живота.

Р и в к и н а. Обширное повреждение тканей молочных желез, контузия правого легкого.

Х р о м о в. Вы притом еще и курите.

Р и в к и н а. А вы мне за это губы оборвите! Всю изрезали, давайте и губы еще...

Х р о м о в. Перестаньте. Просто такая фигура речи...

Р и в к и н а. Разрешите идти, товарищ майор?

Х р о м о в. У меня к вам просьба напоследок.

Р и в к и н а. Курить не брошу.

Х р о м о в. Вы зачем это сказали? Что, вам курение так важно? Или тему сменить, чтобы вас убеждали? Вы меня слушать не хотите? Так и скажите!

Р и в к и н а. Ладно. Не буду курить. Постараюсь... Обещаю. Обещаю, что постараюсь. Просьба исполнена?

Х р о м о в. Нет. Разрешите, я буду вам писать?

Р и в к и н а. Ой... Зачем это?

Х р о м о в. А зачем люди пишут друг другу? Мужчины и женщины...

Р и в к и н а. Вы, может, меня и замуж позовете?

Х р о м о в. А вы откажетесь?

Р и в к и н а. Я уж не молоденькая, 23 года, и вдова опять же. (*Смеется.*) Точно по вашему диагнозу — ограниченно годная!

Х р о м о в. Я серьезно.

Р и в к и н а. Что ж вы неженатый, если такой серьезный?

Х р о м о в. Под Вязьмой в 41-м разбомбили госпиталь, жена была начмедом. Была жена...

Р и в к и н а. Как же не спасли ее? Это ж госпиталь!

Х р о м о в. Травматическая ампутация ног, острая массивная кровопотеря. Чудес не бывает. Но я за нее спокоен — все военные врачи попадают в рай.

Р и в к и н а. Вы верующий, что ли?

Звонит телефон, Хромов снимает трубку.

Х р о м о в. Хромов. Добрый. Я общежитие партшколы не громил. Да балбесы они в санотделе СибВО! Повторяю: не громил, а забрал обе ванны. Мне лежачих мыть надо! А партийцы — кони здоровые, в баню сходят, там рядом. Да, именно кони, товарищ второй секретарь. В среду? Нет. У вас бюро, а у меня операционный день! Вы что, мне строгача без меня не вlepите? Я тоже так думаю. И вам долгих лет... (*Кладет трубку.*)

Р и в к и н а. Трудная служба...

Х р о м о в. Не трудней, чем под Вязьмой.

Р и в к и н а. Вы... Вы, получается, там были?

Х р о м о в. Был. Через три месяца. Зимой 42-го наступали там.

Р и в к и н а. На могилку к ней сходили?

Х р о м о в. Наступали, да... Возникли, так сказать, крупные очаги санитарных потерь. Поспишь часок и снова — скальпель, пепан, пинцет, кохер, лигатура... Не сходил.

Р и в к и н а. Могли бы уж время-то найти! А еще в Бога верите...

Х р о м о в. Я хирург. Верю в то, что вижу.

Р и в к и н а. А сказали, что врачи попадают в рай! Видели вы его?

Х р о м о в. Может, обсудим это в письмах?

Р и в к и н а. Я сначала отомстить должна. Потом если, когда мир будет...

Х р о м о в. Мира никогда не будет. Просто стрелять перестанут. Но я могу вас подождать.

Р и в к и н а. Вы пока роман с кем-нибудь заведите, на войне же это быстро!

Х р о м о в. Война не библиотека, романов на всех не хватит.

Р и в к и н а. Я что, похожа на нее?

Х р о м о в. Нет.

Р и в к и н а. А почему тогда я?

Х р о м о в. Медицина этого не объясняет...

Р и в к и н а. Вы же сами мне осколки из груди вычищали! И никакой груди не оставили. Всю изрезали. Какая я теперь жена... Не надо ждать.

Х р о м о в. Значит, не судьба?

Р и в к и н а. Почему не судьба? Просто судьба такая. Разрешите идти?

Х р о м о в. До свидания, товарищ младший сержант Рая.

Р и в к и н а. Прощайте...

Х р о м о в. Алексей Степанович. Алексей...

Р и в к и н а. Прощайте... Товарищ майор.

Ривкина выходит.

## 6.

Женская палата. Ш р а й н е р лежит на койке,  
 К л ю е в а моет дверь, В и н о г р а д о в а — у окна.

К л ю е в а. Закрывай уже! Антонина! Закрывай!

В и н о г р а д о в а. Пусть еще продует. У Раи тумбочка табачищем просто провоняла!

К л ю е в а. Главное — режим! Открыли-закрыли, чтоб свежо всегда, но не холодно.

Ш р а й н е р. Да я не мерзну.

К л ю е в а. Я медик, мне видней. Антонина! Скажи, пусть нам белье прокипятят!



Виноградова (*закрывает окно*). Девочка должна родиться. Мальчиков много перед войной было, примета такая. А сейчас — девочки! Невесты.

Клюева. Нас, невест, и так хватает.

Виноградова. Какие мы теперь невесты...

Клюева. Антонина! (*Кидает в нее тряпку*.) Ну-ка, пыль сотри! Парень родится. Мужик!

Виноградова. Где протирать-то? Всё уж на два раза протерли!

Клюева. Что сказала акушерка? Покой и чистота! У окна протри, поди, надуло...

Виноградова. Имя тогда надо удобное... Двухстороннее! Валентин. Или Евгений. (*Протирает пыль*.) Мама сына ждала, Антоном хотела назвать, а родилась я. Антонина!

Клюева. Какой еще Евгений? В честь отца надо. Андрей. Андрей Андреевич!

Шрайнер беззвучно плачет, Клюева подсаживается к ней, гладит ее.

Шрайнер. Спасибо, Лида...

Клюева. Как же ты его не сберегла?

Шрайнер. Знаешь ведь, он всегда в пекло лезет, говорила я...

Клюева. И я сколько раз! Сколько раз! Нет, лезет! Чумовой...

Шрайнер. Утро такое красивое было, тальм снегом пахло, от озера туман... Из тумана они и вышли. Тоже разведка, шуму не хотят. Ну и схлестнулись на ножах.

Виноградова. И ты ножом дралась?

Шрайнер. Я и понять-то не успела, как их положили. Один живучий оказался, саданул из автомата. И Андрюша... Меня собой закрыл насмерть.

Клюева (*шепотом*). Вот он какой, мой Андрюша! Вот какой... Настоящий мужик.

Входит Ривкина. Она в сапогах и шинели, за плечами вещмешок.

Клюева. Стой! Не тащи микробов! Строгая гигиена!

Ривкина. На полслова... В кадрах сказали: комиссия в начале мая, числа девятого.

Клюева. Я тут останусь. Хромов говорит: нужны специалисты. Да и за ней приглажу...

Ривкина. Что, без тебя не родит? Врачей навалом.

Клюева. Это же его ребенок. Понимаешь? Его.

Ривкина. Тогда и Тоньку не бросай... Может, встретимся еще.

Клюева. Когда всех убьешь по счету, жить-то сможешь?

Ривкина. Я не убиваю. Я караю. Разница есть.

Клюева. Эх, война-паскудина... Живешь ты, Рая, как во сне на месте топчешься. (*Обнимает Ривкину*.) А нам надо жить вперед!



Р и в к и н а. Кому это нам?  
К л ю е в а. Всем! Особенно нам, бабам. Жить вперед! А иначе все,  
кто помер — зря.

Р и в к и н а. Я напишу тебе. *(Идет к двери, останавливается.)*  
На твое имя... И записочку вложу, ты передай, ладно?

К л ю е в а. Кому?

Р и в к и н а. Я напишу кому.

Стук в дверь. Входит Л о ж к и н.

Л о ж к и н. Выходим теплую подменку получать и на занятия!

Ривкина дает Ложкину подзатыльник, выходит.

Виноградова стеснительно чмокает его в щеку, выходит.

Л о ж к и н. Это зачем сейчас все было?

К л ю е в а. Чтоб на врача хорошо учился. Сибиряк с печки бряк!  
*(Выходит.)*

Ш р а й н е р. Как думаете, Ложкин, хорошее имя для девочки —  
Лида?

Л о ж к и н. Хорошее... При чем тут «бряк»-то? Вы, товарищ но-  
венькая, отдыхайте пока.

Ложкин выходит. Шрайнер лежит, улыбаясь,  
но по щекам ее текут светлые слезы.

Ш р а й н е р. Лида. Лидия. Лидия Андреевна... Эх, Андрюша,  
нам ли быть в печали?

*Занавес.*



**ПЕРЕПИСКА**  
**Н. Н. ЯНОВСКОГО И В. П. АСТАФЬЕВА.**  
**1980—1991\***

\* \* \*

3.III.1982 г.  
Речкуновка

Дорогой Виктор Петрович!

Пишу тебе из санатория «Речкуновка». Это в 50 минутах езды от Новосибирска. Санаторий сердечный, и я здесь хорошо подлечиваюсь (уже третий раз за последние годы). Всякого рода «процедуры», свежий воздух (в десять раз лучше, чем в городе), лыжи почти ежедневно; поэтому и самочувствие лучше.

Но и здесь меня разыскали (никому я адреса не давал, знал лишь наш Союз), прислали из «Сов. писателя», просят срочно им позвонить.

Так вот выяснилось, что Лито держало мою книгу целый месяц (даже типография возмутилась — у них «горел» план) и потребовали убрать кое-какие цитаты из твоих высказываний и просто цитаты из художественных произведений, сняли какую-то полемику (я не разобрал, какую), словом, закрестили красным карандашом несколько страниц; и об этом мне сообщили, очевидно, для того, чтоб я потом не запротестовал и не обвинил редакцию в самоуправстве.

Итак, да здравствует «свободное слово»!

Мне это слегка потрепало нервишки, но теперь я успокоился (тоже слегка).

Здесь я понемногу работаю, как всегда в таких случаях, иначе со скуки подохнешь, да сроки по договорам поджимают. 10 марта наше житье-бытье в Речкуновке закончится.

Поздравляем Марию Семёновну с днем 8-го марта. Желаем ей с Ф. В. радостей и доброго здоровья.

Как идут дела у тебя? Что с романом? Как здоровье?

Время идет неостановимо, и все проходит...

Обнимаю.

Твой Н. Яновский.

---

\* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2016, № 3. Подготовка к публикации и примечания Владимира Яранцева. Переписку Н. Яновского и В. Астафьева за предыдущие годы см. «Сибирские огни», 2014, № 8, 2015, № 8, 9, 10.

\* \* \*

4.V.1982 г.  
Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Только что вернулся из Новокузнецка, где провели мы праздничные дни у дочери, и теперь сижу в канун дня Победы и думаю о пережитом. Как, в сущности, коротка жизнь и как мало в ней подлинных радостей! День Победы не просто одна из таких радостей, день этот исключительный и незабываемый — вот и пишу тебе поздравление, что не более в моих «писаниях», как бледная копия того, что тогда пережито.

Поздравляю, поздравляю!

Хотя давно уже этот день связан с нашей болью, не все и вспоминать хочется, но и не вспоминать нельзя.

Я только что посмотрел кино «Звездопад» (отсюда лирика, мне несвойственная, я давно стал сухарем). Вспомнил я повесть, как впервые прочитал, как потом о ней думал, что-то писал... Так вот, просмотрев фильм, убедился, что режиссер убоился сосредоточиться на одной повести, создал побочные, по его мнению, «действенные» сцены, и упустил показать поэзию первой любви в чрезвычайных условиях, которые привели героев к проклятию войны, со всей силой ненависти к ней. В страданиях юных оказалась больше всего повинной «расчетливая» мать девушки. Многие детали фильма не работают на главное в нем (например, растянутая игра детей в папы-мамы). Вообще, от сцены к сцене у меня нарастал протест, и вышел я разочарованным.

Да, понимаю: у режиссера свой взгляд, другие средства прочтения повести, но снижать ее пафос у него права не было. Есть удачные сцены и удачные исполнители, но изменить «волю» постановщика они не смогли.

Я хотел с тобой о многом поговорить, но повел себя бог знает как, просто ужасно, и простить это себе не могу.

В «Енисее», кажется, появилась моя статья о «Царь-рыбе» — вот где-то (? — В. Я.), ничего не сообщают...

Еще раз поздравляю тебя и Марию Семёновну и обнимаю Вас.

Ваш Н. Яновский.

\* \* \*

(отв. 16.VII.82)

6 июня 1982 г.

село Овсянка

Дорогой Николай Николаевич!

Из древнего города Порхова одна бродячая артистка с радостью общилась мне (она читала тамошнему просвещенному народу «Сон о белых горах» и они заплакали), что купила книжку Н. Яновского об Астафьеве.

Я, конечно, ясно понимаю, что Новосибирску и Красноярску до Порхова далеко, <нрзб> так ретиво бороться за культуру, да еще за какую-то вы-со-ку-ю (очевидно, подразумевается и широкая еще?!), что уж до самой культуры руки не доходят, и вообще, «чѐ это тако?»», многие совершенно не понимают, обалдев от парадов, тронных речей, приемов и видов «на будущие достижения» в области «духовной жизни».

У нас новый начальник отдела культуры Крайисполкома уже несколько месяцев на посту и не соизволил познакомиться с писательской организацией, пошел третий год, как я на Родине и со мной тоже никто не поговорил, а знакомились иные руководители идеологии в коридорах, мимоходом. Мне-то насрать, меньше трезвому и вони, но каковы культуртрегеры? Или по-русски — мудаки от культуры. Этакий пузатенький, шустрый советский мещанин при галстукe и волосиках, мельтешит, шумит, на телефонные кнопки нажимает и кажется ему, что мы, с его помощью, берем одну культ. вершину за другой.

А книжки вот в магазинах нет. Наверное, и у тебя еще нет?

А у меня вышло подряд три книжки: в Ленинграде «Последний поклон» с тремя рассказами; приложением к «Дружбе народов» — «Последний поклон» и «Царь-рыба» в «Современнике» открыла новую «библиотеку Нечерноземья». «Рыба», кстати, издана хорошо, а прислали книгу пока лишь ленинградцы и они же мне подсказали, что с меня, как с инвалида войны, не должны брать налог подоходный.

Во порядку! Никто до этого не подсказал такую вещь, и я же лопух ничего этого не знаю, и сколько ж с меня содрали грошей!? А ведь переиздания мои потом уже не приносили доходу, а новые вещи идут туго. Книга «Затесей», слышал я, слетала уже в Крайком из цензуры, на перестраховку, и едва ли ее там полюбят, уж очень она не в пику с продовольственной программой и прочими речами.

А и бог с ней! Последние месяцы зимы, весну и начало лета я вкалывал, как кузнец. Сделал второй заход на свой маленький роман, уже есть каркас и получились отдельные куски, остальные до осени. Написал шесть статей подряд разного размера, одну о Косте Воробѐве [1] покойнике, страшную и сердитую. Очень уж меня разозлила вся эта критическая болтовня об абвиволентной (так! — В. Я.) литературе и прочей вумной херне, нужной лишь для того, чтоб себя показать — не зря, мол, учились грамоте, а главное, уйти от злободневных и тяжелых вопросов действительности, от судьбы отдельного писателя, от его горестей, нужд, безысходности в мутное пространство очень мутной нашей и путаной теории. Вот я и попытался на конкретной, трагической судьбе прекрасного писателя приостановить этот критический благовест и послал статью в «Литературную газету», а повод к написанию был тот, что я прочел Костину книгу в Красноярске и делал к ней предисловие, но разошелся и написал 25 страниц, аж бумага дымилась.

Из двадцати пяти сделал 20 на предисловие, а целиком статью попробую все же напечатать [2]. Может тебе ее прислать в рукописи?

Мы ездили в тайгу, по «черкасовским местам», на реку Амыл и видели села, одно село настоящее, сибирское, с ухоженными домами, ло-

шадьми, степенным трудовым народом, который оставил все лучшее от старого и взял все лучшее от нового — прекрасно и дружно живут люди, опрятные, мастеровые, трезвые. Душа пела и радовалась! Устал я на Нечерноземье видеть русское кладбище из деревень, городишек и поселков, устал глядеть на подавленных людей, на завшивленную зелень, <нрзб> земную пустыню, которую начали подрядно отдавать «младшим братьям» для окончательного надругательства над русской нацией.

Был дом и поле на два дышла,  
 Там ни двора и ни кола.  
 России нет, Россия вышла  
 И не звонят колокола.  
 О ней ни слуху и ни духу,  
 Печаль никто не сторожит.  
 Россия глушит бормотуху  
 И кверху задницей лежит.  
 И мы уходим с ней навеки,  
 Не уяснив свою вину,  
 А в Новгородчине — узбеки  
 Уже корчуют целину.

Вот какие стихи написал герой соц. труда Миша Дудин [3]! И его проняло! А ведь благополучный внешне и облаканный партией человек. Его подборка стихов в 1-м номере «Дружбы народов» это вообще самое серьезное из того, что я читал последнее время в нашей поэзии.

Был у меня критик-эстет Курбатов дней десять. Многое мы с ним переговорили (ему Красноярское издательство заказало книгу к моему шестидесятилетию), так и он подбросил мне любопытный стишок Николая Шатрова, воспитанника писателя Софроницкого, кончившего дни от пьянства и заброшенности в расцвете лет:

Плюну в морду поганому кенту,  
 Не слюною, а сгустком огня:  
 Полюбуйся, какой я богемный —  
 Сколько крови моей у меня!  
 Что ты, Родина, делаешь с нами —  
 Лучшим цветом твоих сыновей?..  
 ...Кумачовое плещется знамя  
 Палачовой (? — В. Я.) рубахи твоей.

Вот такое «Лит. наследство» скапливается в столах «благодарных» современников! И все это под благодушное гудение трибун, под выездные праздники культуры. Мне за весну и лето пришло семь или восемь приглашений на разного рода «мероприятия», стоящие огромных денег, а <нрзб> навсегда в больнице свою деревенскую соседку, она с больными ногами ходит босиком — потеряли в пути тапочки, а в больнице их нет.

Собирался с М. С. на Нижнюю Тунгуску лететь. Выбрали меня депутатом Крайсовета — завтра первая сессия, после нее и полетим. Книжки штуки три пришли, едва ли я их тут куплю.

Поклон Фаине Васильевне от меня и Марьи Семёновны. У нее помер брат, она <нрзб> плохо перенесла, но сейчас работает вовсю и такие славные главы пишет в повесть «Отец».

Обнимаю, целую —  
Твой Вик. Петров.

1. Воробьев К. Д. (1919—1975) — прозаик.
2. Астафьев В. «И все цветы живые». О Константине Воробьеве (1983)  
// Собрание сочинений в 15 т. Т. 12. — Красноярск: Офсет, 1998.
3. Дудин М. А. (1916—1993) — поэт.

\* \* \*

16.VII.1982 г.  
Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Я получил твоё письмо и посылаю три книги, которые я только вчера получил. Черт знает что, я заказал здесь 100 экз., город в июне получил только 130 экз., а книготорг «мудро» распорядился, разверстав эти экз. по всем магазинам города, а мне выделил только 30 экз., из которых в последний момент «умыкнул» ещё 4 экз. Когда я возмутился и позвонил в облкниготорг, то мне ответили, что они не могут оставить магазины без книги. Ужас! Но вам не стыдно заставлять меня бегать по городу и скупать книгу?! — спросил я — вы ведь все равно получили бы те деньги, которые получите с покупателей в любом месте. Дубы молчат — у них «высшая политика», они, видимо, полагают, что автор начнет спекулировать своей книгой, потому что недоумевают, зачем их мне столько. Мне с трудом удалось вырвать 50 экз. книги Вяч. Шишкова «Дикольче», составленной мною. Так и спросили: «Зачем вам столько?» — «Торговать», — ответил я. Теперь отправил заказ в Москву, в книжную лавку писателей, но боюсь, что опоздал, надеявшись на местных торговцев. Это ещё один показательный штрих в «развитии» нашей культуры, о которой ты мне написал.

«Сов. писатель» издал мною составленные «Воспоминания о В. Шишкове», и из положенных составителю 5 экз. не выслал ни одного.

Сейчас тоже молчат, хотя один из числа «сигналов» положено было прислать мне. Я впервые увидел свою книгу, когда одна из читательниц в Ростове-на-Дону прислала мне ее с просьбой подписать, потому что она давно любит Астафьева, а я «прекрасно» о нем написал, да и вообще «сибиряки хорошо пишут». Вот такой первый отзыв я получил именно от читателя, а не от профессионала-литератора, судя по не очень грамотному письму. Тут, конечно, заслуга не моя, а твоя — свет твоей популярности теперь падает и на меня. Но что скажет наша критика, если она заметит эту книгу?

Чрезвычайно рад, что вплотную сидишь над романом — для меня такое известие праздник. Расслабляться ни при каких случаях, видимо, нельзя, надо упорно идти по избранному пути. Если есть лишний полный текст статьи о К. Воробьеве, пришли. Я мало сказал в книге о «Затесях»

(анализ с «Падением листа» попросту выбросили) и ничего не написал о сборнике твоих статей. Хочу к этому обязательно вернуться.

Лето у меня проходит в трудах, так сказать. Готовлю на 1984 год свою книгу (юбилейную, к 70-летию — сейчас не сдашь, книга к сроку не выйдет), а в 1983 году должен выйти том ЛНС, который все еще у меня на столе, заканчиваю вступительную статью, увяз в сложнейших комментариях к событиям столетней давности. Эти две книги, каждая из которых 500—600 стр., моя первая забота, и в августе я должен их сдать. Потому-то я сейчас и не могу сдвинуться с места, а так хотелось бы!

Стихи М. Дудина и Н. Шатрова читал с грустным удовольствием; спасибо за них. От Дудина я такого, право, не ожидал.

Ф. В. Марии Семёновне и тебе шлет привет. Марии Семёновне мой поклон.

Тебя обнимаю и желаю здоровья.

Твой Н. Яновский.

\* \* \*

Дорогой Николай Николаевич!

Ну, вот и первая ласточка на твою книгу. Я убеждал Николаеву, что надо давать портрет автора, а не мой, но она как-то очень своеобразно и по-своему понимает лит. дело, по которому выходит, что это я о себе написал и в своей типографии, за свой счет издал книгу. Словом, как граф Хвостов.

Мои летние дела было начались хорошо, да вот кончились плохо. Когда был на Осиповских порогах, много бродил с удочкой в воде мой старый <нрзб> — ревматизм очнулся и я несколько ночей не спал вообще.

Пришлось уехать из Овсянки, начинать лечиться, а в городе-то я себя чувствую потерянно и тоскую по Овсянке, которую моя Марья Семёновна не любит и, если возможно, <нрзб> задерживает меня в городе. Вообще, в ней со временем укрепилась эта привычка, чтобы все было по ее и я, чтобы не травмировать ее, человека больного и пожилого уже, уступаю и лишь иногда употребляю силу мужскую — сколько этой моей силы ушло на то, чтобы поехать учиться на лит. курсы или переехать в Сибирь! Кабы не сопротивление М. С. молчаливое, либо говорливо-наступательное, давно бы я жил на Родине...

Ну, да что об этом говорить! Не расходиться же было из-за таких «мелочей», хотя люди более склочные и решительные, может, и разошлись бы.

Да и человек-то она очень хороший, но привыкший управлять и направлять, вести дом, семью — это тяжелые обязанности в наше время и при исполнении их она сильно износилась. Страшно не любит, чтоб я куда-то ходил или ездил, всегда чтоб на глазах был, каждый шаг мой под заботливым контролем. «Забота» эта не имеет границ и где навязчивость, где настырность, где унижение второй половины, уже часто и не различишь, а чтобы не тратить нервы попусту, и уступишь...

Ну, да что это меня повело на такую «тему»? Тут и «цены-то» нет, а есть мое распи...ство мужское, достойное всяческого презрения.



Николай Николаевич — голубь мой! Безмерно, братски любимый! Кончай пить! То есть совсем не бросай, но если хочешь выйти из круга пьянства — выдь! Возраст твой, жизнь твоя уже не приличествуют винопитию. Работяги сплошь запивающиеся, глотают зелье от пустоты жизни, безделья, побуждений к «веселому» времяпровождению и просто от губительной наследственности и привычки нашего народа к зелью этому, клятому. Век твой уже близится к концу — уважь свою старость и поработай еще, а меж работой и повеселись. Совсем не выпивать — это уж совсем «пролить жизнь», и я против такого «приличия», сам горазд выпить от «восторга чувств», но не глухое пьянство, не система, не до одуренья и болезней...

Не спрашивай, где узнал, что ты пьешь крепко, не сердись, не взыскуй, а опохмелись и за стол, за письменный! Садись, обещаю тебе это, иначе я буду очень и очень расстроен, да и сам хочу и люблю выпить, но потом, потом и, чтоб силы твои для этого сохранились.

Спасибо Фаине Васильевне за письмо — переводчица Шарлотта Кошут уже не первую мою книгу переводит, ее тут главный редактор и директор издательства «Фонд ди Вельт» (или что-то в этом звучании) и, конечно же, работу ей дает. Я бывал у них в гостях — очень уважаемые и богатейшие немцы, хитрые, к тому же.

Клянюсь, обнимаю и целую тебя —

Твой Виктор.

13 августа 1982 г.

\* \* \*

16.XI.1982 г.

Пицунда

Дорогой Виктор Петрович!

Перед отъездом в Москву, а потом через недельку в Пицунду, в Дом творчества, я получил твое письмо и рецензию на мою книгу. Твое письмо меня взволновало, и я как-то не нашелся сразу, что на него ответить. Мое отношение к тебе давно и искренно, прочно выражено во всем, что я делал до сих пор со дня, как мы повстречались и поняли друг друга.

О книге я получаю хорошие отзывы, что будет еще в печати, — не знаю, как не знаю, будет ли вообще, но ругатели всегда найдутся, как это сделала Г. Белая в закрытой рецензии. Хорошо, что «Сов. писатель» к ней не прислушался, она и для меня оказалась совсем бесполезной, хотя и «недостатки» были перечислены по пунктам.

В Москве я занимался Потаниным и на обратном пути буду заниматься им. Узнал, кстати, и о том, что книга о Шишкове подписана к печати на 1983 год (изд-во «Художественная литература»). Дай-то бог, я с нею давно возжусь и мечтаю увидеть реальной книгой к 110-летию со дня рождения Вяч. Яковлевича.

В Пицунде работал над книгой о Леониде Иванове (для Омского изд-ва на 1984 год), кажется, закончил, потому что у меня о нем было

немало написано, получилось теперь листов пять. Писать о нем — публицисте — трудно, но интересно, т. к. он знающий человек, любящий свое дело и правдив, как речь заходит о наших недостатках в с/х-ой политике.

Написал здесь еще предисловие к новой книге Н. Самохина [1]. Обрати внимание на этого человека, на его автобиографическую, лирическую прозу последнего времени, он настоящий писатель, и предисловие к его книге писать было радостно.

Перечисляю тебе все это для того, чтоб ты не подумал, что я все в себе «заложил за воротник». Это чепуха и гиль. Впереди немало разных «заделок», которые мечтаю осуществить, пока есть силы и здоровье. Живу я не заказами, давно уже сам «навязываю» темы издательствам и печатным органам. А верен Сибири, сибирским темам. Отъезжая, сдал в Зап.-Сиб. изд-во новую книгу свою листов на 20 (где половина действительно новая) и назвал ее «Верность» [2]. Кстати, в ней будет о «Затесях», где я использую анализ рассказа «Падение листа», выброшенного «Сов. писателем», разумеется, из-за полемики с «Коммунистом». Теперь я упоминание о «Коммунисте» убрал, но суть анализа подчеркнул — не надо дразнить гусей, видимо. Все читавшие и читающие разберутся, что к чему.

Стихи из твоего письма я запомнил и повторяю, когда почему-либо мне становится невыносимо. Для ради созвучия с создавшимся настроением, и странно — успокаиваюсь, потому что думаю так не я один — и ты, и автор этих стихов, и многие другие: значит, жива еще Русь...

Здесь с Ф. В. мы купаемся, гуляем, сколь возможно, набираемся сил в преддверии зимы. Мы шлем Марии Семёновне и тебе привет и добрые пожелания здоровья.

Обнимаю.

Твой Н. Яновский.

1. Самохин Н. Я. (1934—1989) — прозаик.
2. Яновский Н. Верность. Портреты, статьи, воспоминания. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1984.

\* \* \*

(отв. 12.XII.82)

Дорогой Николай Николаевич!

С великим трудом и осложнениями вышли «Затеси» [1]. Уж давно надо бы отправить тебе, но жизненка так крутит, что и на письмо времени нет. Марья Семёновна отсутствует — заболела дочь, тяжело и она уехала в Вологду, а затем в Ленинград, где дочь лежала в клинике. Сейчас они все вернулись в Вологду до января, а я 1-го лечу в Москву, на пленум, потом к ним и там уж посмотреть и решать будем, как и где жить дальше дочери с детьми.

Работал пока еще мало, хотя осень мое время. Закончил, правда, «Зрячий посох», но все ворую у дел «необходимых» и людей настырных. «Посох» повезу с собой, но едва ли кто возьмется напечатать его целиком.

Летом удалось поехать маленько по краю. Осенью, с ружьём три дня побыл на Мане. Три незабвенных дня! В остальное время дома безвыходно и бесполезно. Все какие-то дурацкие дела и обязанности перед всеми. Ах, как я не умею жить строго, согласно возрасту жалеть силы и время. Так и не научился!

Вернусь домой в середине декабря, так, надеюсь, и засяду за роман, так надеюсь. Может, за зиму что и удастся сделать, если бог будет милостив к нам.

Более никаких новостей нет — издавать будут «Царь-рыбу» в Италии. Как она прозвучит на бельканто? Трудно представить. Вышла «Рыба» и в «Прогрессе», на английском. Очень хорошо издана, а глава о <нрзб>, нарожавшей кучу детей от эков, называется: «Маленькая леди». Каково?!

Поклон Фаине Васильевне.

Обнимаю и целую тебя, желаю доброго здоровья.

Твой — Виктор Петрович.

26 ноября 1982 г.

1. Астафьев В. Затеси. — Красноярск: Красноярское нижнее издательство, 1982.

\* \* \*

12.XII.1982 г.

Новосибирск

Получил твои «Затеси» и очень обрадовался — еще одна добрая книга появилась. Пусть в нее вошли не все, но то, что вошло, само по себе весомо, и дает мне повод в книге, которую я готовлю на 1984 год, дописать главу о «Затесях» (в том числе и о «Падении листа»).

Книга оформлена скромно, но жаль не та бумага, сыроват был переплет. Но тут ничего не поделаешь.

В «Лит. России» появилась рецензия на книгу — положительная, слава богу. В. Курбатов прислал мне хорошее письмо, говорит, что книга ему поглянулась. Я не обольщаюсь, знаю только одно — писал я ее с полной отдачей, добросовестно.

Живу сейчас незavidно — прихварываю больше, чем обычно; работаю, но не столь продуктивно, как раньше; приготовил книгу (листов на 20) на 1984 год, сдаю сейчас «Лит. наследство», том 6 (листов 30). Дело страшно канительное и трудоемкое. В набор пойдет 20/XII, и я вздохну посвободней.

«Жить строго, согласно возрасту», и я не умею, но все-таки «жалеть силы и время» надо, надо ради того, для чего родились мы, ради того, что тебе и никому другому дано. Потому я приветствую твою решимость «засесть за роман» и не когда-нибудь, а нынче зимой. Желаю скорейшего осуществления твоего замысла, это надо всем нам, людям, тебя любящим.

Семейству, Марии Семёновне наш поклон.

Обнимаю.

Твой Н. Яновский.

\* \* \*

28.IV.1983

Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Бог знает, сколько времени я не имею от тебя вестей! Что у Вас? Как здоровы, работа, самочувствие?

Я поздравляю Вас с Марией Семёновной с Днем Победы, великим для всех нас днем. Хочу, чтоб этот день встретили так, как мы встречали его впервые. Какое давнее, незабываемое и прекрасное время! Мы верили и надеялись, что впереди нас ждет счастье, только оно и ничего другого за реальность признавать не хотели.

Что-то осуществилось — не будем думать о своем времени только плохо, но многое засело как боль в сердце, не затухающая с годами, совсем наоборот, и с этим уже ничего не поделаешь.

Обнимаю и целую милого мне человека, желаю, чтоб и в этот сегодняшний день, как тогда, в 45-ом, ощутил всем сердцем: впереди счастье...

Твой Н. Яновский.

\* \* \*

21.IX.1983

Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Давненько я тебе не писал и твоего голоса тоже не слышал. Собирался я нынче летом в Красноярск по своим архивным делам, да так и не выбрался — то своим «Наследством» занимался (шестой том сдавал в производство, нынче он выйдет), то дописывал и сдавал свою юбилейную книгу (в 1984 г. мне «стукнет» 70, а тебе, как я понимаю, 60). Книгу я сдал (ее уже отредактировали), а годки между тем набежали, и мне уже совсем скоро станет 69, старею, болезни чаще посещают меня, и уже потянуло на воспоминания о встречах с хорошими людьми (в книге, которая, дай бог, выйдет, ты эти воспоминания найдешь).

Летом жил на даче, занимался с внуком, с существом занятым и веселым, копался на своем огороде, изрядно запущенном, но прелести от «общения» с землей это не уменьшало. За это лето я не только «посвежел», но и немало поработал.

25/IX по «библиотечным делам» лечу в Москву, потом буду в Бежецке, где состоится конференция в связи с 110-летием со дня рождения Вяч. Шишкова (я ведь «шишковист»), а затем сразу в Малеевку и отдохнуть, и подлечиться, и поработать («отдохнуть» от забот об обедах — у нас все же трудненько с продуктами — мясо, масло по талонам). Появлюсь дома не раньше середины ноября, потому что мечтаю на недельку съездить в Ленинград в связи с задуманной книжкой (материалы наиболее полно можно найти только там).

Марии Семёновне наш с Фaeй поклон, тебя я обнимаю и желаю здоровья.

Твой Н. Яновский.

Р. С. В книге моей глава о «Затсях» в более полном виде, чем то, что уже напечатано. Н. Я.

\* \* \*

(отв. 6.XII.83)

19 ноября 1983 г.

Дорогой Николай Николаевич!

Поскольку в последнем ко мне письме ты указал, что будешь дома в конце ноября только, вот я и подгадываю с письмом к этому сроку.

Пишу «изблизя», из Белокурихи, куда, не знаю зачем и почему приехал. Но все по порядку.

Ты же знаешь, что я весной чуть не умер от тяжелого воспаления легких с присоединившимися к нему, как говорят доктора, «побочными явлениями». А потом не было весны и «погасло» тепло в наших казенно-панельных домах. Надо было ехать в деревню, ближе к цели, к деревенским печам, второго обострения болезни легких мне было бы уже не перенести.

Ко дню Победы уехали в Овсянку, устроились, начали обживать, все холодно, ветрено, сыро, но все же копались маленько в земле и на берег Енисея среди дня я выползал, а это для меня такое наслаждение, такая лечебная процедура, что я уже начал приходить в себя, хотя напротив меня в бабушкиной избе одиноко и тяжело болела тетка Апроня и дети не спешили скрасить ее одиночество. Но когда я приехал (зимой тоже навещал, но именно навещал из города), а когда приехал, терпел на ее глазах и заходил к ней по три раза на день, когда обласкаю, когда поругаю, она и шкандыбать начала, с палкой к нам через дорогу перебиралась. Однако одиночество, неумелое и непомерное потребление современных «средств медицины» (лекарствами их как-то боязно называть) сделали уже свое дело, она вроде как подвинулась умом и желала лишь одного — смерти.

Она и раньше о ней говорила много, страстно и, что уже выглядело иногда ханжески, раздражало всех. В конце мая какие-то черти и зачем-то унесли меня на сутки в город, а утром, как из-под земли звонок из Овсянки: «Умерла Апроня»...

Да кабы умерла! Еще вечером, когда я уезжал и говорил, что вот приеду, что тепло скоро станет, и мы с нею будем «гулять» по улице, а она слово гулять иначе, как выпивать, веселиться и песни петь не понимала, вдруг начала меня резко, толчками, обнимать, целовать и хотя плаксива была, как и многие наши деревенские бабы, тут без слез сказала: «Ну, поезжай с богом! Не обижай Марью. Хорошо живите»...

Мне бы и приостановиться, вслушаться, а у меня голова-то проблемами соцреализма забита, в ней же роман крутится, как жернов. Словом, на утре тетка перекинула веревку через перекладину под навесом и залезла в петлю, она даже не завязала веревку наверху, но и этого хватило, одного желания умереть было достаточно...

Господь меня избавил от того, чтоб я видел все в первоначальном виде (а я вынимал из петли людей и знаю, что это за процедура), однако трепотни, деревенских кривотолков и многого другого было и есть еще предостаточно.

Хоронить у нас старух еще умеют. Всю «организационную», часть денежной, операции проделали мы, с моей любимой сестрой — Галей, и братцы, сыны Апрони и невесточки, будто искупая вину за черствость свою и невнимание к матери, сделали могилу и поминки ладом.

И опустела бабушкина изба, и навалилась на меня такая пространственная пустота, такое горе, такая скорбь вселенская и вина, что мочи нет никакой и погоды нет, хотя уже и лето по календарю.

И прибег я к старому способу спасения себя, сел за стол и начал писать военный роман. Отчего-то с третьей, последней части, отчего-то с середины, абы писалось!

И расписался! Композицию потом перестроил. Вдруг пошло-поехало, давно вплотную-то не работал. Все три части романа будут разны по композиции и даже по стилю, но третья, последняя, под названием «Веселый солдат» идет от первого лица, напрямую, с отступлениями и размышлениями, подобными тем, что в «Царь-рыбе», и это дает мне возможность один на один поговорить с читателем о том, что же это было? Какую жизнь и как мы прожили?

Израбатывался сильно, научился сам себе мерить давление и маленько регулировать его, стараюсь особо никого в дом не пускать, хотя это мало и удавалось, ничего, кроме деловых писем я не писал и даже черновик, как это у нас принято, Марии не читал.

А там и распогодилось! С середины августа сделалось теплее, светлее, но я уж к той поре дошел до ручки. Надо было сделать хоть маленький перерыв. На несколько дней я съездил на Малый Абакан, затем на водохранилище (читай — водогноилице) и снова за стол, но сил уже маловато. Мы с М. С. выбрались в Читку по приглашению на «Читинскую осень», проводимую с памятного тебе 1965 года. Но там было дождливо <нрзб>, и мы, не доведя «осень» до конца, вернулись в Овсянку.

Перерыв был кстати, я <нрзб> меня на рукопись и к концу октября сделал-таки черновик половины третьей части, а это 800 страниц моих и примерно 500 на машинке. Работнул!

Книга идет предельно серьезная, местами уже готовая. Марья Семёновна собралась в тур. поездку по Финляндии, и я решил где-то спрятаться от людей, от телефона и от рукописи, и еще сказали, что лучше всего это сделать в Белокурихе, и правильно сказали — такой глухой дыры сейчас уже трудно сыскать и в Сибири. Мечтал я подлечить ноги, сердчишко, гипертонию, но, как всегда, после большой работы, мало чего соображал, не испросил путевку и приехал «просто так», а «просто так» может ездить лишь начальство и «полезные» люди. Однако комнатку мне дали, на питанье поставили, велели бегать много и долго, чтоб «оформиться на лечение» и чего-то там где-то доплатить «со скидкой как инвалиду войны», а я говорю: «От себя же заплачу, чтобы только не бегать, не добиваться скидок, которых мне никто и никогда не делал, а хочу лишь одного: забыться и заснуть»...



Такую возможность мне дали, и я вот несколько дней сплю без просыпа в этой тихой благодати. Никто меня здесь не знает и «не узнает» (на телевизоре-то я исторчал давно) и я никого не знаю, хожу себе и выплевываю из бронхов всякую гадость и хлопотать насчет лечения не буду, а посплю здесь числа до 25-го и рвану в Барнаул, чтоб повидаться с семьей погибшего на войне друга и оттуда домой.

К этой поре Мария моя вернется и зима, глядишь, к нам будет милостива, а к весне уедем на Урал навестить могилу дочки и родителей Мани, затем к фронтовым друзьям и на 1-е мая к детям и внукам — это и будет «мой юбилей», а слушать казенные, хвалебные слова, загонять единственного крепостного и дворового человека в гроб, мою Марию, даже во имя юбилея, не стоит, ибо я все чаще и чаще на старости лет повторяю <нрзб> слова: «Такую бабу не отдам никому, такая баба нужна самому!»

Вот-с, такие дела!

25-го, в Доме кино в Москве идет фильм-премьера «Дважды рожденный» по моему и Жени Федоровского сценарию; в конце года по телевизору пойдет фильм по моему рассказу «Тревожный сон» («Ненаглядный мой»), и это вот вроде бы будет серьезно, но поглядим, а так боюсь и смотреть.

Читал ли ты Дальтона Трамбо в «Сибирских огнях» [1]? Моя работа! И она мне перед богом зачтется, и еще я подготовил «Письма с войны» убиенных на войне и умерших красноярцев в «Енисей» и тоже светлое дело сделал, и еще написал штук 20 новых «Затесей» и охота еще напечатать рассказы для ребятшек — накопилось «на природе» штук десять, да сил нету. Буду копить.

Маня успела напечатать на машинке лишь 300 страниц рукописи. Пока печатает остальное, пока читаю, делаю первую правку, глядишь, и зима пройдет, а там и весна, лето, и я возьмусь, бог даст, за вторую часть «Солдата». Пожелайте мне мужества и сил!

А я Вам желаю доброго здоровья, благополучия у детей и внуков и обоих, с Фаиной Васильевной, сильно обнимаю и целую. Ваш Виктор.

1. Трамбо Д. Джонни получил винтовку // Сибирские огни. — 1983. — № 9.

\* \* \*

6.XII.1983 г.  
Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Меня очень обрадовало твое письмо, теперь я имею, пожалуй, полное представление о твоём житье-бытье, а то ходят разные слухи... Ну, да о них потом. А сейчас о главном: ты даже не представляешь, как я рад, что рукопись твоего романа, пусть в черновике, уже реальность и целых 500 стр.! Теперь дай бог тебе здоровья для завершения работы. Свое шестидесятилетие ты встречаешь достойно — это ли не радость! В том, что «книга идет предельно серьезная», я не сомневаюсь.



Думал ли ты о журнале, в котором пойдет твое новое произведение? Не давай в «Сиб. огни», они уже «забодали» твои рассказы, забодали по-глупому, отдав их на предварительную цензуру в... Обком. Чего же они хотели? Чтобы Обком взял на себя ответственность? А зачем это Обкому — и судьба рассказов была решена. Судя по перечисленным работам, ты и в самом деле «работнул», многое мне пока недоступно, а роман Дальтона Трамбо я прочитал залпом. Вот это истинно антивоенный роман, потрясающий, выматывающий все жилы! Каким образом ты имел к нему отношение? Но какое бы ты к нему ни имел отношение, твоя работа «зачтется тебе перед богом» — безусловно. Роман гвоздем вбивается в мозг, и нестерпимая боль от него теперь уже неуничтожима.

Потрясла меня история тети Апрони. Страшная, жуткая вещь — одиночество, от него одно спасение — бегство в небытие, так нередко поступали люди, заключенные в одиночные камеры, а тут — «она даже не завязала веревку наверху...». Читать это я не мог без накипевших слез. Старость и к нам подступает (мне сегодня ровно 69 стукнуло), и неизвестно, как и чем она к нам обернется, да уже и «оборачивается» не очень веселыми событиями. Не удивляйся, что я вдруг заговорил и о себе — смерть каждого мы невольно примеряем к самим себе, это неизбежно.

Надеюсь, что в Белокурихе ты и отдохнул и подлечился; во всяком случае, в тишине — она нам очень нужна — набрался душевных сил, чтоб работать. Лично я нахожу в «делах праведных» отдохновение от разных бед и повседневной сутолоки; ну, куда ни сунешься, обязательно натыкаешься то на очередную глупость, то на равнодушие. Вот стараешься по-реже выходить «на люди».

Только что приехал и сразу услышал, что тебя будто бы «выживают из Красноярска», что ты будто бы в Томске выступил «в защиту Солженицына»; у меня же хотят найти подтверждение этому; мне об этом говорят так: «Вы, конечно, знаете...» Я плюю и отвечаю, что, конечно, ничего не знаю, а сплетни не распространяю. Надо же людям всюду совать свой нос!

Если у тебя есть какой-нибудь, хоть четвертый экз. новых «Затесей», — пришли. Буду читать и хранить. Шутка в деле — 20 новых «затесей». Если бы они у меня были, может, что-нибудь сумел использовать в своей о них статье. (Я к ним еще раз буду возвращаться.) И «Енисей» с письмом пришли.

У меня пока дело складывается более или менее хорошо: свой юбилей в 1984 г. «отмечаю» двумя книгами — «Вяч. Шишков» в изд-ве «Худож. лит-ра» и «Верность» в Новосибирске, каковая ну буквально сегодня отправляется в производство, а «Шишков» уже в корректуре, два дня назад вернул изд-ву сверку. Тщательно они издадут, и это радует.

В последнее время прихварываю, но чаще когда дома, а вот в поездке — а был я в Бежецке, Калинин, в Малеевке и Ленинграде и, разумеется, в Москве — ни один черт меня не брал. Еще что ль куда-нибудь двинуться?!

Марии Семёновне наш общий поклон. Тебя обнимаю и желаю успеха в главном твоём деле. Твой Н. Яновский.

*(Продолжение следует.)*

## **«О ВЕЛИКОМ И МОГУЧЕМ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»**

*Выступления участников «круглого стола»*

*«Круглый стол» под названием «О великом и могучем замолвите слово» был проведен в рамках традиционного литературного фестиваля «Белое пятно», прошедшего в конце 2015 г. в Новосибирске. Дискуссия была организована Новосибирской государственной областной научной библиотекой, Новосибирским отделением Союза писателей России и журналом «Сибирские огни». Выступления ее участников мы представляем вниманию наших читателей.*

*Редакция*

**Михаил Щукин, главный редактор журнала «Сибирские огни»:**

— Сразу признаюсь: было некое опасение, когда мы готовили этот «круглый стол», — а нуждается ли русский язык в защите? Мнения высказывались разные. И я рассчитываю, что, опубликовав материалы «круглого стола», мы откроем в дальнейшем дискуссию о современном состоянии русского языка. Мы хотим, чтобы в этой дискуссии участвовали не только писатели, но и учителя, библиотекари да и просто читающие и думающие люди. Мнение людей на эту тему, мне кажется, сегодня просто необходимо знать. Да, существует Совет при президенте по русскому языку, но я лично не видел никаких результатов деятельности этого Совета.

Еще один вопрос, который меня волнует, — язык нашей художественной литературы, язык нашей прозы. Необходимо поразмыслить и над этим. Также появился еще и всем хорошо известный господин Интернет. Что он принес для языка, что он принес для образования? Об этом тоже стоит подумать. Стоит подумать вот почему — конечно, мы не перевернем мир, и не ожидаю я, что от нашей дискуссии что-то кардинально изменится, но все же, как известно, капля камень точит...

**Светлана Гусенкова, преподаватель русского языка и литературы:**

— Я полностью согласна с Михаилом Николаевичем: проблема утраты выразительности речи, утраты внимания к слову сегодня актуальна. И это связано не только с тем, что наши дети (да и взрослые!) говорить стали меньше — мы сейчас больше общаемся при помощи письменной речи и в нашей электронной переписке, в эсэмэс-переписке мы начинаем использовать символы, которые заменяют слово. А как только мы начинаем заменять слово — очень многое из языка уходит, и прежде всего исчезает выразительность слова, которая очень важна. Сейчас практически невозможно в обычной речи услышать пословицы, а это ведь огромный пласт речи. И многие уже не знают самых элементарных фразеологизмов, которые нам с вами хорошо знакомы. Например, «белые мухи» — дети уже и не знают, что это, оказывается, снег. А ведь это образность языка!

Я за то, чтобы больше было живого общения между людьми разных поколений. Мы, учителя, всегда призываем к общению между родителями и детьми, ну и, конечно, между сверстниками. Живого общения не хватает, потому что мы все перевели на какие-то тестовые варианты заданий. И хочется, чтобы взрослые почаще обращали внимание, как мы говорим, что мы говорим и как ребенок все это слышит. Вспомните слова И. А. Гончарова в романе «Обломов»: «...а ребенок наблюдал и запоминал, а ребенок слушал и наблюдал». Получается, что часто мы сами формируем такое невнимательное отношение к языку. Хотелось бы обратить внимание, что и сами дети отмечают: язык очень изменился, и изменился в худшую сторону. Молодое поколение употребляет большое количество слов, пришедших из Интернета. Если вы внимательно слушаете молодых ребят, беседующих меж собой, — я вот, например, их просто иногда не понимаю. Такое чувство, что они говорят на каком-то инопланетном языке. Понятно, когда это игра, но когда речь идет о реальности и на другом языке они говорить не могут — это очень тревожно. И это не только на уроках — это в жизни, в живой речи проявляется. Как с этим бороться — не знаю... Но как-то нужно. В первую очередь, конечно, от нас с вами многое зависит: как мы говорим, что мы говорим и как мы думаем. А потом уже — как думают и говорят наши дети.

**Анатолий Омельчук, писатель:**

— Я думаю, у русского языка проблем никаких нет. Вернее, у него есть одна проблема, но это проблема с нами, с носителями великого русского языка. Мы с вами дискутируем об убогой, бедной, грязной речи или о проблемах русского языка? Это «две большие разницы». Вот я, например, считаю, что русский язык гениален. У него судьба гениального языка со всеми вытекающими отсюда последствиями. Русский язык переживет всех нас, он существует очень давно, трансформируется, обогащается, иногда обедняется, но это живой организм, он живет. Поэтому давайте точнее определимся с темой: если мы будем дискутировать о грязной, невыразительной речи, о бедности словарного запаса наших современников — это одно, а о проблемах русского языка — это совершенно другое.

**Михаил Щукин, главный редактор журнала «Сибирские огни»:**

— Действительно, язык великий и могучий, он перетрет все. Я готов согласиться с этой точкой зрения, но, к сожалению, действительность начинает убеждать в обратном. Я приведу один пример: выступаем в сельской библиотеке. И молодые люди, которые пришли на встречу, сидят, широко открыв глаза... Я-то боялся, что они достанут телефоны, начнут разговаривать и прочее, но... Один только товарищ на задней парте честно лег, положил портфель и уснул. А остальные сидели с широко раскрытыми глазами! Оказалось, что дети впервые слышат, как взрослые люди читают стихи. Они были этим поражены. Поэтому я согласен, что русский язык сам по себе не нуждается в защите, но, может быть, мы должны способствовать постижению величия русского языка?

**Сергей Алексеев, писатель:**

— Защищать русский язык нужно, но защита не в том, чтобы мы сейчас начали быстро обогащать свой словарный запас, говорить правильно слова. Защита — в изучении русского языка. Нам нужно изменить изучение русского языка, систему преподавания русского языка. Нам нужно, чтобы дети, выходя на улицу, не обращали внимания на иностранные вывески — и эти вывески исчезнут.

Если сегодня в обществе начинают говорить о языке, значит, нация просыпается, значит, мы не просто налогоплательщики — мы становимся народом, если начинаем задумываться о самой главной культурной ценности. А самая главная культурная ценность — это наш язык. Нет ничего выше и главнее языка во всей культурной деятельности человека, нет ничего важнее. А мы упускаем самое главное — мы перестаем ценить язык, мы перестаем относиться к нему как к великой ценности.

Надо менять систему образования. Я рассматриваю язык как образовательный инструмент. Я часто привожу такой пример: ребенок, совершенно неразумное дитя, за 2—3 года овладевает языком. И, соответственно, овладевает всеми первичными знаниями о мире и мироздании. Все это получает ребенок через язык! Потом 11 лет мы долбим этого ребенка несчастного в школе, еще 5 лет в институте, и он едва-едва овладевает одной какой-нибудь наукой, и то на достаточно низком уровне...

А если мы возвратим образовательность языка, он не будет требовать защиты нашей — мы через язык начнем понимать мир. То есть проблема вся вокруг языка связана с его изучением, с его постижением. И в этом смысле великая роль ложится на писателя.

Что такое писатель и что такое филолог? Вот есть плотники. Плотник строит дом. У него образование может быть полтора класса, но он великолепно держит в руках топор, умеет укладывать бревна так, что лезвие ножа не подсунешь, он делает все руками, делает все время. И есть еще архитекторы, которые знают, как надо построить дом, но... Вот и филологи — они знают, как надо писать, но писать не умеют. А есть еще критики — эти вообще, так сказать, могут только разобрать дом по бревнышку, а собрать сами уже не смогут. Итак, основным действующим лицом оказывается человек творческий, пишущий. А у нас сегодня сложилась ситуация, когда филолог и критик пытаются научить писателя, как работать со словом.

А что такое сегодня литературный язык? Зайдите в любой крупный книжный магазин, посмотрите, что там продают. Да, где-то стоят хорошие переиздания классики, но все это в уголках. А сразу бросается в глаза — как будто, знаете, шальной ветер гонит мусор, — бросается в глаза детективщина, литература домохозяек...

Так вот, на нас, писателей, возлагается великая ответственность за сохранение языка, за хороший литературный язык. Хороший литературный язык вернет вкус к литературе, язык вернет нас ко всей духовности через книгу. Поэтому я считаю, что охранять язык — это изучать язык.

#### **Владимир Берязев, поэт, собкор «Литературной газеты» по СФО:**

— Если вспомнить «Плач Ярославны», «Слово о полку Игореве», — понимаешь, какое сокровище то, о чем говорит Алексеев. Просто его надо ценить, пропагандировать на каждом углу, надо его лелеять, хранить. И система образования, вся мощь медийного образовательного механизма должна быть этому посвящена. Недавно пришлось услышать от иностранца, когда разговор зашел о Гоголе, о его непостижимой глубине: «Вы обладаете тем, чего сами не цените». Вот об этом надо вести речь!

#### **Анатолий Омельчук, писатель:**

— Язык — культурная ценность. Но надо для себя определить, что прилагательное, а что существительное. На мой взгляд, культура — это прилагательное

к языку, а не наоборот. Я знаю, что пишущие люди — народ гордый, но считать, что гениальный русский язык — инструмент (даже у писателя Алексеева), наоборот, не совсем точно. Это Сергей Алексеев — инструмент, и даже Евгений Попов — инструмент вечного живого русского языка. Я хотел бы, чтобы, когда мы об этом говорим, мы делали различие.

**Евгений Попов, писатель:**

— Я бы лучше о практических делах поговорил. Прекрасно сказал Сергей Алексеев, очень эмоционально и правильно. Мы имеем на практике наши масс-медиа, телевизор, выступающих власть имущих, и они несут черт знает что. Что плетут эти телевизионные ведущие, что переходит от них в различные газеты! Я уже и не говорю про «желтые» издания, где все или неправильно склоняется-спрягается, или слово употребляется в неправильном контексте. И это, к сожалению, сказывается на литературе. В первую очередь, конечно, на той, которую широко продают, — дамские романы, детективы. Там люди говорят языком, которого нигде не было и не будет, и еще и неправильно вдобавок. Я думаю вот о чем: должны быть какие-то законы — не закон о том, чтобы часы туда-сюда переводить, а закон о том, что если ты, подлец, пишешь хоть слово «шаурма», так пиши его правильно. А то к тебе придет инспектор — не пожарной охраны, а инспектор по языку! — и возьмет с тебя штраф. Тогда человек задумается. Ограничить, например, как в свое время это сделал Лужков в Москве: он запретил все надписи на английском языке. Это было чересчур, конечно, иногда это нужно, но чаще всего это просто совершенно пошлая, меццанская мода. Мода класса, который ниже среднего. И эту моду тщательно поддерживают и страшно гордятся этим, ставят латинские буквы. Мы-то взрослые, мы это переживем, потому что мы знали и другой язык и читали все-таки книги авторов, которые писали правильно и хорошо, — а здесь первая забота должна быть о детях. Я представляю, что я родился бы и увидел весь этот бред. Я бы, может, его преодолел бы, а может быть, и нет. Нужно не высокие слова говорить, но конкретные вещи предлагать. А то, действительно, что получается? Какая-нибудь мамаша, наслушавшись телевизионных кретинских дискуссий, потом так же воспитывает и своего ребенка. А уж как ее ребенок будет своих детей воспитывать — мне страшно даже представить.

**Владимир Шамов, писатель:**

— Я человек послевоенного поколения, я застал, когда в русских деревнях и в сибирских деревнях говорили по-разному — ну, чалдонские деревни: «пойдем почаевничаем»... Сейчас все говорят на одном стандартном языке. Почему я сказал, что я человек послевоенного поколения? Потому что этот народ, разговаривая по-разному, выиграл войну с этим разным русским языком. Да, влияние русского языка в мире уменьшается. Но то же происходит и с французским, и с немецким... Так вот — нам писать. Так, чтобы нас читали. Чтоб нас переводили. А просто разговоры — я боюсь, что они русскому языку ничего не добавят.

**Евгений Мартышев, поэт,  
руководитель литературного объединения «Логос»:**

— Вопрос о языке действительно серьезный, мы это видим на примере Украины — как вопрос языка может довести до большой крови. Мы разговариваем так, как мы живем. В период перестройки мы жили как полукOLONиальная страна и поэтому появились вот эти вывески, которые сейчас многих коробят, но

это реальность жизни. Конечно же, спад в красоте языка русского наблюдается, но бороться с этим бесполезно, надо чтобы мы изменяли свою жизнь. Мы же не можем, к примеру, из нашего лексикона выбросить слова «спорт», «стадион», «рекорд», «тайм», «хоккей», мы без них уже жить не можем. Мы не можем из музыки выбросить такие слова, как «крещендо». Но вспомните, когда мы запустили спутник, то во всем мире говорили: «спутник». Поэтому когда мы будем независимыми в экономике, тогда у нас исчезнут иностранные слова, мы будем по-другому жить, по-другому рассуждать и тогда вместо «Макдоналдса» появятся такие, допустим, рестораны, как «Три богатыря», «Василиса Прекрасная» или что-то в этом роде. Поэтому надо не изменять язык, не бороться с этим, а просто налаживать свою жизнь, любить свою культуру. Обязательно надо знакомить детей с лучшими произведениями, надо заставлять их читать, заучивать наизусть (и самим читать тоже), потому что в моторике нашей, хотим мы этого или нет, — откладывается все это. Это происходит незаметно, в какой-то момент вы почувствуете, что ваша речь изменяется к лучшему. И нельзя бороться за русский язык только гонясь за красотой — красота без содержания ни к чему не приведет, словесные кружева без содержания скучны. Поэтому самым важным условием сохранения русского языка является содержание, гражданская позиция, патриотизм, любовь к своей Родине.

**Анатолий Шалин, руководитель Новосибирского отделения  
Союза писателей России:**

— Проблемы русского языка в первую очередь, я считаю, связаны с проблемами русского народа. Потихоньку размывается понятие носителя русского языка. А если исчезнет носитель — то да, останется великий русский язык, но он перейдет в разряд мертвых языков, как латынь, древнегреческий, какой-нибудь шумерский. Поэтому, какими мы бы тут хорошими или плохими ни были, надо уметь этим языком пользоваться, надо стараться обучать и детей своих и как-то бороться за будущее нашей страны, которая сейчас пытается сбросить с себя колониальную зависимость от Запада. Если это будет получаться, я думаю, проблемы русского языка начнут потихоньку уходить в прошлое.

**Светлана Гусенкова, преподаватель русского языка и литературы:**

— Языковая культура формируется с детства. С двух-трех лет. Правильно? Правильно. Образовательная система — это здорово. Но дело в другом — в том, какая изначально у того же учителя, у писателя, у чиновника заложена языковая культура и культура нравственная, потому что в языке нравственная составляющая — это главная составляющая. И поэтому я была бы очень признательна, уважаемые писатели, если бы вы могли нам давать современные интересные книги, а мы бы могли с детьми работать.

**Филипп Б. Тристан, французский режиссер,  
писатель (через переводчика):**

— Это очень интересно, что вы говорили о прекрасном русском языке. И я считаю, что литература должна доставлять удовольствие и, действительно, вся красота языка должна быть отражена в наших произведениях, потому что это для детей очень-очень важно, чтобы пробудить в них интерес к чтению. Поэтому писатели, конечно, должны быть хорошими представителями этого языка. Литература существует для того, действительно, чтобы получать удовольствие. И я почувствовал, что ваши произведения очень красивые.



### **Ольга Громова, главный редактор журнала «Библиотека в школе»:**

— Все время звучат слова: «защищать», «оберегать», «сохранять». Мы от кого защищать русский язык будем? От себя? Здесь, в зале, в общем, собрались интеллигентные люди. Поэтому я сейчас не буду говорить о том, что пишут на заборах, какие у нас бывают вывески, — я буду говорить о том, что я вижу в учреждениях культуры. Давайте начнем не с того, куда нужно вкладывать деньги, а с того, что мы сами говорим, пишем. Сами. Носители этой самой культуры, которой мы так гордимся. Прихожу в одну из очень известных в стране детских библиотек. Иду мыть руки. А над краном — очень современные краны, с фотоэлементами, — так вот, над краном висит веселая картинка, хорошо нарисованная, и под ней написано: «Пуск воды осуществляется путем подноса рук к крану». После этого мы можем в детской библиотеке сколько угодно сотрясать воздух, читая детям хорошие стихи. Получается, что мы им врем! Потому что мы говорим о том, как надо беречь русский язык, какой красивый и прекрасный русский язык у наших поэтов, а потом пишем — вот это! Это как?!

### **Андрей Антипин, писатель:**

— Я бы фразу хотел напомнить: «В своей стране я словно иностранец», это Сергей Есенин, — и это вот к чему: я из деревни, развился в этой системе языковой деревенской и, смею надеяться, могу служить полнокровным носителем этой деревенской речи. Но с какой проблемой я столкнулся, когда стал писать? Многие читатели, в основном из столицы, воспринимают мои тексты как стилизацию некую, нечто намеренно архаичное... В связи с этим у меня есть рационализаторское предложение. Нужно, как мне кажется, детей не бояться отправлять к бабушкам-дедушкам в деревню. Потому что сейчас пошла традиция на каникулах ездить на море. Хорошо, наверное, но бабушки и дедушки, я думаю, научат русскому языку лучше иных писателей. А вот с молодыми дамами, с некоторыми конечно, опасно уже становится оставлять детей.

### **Вадим Иванов, писатель:**

— Когда североамериканские штаты, по-моему, их тогда было тринадцать, получили свободу от английской короны, в Англии, естественно, было нерадостное настроение. И встретились два лорда, один другому говорит: «Все, дали свободу североамериканским штатам, они организуют свое государство», на что второй лорд ответил: «Но говорить они все равно будут на английском». Понимаете, язык имеет грандиозное значение во всех сферах жизни, язык — это не просто наше прошлое или наше сокровище, наше настоящее. То, как мы говорим, — это показатель цивилизации, цивилизованности. Это средство продвижения идей на этом языке. Надо беречь язык от заимствований? Но если язык силен настолько, что может захватить огромное количество слов и трансформировать так, что они станут естественной частью этого языка, зачем бояться таких заимствований?

Бояться надо другого. Бояться надо того, что язык перестанет двигаться, а это уже происходит на нашем уровне: когда у нас было очень большое государство, одним из четырех официальных языков международной авиации был русский. Это было требованием, оно даже не обсуждалось. Русский язык был одним из главных на планете. Когда у нас было большое государство, русский язык был одним из официальных научных и одним из языков ООН, понимаете? И это тоже даже не обсуждалось. А сейчас у нас готовятся внедрить в Академии наук требования к соискателям переводить свои работы на английский язык. Понимаете? Это колониальное требование. Потому что, когда наша



интеллектуальная элита перестанет думать на русском, а будет обязана думать на английском, потому что английский — это язык международного общения, вот тогда будет действительно страшно. И тогда уже будет совсем не важно, хот-доги у нас на улице или сосиски в тесте. Однажды, в 90-х годах прошлого века европейцы потребовали от наших пилотов знать английский на уровне 4, наши взяли под козырек и сказали: да, конечно, английский, язык международного общения, на уровне 4, начали это выполнять. А вот когда европейцы попросили о том же китайцев, китайцы сказали: конечно, мы будем учить, но и вы должны будете знать китайский на 4. Требование повисло в воздухе, и все об этом тут же забыли. Вот это называется защита своего языка.

#### **Юрий Павченко, профессор:**

— Я хочу вернуть все-таки ваше внимание к проблеме защиты языка. Можно разрушить армию. Можно разрушить экономику. Можно разрушить образование. И еще что-нибудь. И все-таки это все можно потом восстановить. Но если мы допустим разрушение русского языка, — а пока что разрушение русского языка идет полным ходом, — мы не сможем его восстановить и не сможем его оживить. Язык и народ, как говорили величайшие умы, это одно и то же. А защищать язык — следовательно, защищать народ. В 90-х годах лингвистическая интервенция имела такой количественный показатель: 300 слов англоязычных в день вторгалось во все сферы человеческого существования. 300 слов ежедневно! Язык нужно защищать законодательным образом. У нас нет закона о защите языка. То, что есть, это защищает государственный язык, язык документаций, дипломатические функции, не более. Язык живой никто не защищает от осквернения, от сквернословия, грубословия, идиотизма. Язык открыт для упражнений всякого рода шизофреников от СМИ, всякого рода извращенцев, просто открыт и не защищен.

#### **Андрей Стрелков, писатель:**

— Когда академику Вернадскому один любознательный рабочий прислал анкету и там был вопросик: «Какими языками вы владеете?», Вернадский ответил: всеми языками романо-германской группы. У Александра Пушкина первым языком был, как известно, французский. Михаил Ломоносов, в молодости быстро изучавший языки, стал европейского уровня ученым. Льву Толстому всю жизнь не мешал французский язык. Такая тенденция — самоизоляции языка — это путь тупиковый. Когда наши дети будут, как дети, учившиеся в гимназиях предреволюционных, в подлиннике читать Гомера, когда будут говорить в школьном возрасте на хорошем английском, они будут открыты всем смыслам мировой культуры. Самоизоляция в области культуры, в области языка, боязнь каких-то влияний иностранных — это просто смешно. Проблема основная заключается в том, что, чем беднее становится носитель языка в культурном плане, тем беднее становится язык. К примеру, у Советского Союза было много минусов, но средний культурный уровень человека был существенно выше, чем сейчас. Мы теряем именно общекультурный уровень, поэтому язык вырождается, становится беднее. Мои основные тезисы: все классики русского языка были многоязычными, и это нужно сохранять, это нужно вводить вновь в образование с самых ранних классов, как это было в гимназиях: два мертвых языка, классических, два языка живых. И быть открытыми смыслам языковой культуры, и чем богаче и прозрачнее будут культуры других языков, тем богаче будет выражаться человек на своем родном языке.

**Светлана Тарасова, директор Новосибирской государственной  
областной научной библиотеки:**

— Наши библиотеки вместе с фондом «Родное слово» очень много сегодня делают, и в том числе именно того, о чем мы говорим. И в Новосибирске, и Бердске, и в Кольцово, и в других городах приходят люди любого возраста, чтобы изучать русский язык, восполнять те пробелы, которые есть сегодня в практике разговорного применения языка, правописания. В этом году была утверждена федеральная программа «Русский язык», семь миллиардов государство выделило, поэтому всем активно ищущим применения своих творческих сил нужно писать проекты, получать финансирование и заниматься каждому на своем месте тем, что вы должны делать, что вы хотите делать для поддержания языковой культуры. И вот еще о чем я бы хотела сказать: английский или французский — эти языки всегда были очень распространены в России среди интеллигенции, образованных людей. Для меня было удивительно узнать, что стихотворение Тютчева «Умом Россию не понять...» первоначально написано на французском языке. И большая часть стихотворений Тютчева была написана на французском.

**Михаил Щукин, главный редактор журнала «Сибирские огни»:**

— Дорогие друзья, всем, кто принял участие в нашем «круглом столе», хочу сказать большое спасибо. Прекрасно понимаю, что проблем, связанных с объявленной темой, мы здесь даже не то что не решили, мы, может быть, только подступились, но я считаю, что первый шаг сделан, а далее мы постараемся предоставить страницы «Сибирских огней» для всех заинтересованных лиц. Хотелось бы добавить по поводу заимствований. Есть две разные точки зрения: либо вообще не допускать никаких заимствований, либо не бояться, пусть они живут. Может, и есть заимствование, которое приживется и будет жить в русском языке. Но в заимствовании всегда есть одна опасность: слово меняет смысл. Вот слово — «киллер». Эмоционально не окрашено. Переводим на русский язык. «Убийца». «Душегуб». Чувствуете разницу? Та же самая «коррупция». Переводим на русский язык. «Каз-но-крад-ство». Чувствуете разницу? Меняется не слово, меняется смысл, меняется суть. И это вот действительно опасно. Кстати, про слово «коррупция». Ведь есть еще замечательные слова в русском языке: «лихоимство» и «мздоимство». «Мздоимство» — это чуть ли не статья Уголовного кодекса, когда чиновник должен всего-то поставить подпись и печать, а он с тебя требует за это мзду. То есть русское слово еще и обозначает суть предмета, суть ситуации, а замена механическая все это, и прежде всего нравственную оценку содеянного, скрывает.

Вся наша дискуссия оставила лично у меня не только благое впечатление, но и чувство тревоги. Конечно, русский язык выживет. Но будем ли мы достойными его распорядителями?



---

## Владимир СЕДЫХ

# В ЭКСПЕДИЦИИ\*

### Таежные будни

Я просидел в Берёзове, в штабе экспедиции, сдавая всякие бухгалтерские отчеты, три дня. Теперь пора лететь на участок. Там ждал меня рабочий. Я всех рассчитал и оставил одного, как мне показалось, самого надежного для завершения работ — протаксировать последние 120 км в дальнем углу участка.

Докладываю начальнику экспедиции, но при этом узнаю, что в ближайшие три дня вертолета не будет. Я было сильно расстроился, однако он меня ободрил: сентябрь только начался, время еще есть и последний заход всего лишь на 10 дней — пустяковое дело.

— Да там рабочий ждет меня, сидит один без дела!

— Тоже мне, нашел о чем беспокоиться. Сидит и пусть сидит на таборе, рыбу ловит или баню топит. Поди, браги-то нет. Давай, оставайся, и эти три дня отдохнем на охоте.

Прошло три дня. К огорчению, охота не удалась. На четвертый день утром я покинул Берёзово.

Прибываю на табор. Странно... Рабочего своего не вижу. Ну, видимо, где-то на рыбалке. Выгрузился, вертолет ушел. Только Угрюм, сидевший поодаль на краю поляны, кинулся ко мне и стал прыгать на грудь, пытаюсь лизнуть в бороду. Успокоив собаку, иду к избушке. Захожу — радостная тишина, только осенние мухи бьются о стекло. И вдруг слышу храп. На топчане под спальником храпит мой рабочий. На столе стоит трехлитровая банка с мутной жидкостью, кружка, сухари. Я все понял. Сорвал с него спальник. Он даже не пошевелился, продолжая храпеть с открытым ртом. Ну что делать? Я не стал его расталкивать. Пусть храпит. Проснется — вечером разберемся.

Я убрал банку, кружку и пошел на улицу к костру. Повесил котел с водой для чая и зашел в пристройку, где хранилось всякое барахло и продукты. Стал собираться в заход и нечаянно коснулся одного из двух сапог, висевших в дальнем углу. Мне показался странным его вес. Попытался заглянуть в него — оттуда пахло каким-то спертым смрадом, напоминающим запах давно не чистенных зубов, потных портянок и резины. Пересилив брезгливость, запустил руку в сапог — и она ушла в жидкость. Я выдернул ладонь и увидел, как серая масса крупными каплями стекает с пальцев. Мать честная, брага! Мигом сдернул второй сапог со стены. Он оказался забитым всяким тряпьем. Я стал с пристрастием оглядываться кругом. Сахара-песка нигде не было. Только на одной из полок валялся уже ополовиненный мешочек комкового сахара, приготовленного специально для захода. И тут я вспомнил, что часто делал замечания таборщице о беспричинно большом расходе сахара. Теперь я понял, что сахар со стола часто

---

\* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2016, № 3.

уходил налево — в сапог под брагу. Бичи ставили брагу в одном сапоге, а рядом чинно вешали второй. Это открытие вызвало во мне, так ловко обдуренном бичами, неслыханную ярость.

Успокоившись, я вошел в избушку и увидел, что мой рабочий еще спит. Ладно, пусть спит! Пьяного учить и наказывать — пустое дело. Я взял сапог с остатками браги и повесил его снаружи на стену пристройки. День клонился к вечеру, но я пока так и не придумал, как поступить. Я рассматривал на аэроснимках лесные объекты, которые надо было таксировать, и размышлял о том, какой дорогой до них добираться, что взять с собой, уже забыв о прошедшем.

Вдруг к вечеру дверь избушки открывается и из дверного проема вываливается мой «телохранитель» с кружкой в руках. Споткнувшись, падает на землю. Кружка вылетает из рук, он поднимается и, ослабившись, изумленно произносит:

— Начальник, привет. Ты уже здесь? А где моя брага?

— Слушай сюда, м...ла, садись к костру. Я сейчас скажу, где твое пойло.

Я быстро снял с гвоздя сапог и, отойдя в сторонку, стал выливать зеленую жидкость. Разъяренный помощник подлетел ко мне, выхватил сапог и утащил его подальше. Сев на землю, стал вычерпывать остатки месива и отправлять в рот. Такой омерзительной физиономии я никогда не видел. Видимо, вылизав все, что там было, он улегся рядом с сапогом и захрапел.

И тут я решил, как поступить. Время шло к радиосеансу. Сев за рацию, я сообщил начальнику экспедиции, что увольняю рабочего, и попросил завтра же, если можно до обеда, прислать вертолет. И пояснил, в чем дело. Начальник сказал, что случившееся — обычное дело и не стоит обращать на это внимания:

— А что ты хотел? Это же бич! Проспится — и дуйте в тайгу.

— Нет, это не бич. Настоящие бичи, как Яшка Красенков или Васька Рак, которых ты знаешь, подобного никогда бы себе не позволили. Это просто обычный забуддыга из-под вокзальной скамейки. Нет, прошу прислать вертолет и забрать его, — ответил я твердо.

— А с кем ты пойдешь в тайгу? — спросил начальник.

— С Угрюмом!

— Ты что, с ума сошел?! С Угрюмом он пойдет! Ты, что ли, не бывал мертвецки пьяным, а помнишь, как куролесил...

Я прервал начальника:

— Да, я куролесил, но только не от браги и не перед заходом! Этот бомж дебаркадерный оставил всего лишь пригоршню комкового сахара. Мне этого сахара и одному на два дня не хватит. И, судя по всему, он в дупель пьяный еще и оттого, что умудрился сожрать все таблетки в аптечке. Каково!

— И все-таки я не могу тебе это разрешить. Тебе же придется одному делать работу две недели. Все может случиться. А если вывих ноги или, не дай бог, перелом, где тебя искать? — настойчиво продолжал начальник.

Совершенно не думая о последствиях, я ответил:

— В тайгу я пойду один, а если ты против, то вылетаю вместе с рабочим на базу. Все. Да, не забудь с вертолетом прислать килограмма три комкового сахара и пачек десять чая.

Я положил трубку и стал собираться в заход.

Утром пришел вертолет. С механиком мы затащили еще не отрезвевшего рабочего в салон, бросили на сиденье, я спрыгнул на землю — и вертолет ушел на базу.

## День первый

Угрюм после моего возвращения не покидал меня. Он то лежал в стороне, то крутился около, только с опаской обходил месиво, вылитое из сапога.

— Ну что, Угрюм? Мы остались вдвоем?

Угрюм повернул голову, пристально посмотрел на меня, показывая, что все понимает, потом положил голову на лапы и почтительно замер.

— Эх ты, дурак, ну что ты понимаешь? Я прогнал рабочего, и теперь кто мне будет ставить тент, готовить дрова, разводить костер, готовить ужин, валить модельные деревья, приводить в порядок добытых глухарей? — бубнил я, собирая рюкзак. — Ты? Нет, к сожалению, ты этого не можешь.

Угрюм как бы сочувственно поводит хвостом по земле и замер.

— Если бы был рабочий, мы ушли бы в заход завтра, а теперь отправляемся сегодня. Сначала на лодке пойдем по Помуту, через час-полтора прибудем на место. На берегу речки перекусим и далее будем добираться пешком к объекту. Идти километров десять, там переночуем и с завтрашнего дня приступим к таксации. Нам предстоит недели две ночевать где застанет ночь, а поэтому надо взять минимум вещей и больше продуктов, — продолжал я пояснять собаке мое положение. — Во-первых, тент от дождя мы не возьмем, потому что его должен был таскать рабочий, а я не могу, у меня и так много вещей. В случае дождя место для ночлега буду оборудовать под корнями упавших деревьев, если же их не будет, буду спать под открытым небом у *нодья*\* или у костра из сырых березовых дров.

— Вот так, Угрюм. — Я опять посмотрел на собаку и продолжил: — Тебе решать эти проблемы не придется. Бог за тебя все решил. Одел тебя навсегда в красивую белую меховую шубу, и она тебя спасает летом от дождя, зимой — от мороза, стирать и ремонтировать ее не надо. Кстати, знай, что я назвал тебя Угрюмом в честь Угрюм-реки из одноименного романа, в котором Вячеслав Шишков ярко рассказал о жизни сибирских людей.

Угрюм после этих слов поднялся, подошел ко мне, сочувственно и, как мне показалось, с благодарностью положил лапу на колено.

Мне впервые предстояло идти одному в тайгу дней на десять — двенадцать, оставляя табор без единого человека и не связываясь с Большой землей. До этого я уходил в тайгу и ночевал там максимум две-три ночи. Главное в этом заходе — не вывихнуть или не сломать ногу. Если это вдруг произойдет, тогда, считай, пропал. А вообще, протаксировать всего 120 км ходовых линий для таксатора не составляет какой-либо проблемы. Я старался не думать о плохом исходе, чтобы в душе не появилась жалость к себе и сожаление, что выгнал рабочего. Я собирал внимательно все, что необходимо иметь одному в заходе. Пришлось взять маленький котелок, спички насовал во все карманы рюкзака. Йод, бинты, нож, большую иголку и крепкие нитки, шпагаты, крючки и блесны для ловли рыбы, теплые подштанники, свитер и плащ упаковал в рюкзак и начал заряжать патроны. Зарядил пять патронов круглыми пулями на зверя и штук тридцать дробью «тройка» — для птицы.

Помня правило, что идешь в тайгу на день — продуктов бери на неделю, прежде всего я отложил десять пачек индийского чая второго сорта иркутского развеса, два килограмма колотого сахара, присланного начальником, три килограмма сухарей, три килограмма пшеницы, килограммовый шмат сала и литр топле-

\* *Нодья* — конструкция из бревен, позволяющая сохранять ровный огонь в течение нескольких часов без подбрасывания дров.

ного масла, килограмм лапши. Конечно, этого мало, но я был уверен: в заходе будет мясо и рыба. Главное, чтобы хватило чаю и сахару, а остальное все ерунда.

Общий груз, который будет на мне вместе с ружьем, зарядами, топором, составит не менее двадцати пяти килограммов. Аэроснимки я положил в папку с журналами таксации, упаковав ее в рюкзак ближе к спине. Все остальные, связав в пачку, я также уложил в рюкзак. Их нельзя было оставлять на таборе. Мало ли что может случиться, пока нас нет. Ненароком они пропадут, и тогда все полевые работы насмарку, а за потерю снимков — тюрьма. Нет, пусть еще килограмм груза, зато мне спокойнее.

— Угрюм, ну что развалился у костра? Сейчас попьем чай и отправимся в тайгу. На тебе два сухаря, остаток лапши, и вперед. Последняя кружка — и садимся в лодку.

Допив чай, заправив фуфайку под клапан рюкзака, я перетащил груз в лодку. Бачок заправлен и две канистры бензина на месте.

Угрюм с радостью устроился впереди на бардачке.

По реке я шел осторожно, боясь натолкнуться на топляки. Как и предполагал, часа через полтора пристал к берегу.

Тайга никогда пустой не бывает. Ты ощущаешь тысячи глаз, смотрящих на тебя со всех сторон. Крик сойки или кедровки, стоны и кряхтение деревьев напоминают тебе, что тайга живая и следит за тобой.

Угрюм где-то шнырял, часто выбегая впереди на тропу, чтобы убедиться, что я иду вслед. Удостоверившись, что я никуда не сворачиваю, он опять на десять — двадцать минут пропадал.

На полпути слышу лай. Но, слава богу, Угрюм лает впереди, чуть сбоку от тропы, и не придется сбиваться с дороги. Я умерил шаг и уже крадучись пошел к собаке, осматривая вершины сосен. Увидел копылуху и радостно лающего на нее Угрюма. Птица как раз к ужину, и я с удовольствием снял ее с дерева. Угрюм тотчас схватил бьющуюся добычу. Я подбежал, выхватил копылуху. Я уже давно приучил Угрюма получать лапку птицы за работу, и он, поняв, что сейчас я его отблагодарю, лег и стал освобождаться от перьев на морде. Отрубив лапку, я сказал:

— Угрюм, извини. Я не могу ее опалить сейчас. Некогда. Но лапку съешь всю, я подожду.

На таборе, пока меня не было, он ел только кашу и сейчас глухарятину уpletал с хрустом. Пусть поест как следует, чтобы остаток дня сытый бежал поближе ко мне и не отвлекался.

Через три часа я остановился на высоком сухом месте на берегу старицы с хорошим обзором. Не садясь и не закуривая, я развел костер, поставил таган и повесил котелок с водой. Угрюм, свернувшись калачиком, улегся метрах в пятнадцати от костра, положив морду на хвост.

— Вот, Угрюм, ты разлегся, и тебе неизвестно, что мне надо делать ночлег, заготовки дрова для костра, готовить глухаря, а тебе хоть бы хны, разлегся и ждешь, когда разделаю птицу.

Я встал, взял топор и подошел к упавшему кедру. Топором увеличил выемку. Потом натащил сухих крупных веток, настелил из них толстое покрытие в качестве матраса и сверху покрыл эту постель лапником сосны. В изголовье положил рюкзак, а на постель кинул фуфайку. Потом взял топор и пошел рубить ближайшую сухостойную сосну на дрова.

Из сосны получилось несколько бревен, которых хватит на ночь. Стал прикидывать, что делать с глухарем. Большого котла нет, остается только поджа-





**Угрюм, истосковавшись по тайге, сразу же приступил к своему профессиональному делу — добывать дичь на ужин**

рить его на деревянных шампурах. Я снял с птицы шкуру и бросил ее с перьями в костер. Угрюм встрепенулся, встал и стал наблюдать, как свертывались и сгорали перья. Видимо, чтобы я не забыл его, он подошел и сел рядом.

— Ну, Угрюм, настал твой черед, тебе будет праздник сегодня. Вот тебе печень, вот тебе сердце, вот тебе желудок, голова, шея, крылья, — отрубая их, я кидал Угрюму подальше от костра.

Он бросился к ним. Себе я оставил одну ногу и грудку. Я посильнее разжег костер и дал прогореть. Нанизанные на шампуры кусочки мяса я окунал в крепкий рассол и устраивал их над углями.

Через полчаса мясо было готово. Я вскипятил чай, убрал таган и на костер положил несколько бревен. Потом сделал вешала для портянок. Снял сапоги, очень мокрые портянки повесил сушиться, а сам сел рядом с постелью на одно из бревен и стал наслаждаться жареным мясом, запивая его крепким индийским чаем.

Потом долго сидел, курил и застывшим взглядом смотрел на пламя костра, обволакивающее бревно. В голову невольно полезли мысли, которые, в общем-то, и не покидали меня. Ну зачем я сгоряча уволил рабочего?! Всего только один день прошел без него, а мне еще десять дней придется быть в тайге одному и делать свою работу и работу бича. Я начинал сожалеть о своем опрометчивом решении. Ну что делать рабочему одному на таборе? Я улетел, меня нет неделю. Есть сахар, у него, видно, всегда были дрожжи. Ну поставил брагу, ну не дождался, когда она поспеет, стал пробовать и напробовався, а остановить неко-





**Впереди стояла угрюмая тайга**

му — красота! Но он же все-таки ждал меня, чтобы идти в тайгу, он единственный согласился, за совсем маленькие деньги.

А в таком заходе одному быть не только тоскливо, но и опасно. Работа вдалеке от табора, без рации, что случится — никто не найдет меня, хоть и объявит начальник тотальные поиски пропавшего.

Побрызжав еще какое-то время, я положил второе бревно в костер, лег на постель спиной к огню, накрывшись плащом. Вскоро я заснул и проснулся часа в три ночи, когда ступни ног стали замерзать, несмотря на шерстяные носки. Шел небольшой снег, кругом уже было все бело. Но этого следовало ожидать в это время года на 63-й широте. Костер прогорал. Я поднялся, поправил костер, бросил в него еще два бревна. Угрюм продолжал лежать под сосной, не подняв даже головы. А зачем? Кругом тишина, бело, никто не беспокоит.

### **День второй**

Проснулся я около шести часов, опять подмерзли ступни. Но это было кстати, пора вставать и готовить завтрак.

Я сварил полный котелок лапши, заправил топленым маслом. Угрюм поднялся раньше меня и лежал неподалеку от костра, дожидаясь, когда я поделюсь с ним завтраком. Съев половину котелка, всю остальную лапшу я остудил, выскреб и вывалил на мох перед Угрюмом, приговаривая:

— Ты вчера слопал больше половины копылухи, сейчас полкотелка лапши, потом я тебе дам кость от грудинки, но запомни при этом: я тебе запрещаю лаять на глухарей до четырех часов дня.

После трех кружек чая я был готов идти работать.

Таксационное описание лесов пошло своим ходом. Я все больше удалялся от табора и уже к двум часам дня описал двадцать пять выделов на ходовой линии длиной восемь километров. Далее мне предстояло провести таксацию лесов на участках, где не было просек и визиров и границы кварталов проходили по естественным рубежам — по речкам и ручьям. В связи с этим мне придется ночевать там, где застанет ночь, и вести таксацию не снимая рюкзака. Если бы были промеренные просеки и визиры, то можно было бы работать с временных таборов, возвращаясь после дневной работы на обжитое место.

Снег к вечеру весь растаял, опять кругом стало серо и сыро. По пути мы с Угрюмом добыли двух молодых глухарей.

Вскоре я закончил работу и начал присматривать место под ночлег. Опять нашел большой выворот упавшей сосны и точно так же, как и вчера, стал устраиваться. Чтобы Угрюму не мешал мне, я отрубил две глухаринные лапы, опалил их и подарил собаке. Он утащил их к месту, которое выбрал для ночлега, и с удовольствием стал хрустеть на зависть мне.

Я устроил постель в выемке около корней упавшей сосны и приступил к глухарям. Наготовил мяса для Угрюма и на вечер, и на утро. И все положил рядом с ним, предоставив ему самому решать, когда его съесть. Главное, что он будет с утра сыт и не будет отвлекать меня от работы. На этот раз я решил сделать больше копченого мяса, чтобы завтра мне его хватило на весь день. Накопив углей, я прекратил подкладывать дрова. С двух сторон костра я установил по два кола. Положил на них перекладыны из двух вешек и на них уложил тонкие ровные отрезки — вешала. Потом, срезав мясо с ног и грудок, нарезал куски раздвоенными ремнями и окунул в крутой рассол, а затем развесил над углями. Чтобы ускорить копчение, я начал подкладывать сухие сучки на угли, чтобы вызвать невысокое пламя по всей поверхности углей. Вечер был впереди длинный, я уселся у костра и стал спокойно наблюдать за огнем, попивая чай с сахаром и сухарями. Через два часа мясо было готово, и я с удовольствием им поужинал. Потом развел настоящий костер и навалил в него бревна.

Наступила обычная тихая таежная ночь, кстати, после снега не холодная. Вскоре я заснул. Вдруг слышу сквозь сон буквально захлебывающийся лай Угрюма. Как будто магнитным крюком подхваченный, я вскочил, сунул ноги в сапоги и схватил ружье, лежавшее рядом со мной. В правом стволе у меня для ночи всегда был патрон с пулей, в левом — патрон с дробью. Автоматически взвел курки и выскочил из своего логова на лай Угрюма. Он рванулся в темноту, а потом вдруг с рычанием подлетел ко мне. За ним мелькнула серая тень и, круто развернувшись, пропала. Я выстрелил дробью в то место, куда метнулась тень, и быстро вернулся к костру. В костер бросил сучьев, чтобы больше разгорелось пламя, досадуя, что какой-то волк прервал мой сон. Угрюму опять бросился в темноту и оттуда с рыком вернулся назад. Опять шаркнуло серое пятно на границе света и тени, я выстрелил дробью в ту сторону. Пули я не стал тратить. Да и не убить волка в темноте, если только случайно. А дрови достаточно, чтобы отпугнуть волка. Он еще попытается схватить собаку как добычу, но яркий костер и выстрелы его утихомирят. Действительно, еще раза три волк пытался выманить Угрюма из света, но Угрюму был хитрее. Я еще раз выстрелил «тройкой», а потом все прекратилось.

Было уже четыре часа ночи. Я снял сапоги и улегся на постель. Интересно, что Угрюм не пошел на свое место, а устроился рядом со мной, спрятавшись за выворот корня. Я удивился его неожиданному решению, и вскоре мы заснули.

### День третий

Лес начал меняться, и мне приходилось более часто описывать его и определять высоту и возраст деревьев. Появились низинные болота с мелкими ручьями и пятнами небольших озер, которые приходилось обходить, теряя на этом время. Пошли смешанные массивы леса с елью, кедром, березой, осиной, приуроченные к ручьям, и надо было задерживаться при их таксационном описании. Пришлось даже срубить три модели — кедра, березы и ели, определить по годичным кольцам их возраст, замерить высоты и все это занести в журнал таксации. Чаще, чем вчера, возникала необходимость закладывать круговые площадки и полнотомером определять полноту древостоев и их запас.

Работа продвигалась медленнее, чем вчера, но это была все-таки обычная работа, ее не ускоришь никак.

Было уже около четырех дня. Впереди еще часа два работы, а потом опять готовиться к ночи. Чтобы попасть в следующий выдел, надо было пройти болото шириной метров сорок. Ну болото и болото. Увязая во мху и чавкая водой, я «хантейским шагом» (наклоняясь вперед) стал пересекать его. Но ближе к середине болото стало более топким, и вдруг передо мной поперек хода оказался ручей шириной метр-полтора, текущий в торфяной залежи. Я этому препятствию не придавал особого значения и не подумал даже вернуться к лесу, чтобы там срубить пару жердей. Я стал высматривать узкое место с более-менее твердым берегом, заросшим осокой. И вот оно, нашел. Угрюм уже был на том берегу и побежал по своим делам в лес. На поверхности ручья не было никакой растительности. Это говорило о том, что он в этом месте глубокий. Не дай бог, если тот берег не выдержит. Я снял рюкзак, приноровился и перебросил на тот берег. Туда же я бросил топор и ружье. У меня на груди оставался только фотоаппарат «Искра». Я примерился и прыгнул. И тут кусок берега стал отламываться и пошел вниз вместе со мной. Я очутился по грудь в воде, держась за осоку. Дна ногами не достал. Дотянувшись до необрушившегося берега, весь мокрый с ног до головы, я вылез на него. Сидел и соображал, что теперь делать. Угрюм, не дождавшись меня в лесу, вернулся, с недоумением обнюхал рюкзак, ружье, топор, фотоаппарат, посмотрел на меня, потом подошел и лизнул в щечку. «Неужели, стервец, сообразил, что со мной что-то произошло, подошел пожалеть меня?» Я обнял его, погладил и сказал:

— Вот видишь, что может случиться по дурусти, лени и самонадеянности. Надо было сначала осмотреть ручей, срубить пару жердей и положить поперек в самом узком месте, а потом спокойно переходить, — нравоучительно рассказывал я своему немому слушателю, — и этого бы не произошло. — С досадой и злостью я обругал себя матерными словами. — Ну что ж, пошли сушиться и ночевать.

Собрав вещи, я поплелся на сухой берег. Нашел место для ночевки. Осторожно раскрыл фотоаппарат и вылил из него воду. День стоял солнечный. Я нашел освещенную валежину, положил его сушиться. И понял, что он не подлежит ремонту. Ну, высохнет. Пока я в заходе, все металлические детали заржавеют, а складывающуюся гармошку уже не восстановить. Фотоаппарат был дорогой, и мне было его очень и очень жалко.

Потом я развел костер, сделал вешала для сушки тряпок и догола разделся. Выжал всю одежду и развесил ее вокруг костра. Угрюм лежал неподалеку и наблюдал за голым хозяином, которого никогда не видал раньше в таком виде. В течение часа я высушил все, потом нашел выворот кедра. Выемка была просторной, стенка из корней свешивалась над ней в виде крыши. До темноты еще была куча времени, и я решил попытаться поймать с пяток окуней или хотя бы одну щуку на озере.

Но прежде я наварил пшенной каши, и мы с удовольствием съели ее. Потом из тонкой березы сделал удилице метра в три длиной, привязал леску с небольшой блесной и отправился на озеро. Ветра не было. При подходе поднялась стайка уток. Угрюм даже не обратил на них внимания. Я тоже. Уток мне стрелять не хотелось. Котелок для их варева был маленький, а шашлык был бы вкусный, но готовить его желания не было. Я подошел к торфяному берегу с низкорослой сосной и стал внимательно смотреть в воду. Проплыл один окунь, второй, третий, и я стал водить блесну под водой. Не сходя с места поймал пять штук окуней и одну небольшую щуку. Угрюм где-то недалеко лазил в осоке, потом ему это надоело. Видя, что глухарей ему здесь не поднять, он вернулся ко мне и с любопытством стал наблюдать, как я вытаскиваю трепыхающихся окуней.

Нанизав рыбу на кукан, мы вернулись к костру. Прикинув, что вся рыба поместится в мой котелок, я стал готовить «хантейскую уху». Помыл окуней и их жабры, разрезал со спины до пузыря и кинул в кипящую воду. Щуку распотрошил, нарезал и так же с чешуей кинул в воду, после того как вытащил окуней. Вода в котле снова закипела, и через двадцать минут уха была готова. Я разложил окуней и куски щуки на мох, вытащил сухари и приступил к еде. Воды в котле было немного, и уха получилась крутой и вкусной. Я обирал мясо с окуней и отправлял в рот, запивая ухой. Угрюм, наблюдавший мое пиршество, поднялся, потянулся и сел, хлопая хвостом по мху. Я собрал все оставшееся и отдал Угрюму. Мне кажется, он с большим удовольствием ел рыбу, чем глухарей. Да это и понятно. На таборе он питался в основном рыбой, и сейчас для него это был праздник.

Уже начало смеркаться. Возвращаясь с рыбалки, я заметил на опушке леса кустики с голубикой и решил набрать ее к чаю. На горизонте появились серые тучи, которые постепенно заволакивали небосклон. Вот те на! А вдруг погода испортится и пойдет дождь, а вдруг прилетит заряд снега? Ну, что делать. Осень есть осень. Я набрал голубики и сел пить чай с размятыми ягодами. После такого пира настроение у меня было великолепное, и я сказал Угрюму:

— Пойдет дождь или снег — что-нибудь придумаем, а сейчас давай наслаждаться индийским чаем с таежной ягодой.

Я сидел у костра. В голову, несмотря на хорошее настроение, полезли всякие худые мысли: на хрена я здесь, в этой тайге, и на хрена нужны наши работы? Результаты обследования лесов, удаленных от населенных пунктов на 200—300 км. Придет ли сюда когда-нибудь человек и будет ли осваивать эти леса?

В каждом выделе (лесном массиве) по инструкции мне надо определить состав лесных пород и долю их участия в сложении древостоя, возраст древостоев, среднюю высоту и средний диаметр древостоев, полноту, запас древесины, товарность, тип леса, бонитет, состав и возраст подроста, его численность и среднюю высоту, состав подлеска и его сомкнутость, видовой состав травяного и мохового покрова и его обилие, механический состав почвы, рельеф, отметить особенности строения и его развитие, предложить хозяйствен-

ные рекомендации — итого около двадцати показателей. На одном километре я выделяю и описываю 4—5 лесных массивов, а должен провести таксацию за один этот заход на 120 километрах, из чего следует, что мне необходимо описать 500—600 лесных массивов и в них определить 10—12 тысяч параметров леса. Так кому нужна эта моя информация, которую я получаю рискуя жизнью? Кому? Утром, когда я обращался к нему с этим вопросом, водил хвостом по мху, честно показывая тем самым: «Никому». Но меня в этом случае все-таки утешали высказывания декана лесного факультета, выдающегося ученого Сергея Сергеевича Пятницкого — он часто повторял: «Запомните, коллеги, навсегда, что результатами вашего труда в лесу в полной мере воспользуются только потомки, и вы должны с радостью заниматься только процессом создания этих результатов». Конечно, он имел в виду тех, кто восстанавливает леса и ухаживает за ними, а не таксаторов. Но моими результатами потомки, видимо, также не скоро воспользуются.

Утром, судя по всему, было наплевать на мое настроение. Он у себя дома, в лесу, шкура у него хорошая, рыбы вареной наелся. Вместо того чтобы подложить дров в костер и спать, я стал рассуждать дальше. Да, если б не свалился в воду, сегодня я протаксировал бы километров двенадцать и был бы доволен собой. Сам виноват. Надо было вернуться, срубить три жерди, положить их и перейти этот паршивый ручей. А зачем из-за какой-то браги выгнал рабочего, который терпеливо ждал твоего приезда и от нечего делать хлебал зелье? Ну и что, отоспался бы, и сейчас не было бы никаких проблем — с ночевками, едой, моделями, ручьями. Техника безопасности создавалась прожженными таежниками. Сопровождающий в тайге по технике безопасности обязателен для таксатора, он охраняет не только тебя. Государство тратит громадные средства на приведение в известность лесов Сибири. Пропаду я — пропадет и работа, выполненная мной на площади 40 тысяч га, и опять надо организовывать людей на ее исполнение.

Так что прежде чем показывать свое сиюминутное отвращение к случившемуся, надо было хотя бы немного подумать. И не мне рассуждать о том, когда и кому пригодится эта информация о лесах, мое дело добровольно принять решение — берусь я его выполнять или не берусь, притом за вознаграждение, с которым согласен. А раз берусь, то надо выполнять его по правилам, которые придумали таежные спецы, чтобы работа не пропала. А когда эта информация будет использована, это уже не моего ума дело. Так что я сам виноват в случившемся, и надо радоваться, что все закончилось только потерей фотоаппарата.

### День четвертый

Утро выдалось серое. Солнца не было, очень прохладно. Наступила вторая половина сентября, и в эту пору солнечные дни сменяются на серые, с дождем и зарядами снега. Позавтракав с Утром остатками рыбы, собрав рюкзак, куда я положил ненужный теперь фотоаппарат, начали работу. С утра я свалил пару деревьев ели и кедра, подсчитал возраст, обмерил высоту, сделал таксационное описание массива леса, в котором ночевали. Бодро пошли дальше. Смешанные леса из кедра, ели, пихты, березы, осины сменялись болотами, и это давало возможность отдохнуть от писанины, поскольку на болотах таксировать было нечего.

Утром далеко от меня не отлучался. Ему, видимо, не хотелось бегать по мокрым местам, да и незачем было. По дороге я добыл пять рябчиков, которых





он не облаивал, но с удовольствием ел (для него я опалил двух). Мы за день прошли с таксационным описанием двенадцать километров и, довольные собой, приступили к обычному делу. Я освежевал трех рябчиков. Головы, лапы, сердце, желудок, печень отдал Угрюму, а тушки бросил в кипящую воду. И через полчаса уже жевал рябчиков, как буржуй, запивая наваристой юшкой. Развесив портянки и устроив сапоги на колья, я завалился спать. Проснулся среди ночи из-за похолодевших ступней. Луны не было. Наверху в кронах деревьев шевелились ветви, что указывало на смену погоды. Поправив костер, я завалился в логово и проспал до шести часов.

## День пятый

Небо было хмурое. Было прохладно, сухо, и это все способствовало бодрой деятельности. Угрюм далеко не убежал и часто появлялся впереди, чтобы удостовериться, что я не меняю маршрута. К обеду я протаксировал километров восемь. Остановились на чай. Угрюм вернулся из тайги и лег недалеко от костра. Все говорило о том, что будет дождь, и, конечно, это в мои планы не входило. Я ведь не взял тента, рассчитывая, что как-то перебыюсь в случае чего.

К вечеру, когда мы подходили к сосновому лесу на гриве, начали падать первые капли, и я понял, что благодать моя кончилась и надо делать укрытие. Логово, подобное тем, в которых я ночевал до сих пор, не спасет, а что спасет — надо придумать. У меня до сих пор не было опыта ночевки в дождь без тента. Я стоял в массиве лишайникового сосняка, возвышающегося над маленьким ручьем. В сосняке повсюду встречались тонкомерные сухие деревья (жерди), что мне и надо было. Сам я из деревни, и всегда в пору сенокоса на лугах мы жили в балаганах, покрытых толстым слоем сена. В дождь эти балаганы не пропускали воду, видимо, потому, что имели крутые стенки. Я вспомнил также, что у хантов видел круто наклоненную стенку из жердей, покрытых хвойными лапами нахлестом.

Я наготовил штук двадцать жердей длиной примерно два с половиной метра и стал приставлять к перекладине под крутым углом. Наклонные жерди я уложил плотно и стал сверху накрывать эту стенку лапником сосны нахлестом, чтобы лучше стекала вода. Потом я вырубил два бревна по полтора метра. Глядя на усиливающийся дождь, березовые дрова я не стал рубить, считая, что в сырую погоду лучше держать костер сосновыми дровами. Я заготовил много бревен длиной два-три метра и стал готовить ужин. На этот раз не было ни глухарей, ни рябчиков, ни рыбы, и мы с Угрюмом заварили пшеничную кашу со свиным салом и приготовили ее полный котел, половину мне, половину Угрюму. Дождь пошел сильнее. «Э, — подумал я, — с боков навеса, если сильнее подует ветер, тепло от костра будет выдувать». Пришлось после каши и чая опять готовить жерди и хвою и делать заслоны с двух боков навеса. Затем я разжег как следует костер, и нам стало в новом логове очень уютно.

Сидя на жердях своей постели, я спокойно попивал чай с кусочками колотого сахара. Я чувствовал полное единение с природой и наслаждался своими успехами. Прошло пять дней, и я уже сделал примерно половину работы.

Вытащил из рюкзака журналы таксации и даже с час у костра прокамеральничал\*, дописывая в них то, что можно было сделать с помощью всяких лесных таблиц. Дождь и ветер не усиливались, но становилось холоднее. Ну что же,

\* *Камеральные работы* — работы по обработке данных, полученных в экспедиции, ведутся в основном после окончания полевого сезона, но также и во время него, если выпадает свободное время.





**Кедрово-еловая тайга стояла окаменевшая**

пора спать. Высушив портянки, я постелил их под себя вместе с фуфайкой, сапоги и рюкзак положил под голову, надел свитер и шерстяные носки и улегся набок спиной к костру. Сверху набросил плащ. Тепло от костра проникало под жерди через зазор, оставленный у земли. Хитрый Угрюм, поняв, что ночь будет холодная, устроился в моих ногах, согревая их своим теплом. Вскоре мы заснули.

И вдруг среди ночи я резко проснулся. Мне показалось во сне, что на мне горят штаны. Ничего не воображая, я выскочил из логова и лихорадочно стал елозить по снегу. Через минуту, ощупывая сзади штаны, я стал подниматься. Бог ты мой, кругом бело!

Деревья стояли в каком-то ледяном оцепенении, покрытые рваными лохмами белых байковых портянок, свисающих до полосатой сине-белой скатерти земли. Только хрустальный отблеск лунного света на складках и кромках говорил, что это не портянки, а настоящий снег, укрывающий мохнатые растопыренные лапы кедров и елей. Густые переплетенные ветви берез с куржаком образовали гигантские коконы и в сочетании с клинообразными кронами хвойных деревьев, уходящих в черно-синее небо, усеянное звездами, создали фантастическую картину, которую ни один даже самый гениальный импрессионист не способен был бы передать красками. Я стоял босиком в снегу, немой и очарованный, не смея оторваться от увиденного. И вдруг быстро все померкло: плотные тучи закрыли луну. Стало темно, холодно и мерзко. Я быстро засунул мокрые ноги в сапоги и бросился поправлять костер.

В середине костра лежала длинная куча оранжевых углей, а по краям валялись и коптели отдельные остатки несгоревших бревен. Бросив их на угли и





**Березняки  
напротив  
за ручьем были  
окутаны  
оренбургскими  
шальями**

добавив к ним сухие бревна, я разжег костер, и через несколько минут живительное тепло от него поползло в наше логово. Комфорт жизни опять вернулся к нам. Я устроился остаток ночи подремать на другом боку спиной к костру, а Угрюм, не стесняясь, улегся опять в конце постели, обняв мои ноги. К утру холод все-таки разбудил нас.

### **День шестой**

Шесть часов. Я пошел за водой. И пока шел, ощутил холод ниже спины, остановился и стал ощупывать себя сзади. Вместо ткани штанов я нащупал висящие тряпки, и теперь только оборванные тонкие лоскуты подштанников прикрывали мое тело в этом месте. Я набрал воды и быстро вернулся к костру. Снял сапоги, портянки и так называемые противоэнцефалитные штаны, я увидел на них большие дыры.

Вот так, наука на будущее — больше не ленись и готовь для ночного костра сырые березовые дрова, которые излучают мягкое, неопасное тепло. Пока варился чай и каша, я отрезал кусок от полы плаща и пришил его поверх порванной части штанов, прикрывающей самый ответственный участок тела.

За чаем я размышлял, растает ли сегодня снег или же, наоборот, еще выпадет и, не дай бог, завьюжит. Сегодня уже 20 сентября, и на широте 63 может быть всякое. А вдруг не растает, да еще заряд снега... Если заряд застанет во время работы или к вечеру... Тогда как готовить ночлег? Жерди сырые, хвоя сырая, место необжитое. Конечно, ночлег я сделаю, но сколько времени придется потратить на новом месте?

Было тихо. Ничего не предвещало изменения погоды. Я невольно глянул на свое жилище. Логово сухое. Хвоя сухая, постель сухая, с боков завалено хвойными ветками, костер горит, ну что надо для ночлега и счастья? Э, постой! А может, изменить маршрут, чтобы вернуться ночевать сюда? Я взял аэроснимки и внимательно проанализировал дальнейшую таксацию. Все, решено!



То, что должно быть сделано в последний день захода, я решил сделать отсюда. Вот и меня постигло счастье. Сегодня не надо будет делать ночлег. Оставляю здесь продукты и фуфайку, а плащ, котелок, чай, сахар возьму с собой. Я забил клин в дерево на высоте около двух метров и, связав все продукты, подвесил на него, чтобы никакой зверь, россомаха или волк, не разорил наши запасы.

Угрюм все это время наблюдал за мной и ждал, ему не терпелось идти в тайгу. Для него этот снег был в радость. Ему, понятно, следы на снегу откроют много возможностей.

Работа моя от места ночлега начиналась километра через два. Появилось солнце, начало пригревать, снег таял. Через полчаса я был на месте. Срубив пару моделей и определив возраст и высоту деревьев, я приступил к таксации. От работы ничего не отвлекало, кроме лая. Пришлось, конечно, взять глухаря и, утешив Угрюма лапой птицы, идти дальше. Пошли одни простые сосняки. После чая я еще протаксировал километра три, и вдруг погода начала портиться.

Ветер усилился, но снег не прекращался. Становилось очень холодно, и я быстро пошел к ночлегу. Угрюм, поняв, что мы идем на табор, бежал легкой трусцой впереди меня, не пропадая из виду и часто останавливаясь. А вот и табор, мы дома. Сбросив все с себя, я остервенело начал рубить сухостойные сосны и разделять их на бревна. Развел костер, навалил на него несколько сухих бревен — и благодатное тепло пошло вокруг. Угрюм устроился под навесом, разлегся как барин на краю постели.

Я повесил котелок, вскипятил чаю, напился и только после этого начал варить кашу. От костра шло тепло, и уже никакой снег не мешал мне заниматься делом.

Я настроился на то, что ветер и снег будут всю ночь, но оказалось — нет. Они стали затихать и через час прекратились. Становилось заметно холоднее. Нужно менять дрова. Сухие сосновые будут прогорать быстро. Надо готовить сырую березу. Нашел три березы диаметром 12—18 см, срубил их, разделал на двухметровки и стаскал к месту ночевки. С такими дровами тепло будет всю ночь.

## День седьмой

Начало светать. Небо было чистое, и, судя по всему, день разогреется. Надо было протаксировать минимум 12 км, чтобы, как я задумал, в заходе быть не более 12 дней.

Работа пошла своим чередом. Переходя из одного массива леса в другой, я старался записывать все, чтобы потом не доделывать у костра. Солнце поднялось, погода позволяла работать, снег таял, возвращалось бабье лето. Впереди простирались сосняки, и таксация была более простой, чем позавчера и вчера, поскольку лесные массивы состояли из одной лесной породы.

После чая Угрюм опять куда-то удрал, и к вечеру мне пришлось взять двух глухарей. Уже был поздний вечер, когда я решил заночевать. К сожалению, подходящей выемки от свалившегося дерева я не нашел. Да и не хотелось стелить сучья и лапник на сырую землю. Кругом стояли сухие сосны, и я решил соорудить нодью. Быстро срубил две гладкие сухостойные сосны. Потом из каждого хлыста я вырубил по два толстых бревна и стащил их к месту ночевки. Но прежде пришлось заняться глухарями. На это я затратил не так уж много времени. Угрюм был обложен буквально всем, что можно есть, и довольно хрустел костями.

Развесив портянки и сапоги, я сидел у костра, пил не торопясь чай иправляя шампуры. На востоке заалела заря, за деревьями появилась громадная круглая луна. Пятна нерастаявшего снега блестели, и в тайге становилось как-то торжественно и... холодно. Только у костра было тепло и уютно. Вокруг костра все растаяло, мох и лишайники подсохли.

Я потягивал чай. Снова в голову стали заползать всякие дурацкие мысли. Одна из них меня сверлила постоянно. Ну понятно, государство должно знать основательно один из источников своих доходов, за счет которых строился социализм. Государство еще в конце 30-х годов поставило задачу выявить перспективные лесосырьевые базы за Уралом. Начали строить порт Игарку и железную дорогу Салехард — Игарка для экспорта древесины из Сибири. Но зачем тратить время на получение информации о лесоустройстве в практически недоступных районах? Для кого и зачем это делать? Для будущих поколений, которые здесь черт знает когда появятся и вообще появятся ли? И вот ради этого я сейчас нахожусь здесь, в дикой тайге. Просто чтобы провести инвентаризацию лесов. Но эту работу можно было сделать проще и не менее качественно с использованием аэроснимков. И совершенно не обязательно разрубать квартальную сеть и обозначать кварталы столбами.

А еще меня занимало и другое. Почему я пошел на лесной факультет? Я же хотел быть геологом, а попал в лес. Я бы сейчас выполнял, как мне казалось, более значительную работу по разведке полезных ископаемых. Работа геологов не сходит со страниц печати, а таксатора кто знает? Никто. А те, кто знаком с нашей работой, до сих пор не понимают, ради чего мы бываем по полгода в тайге с бывшими зэками, что-то рубим, промеряем, описываем, каждый день подвергаясь большей опасности, чем геологи. У них в маршрутах участвуют несколько специалистов, в таежных лагерях даже проводятся всякого рода лабораторные работы, имеется добротный транспорт, а у нас — ничего. Бросили тебя в тайгу с бичами — и паши в ней до глубокой осени, и знает о тебе только начальник партии и главный инженер экспедиции, он же председатель ГТК (государственной технической комиссии), которая примет у тебя полевой материал, проверит, соответствует ли он техническим требованиям и не схалтурил ли ты, и сдаст в архив. В ГТК сидят зубры, которые в аэроснимках разбираются лучше, чем в деньгах, и о лесах на них могут рассказывать буквально стихами. И если они обнаружат халтуру или низкое качество, то ты поедешь переделывать или доделывать работу за свой счет.

И не дай бог в полевой сезон потерять аэроснимки, с которыми мы работаем. Обычно их масштаб 1:15 000 — 1:25 000 и они очень секретны. Потерял — тюрьма. И это меня еще больше угнетало. На снимках такого масштаба отражается только лес и речки, и ничего другого на них не увидишь. Без специальной обработки в камеральных условиях невозможно установить координаты тех или иных участков: для этого нужны тополисты. Единственное: эти аэроснимки вызывают страх и любопытство у обывателей и очень большое уважение у местных районных руководителей. И все подозревают, что мы выполняем какую-то очень важную и секретную работу, а лес — это прикрытие нашей тайной деятельности. У нас это всегда вызывает улыбку. Но, зная такую реакцию, мы нередко пользуемся этим. Демонстрируя свою значимость и не раскрывая сути, мы получаем в районах всякие привилегии: вертолет вне очереди и какой-нибудь наземный транспорт, дефицитные продукты — тушенку, сгущенку, гречку. В этом случае, если ты сумеешь хорошо себя подать, ты становишься более значимым, чем геолог.



А это и есть  
соловей-  
разбойник,  
работающий  
под сову



Конечно, этот спектакль мы устраиваем крайне редко и в самую последнюю очередь, если нам не удастся что-либо добыть обычным легальным способом.

Я еще подложил дрова в костер и продолжал попивать чай. Угрюм поодаль занимался своими костями. Луна — большой блин, только что снятый с огромной сковороды, уже поднялась из-за крон деревьев и ярко поливала светом поляну, покрытую инеем. И вдруг вижу: передо мной в пяти-шести метрах на сухой ветке сидит небольшая сова. Я пригляделся — да, сова. Широко открытые желтые глаза смотрят на меня.

— А ты откуда такая явилась? И что ты на меня так строго смотришь? А ты не соловей ли разбойник, обратившийся в сову? Что тебе здесь надо? Мышей с нами нет. Лучше вали ты отсюда, а то Угрюм увидит и смотри тогда! — обратился я к ней.

Сова, не шелохнувшись, смотрела на меня. Она впервые видела такое чудовище, да еще у костра, и соображала, как ей вести себя со мной. Угрюм хрустел костью, и сова изящно повернула голову в его сторону. Долго смотрела на него, потом опять уставилась на меня.

— Слушай, сова, я не собираюсь жить в твоей тайге. Это тебе здесь хорошо и ты дома, а мы здесь чужие.

Сова опять чуть склонила голову, и мне показалось, что она произнесла:

— Э, ты уже здесь тоже свой. Вон как освоился у костра, как дома, и вряд ли такую жизнь найдешь где-то вне тайги. Судя по всему, ты шляешься лет пять и тебе уже не уйти от своей судьбы никуда.

Сова еще раз склонила голову на другую сторону, потом бесшумно слетела вниз и с пня, где я готовил глухарей, схватила кишку. И была такова. Угрюм учуял, повернул голову, но даже не вякнул.

— Сова же тоже хищница, надо делиться, — сказал я Угрюму и начал делать ночлег.

Костер, на котором готовил глухарятину и чай, я оставил гореть. Выбрал ровное место и соорудил одну нодью: бревно плотно положил на землю, на верх-

ней части топором сделал зарубки и положил вдоль всего бревна смолевые щепки. Сверху положил второе бревно. Концы бревен закрепил кольями, чтобы верхнее бревно не свалилось с нижнего. В метре от ноды я сделал лежак из жердей. Положил два коротких бревна длиной около метра. На них бросил жерди и застелил лапником. В метре от лежака с другой стороны соорудил вторую нодю, параллельно лежаку. Положив рюкзак под голову, сухими портянками и плащом застелил свою кровать. Потом поджег смолевые щепки у этих своеобразных обогревателей, и они весело загорелись. Прогорев, смолевые щепки дали тлеющее горение между бревнами, и тепло потянулось с двух сторон к моей кровати.

Я посмотрел на небо. Луна, уменьшившись до большого оладья, ярким холодным светом заливала все кругом. Гигантская графика из ярких полос освещенных деревьев с черными тенями, падающими на холодный синеватый иней, буквально поглотила нас с Угрюмом. Нигде на Большой земле не увидишь ничего подобного, и это заставляло с тревожным холодом восхищаться не только окружающим миром, но также собой — не как очевидцем, а как органической частью этого мира.

Поднялись с Угрюмом около пяти часов, явно от холода. Бревна практически полностью прогорели. В котелке чай даже покрылся льдом. Я быстро соскочил с лежака, завел костры из оставшихся концов бревен. Они запылали, и я еще с час позволил себе понежиться между ними.

## День восьмой

Шесть часов. Я позавтракал глухариным шашлыком, а Угрюм — котлетами с мясом. Выпив три кружки сладкого индийского чая, я еще кое-что дописал в журналы вчерашней таксации и стал разглядывать аэроснимки, изучая свой дальнейший ход. Впереди были сосняки. Таксация простая, и я прикинул, что могу пройти километров четырнадцать. Это немало. Но внимательнее просмотрев снимки, я увидел впереди горельники, которые могут меня сильно задержать. Они были очень большими, их не обойдешь. Беда в том, что на пути будут завалы и они не дадут бодро идти. Но это полбеды. Впереди была речка Окуневка шириной 20—30 метров. Это, конечно, преграда, и надо искать залом — только через него можно перебраться на другой берег. Было бы лето — проблем бы не было. Связав три бревна и положив на них вещи, можно было бы запросто переплыть. А сейчас? Черт знает, как сейчас. Ладно, когда подойду к речке, пройду по берегу и поищу какую-нибудь переправу.

Модели я на этот раз не валил. Начались обычные чистые лишайниковые сосняки возрастом 150—200 лет, которые занимали значительные пространства, таксировать их не представляло труда. Они сменялись заболоченными сосняками, также простыми по строению, и я практически на ходу таксировал. Километров через пять начались горельники. Постоянно встречались завалы из сухих сосен, через которые надо было буквально продирааться. Здесь главное не упасть, иначе можно сильно пораниться о сухие острые обломанные сучья. Особенно осторожным надо было быть сегодня. Иней и снег таяли. На всех деревьях кора была влажная и скользкая.

Горельники прерывались заболоченными сосняками, и мне пришлось два километра преодолевать часа два. Выбравшись из горельника, я занялся чаем. Сварил полный котел лапши, чтобы хватило на двоих. Угрюм лежал рядом.





**Когда я днем чаевничал, Угрюм любил греться у костра  
 и очень внимательно наблюдать за мной**

Пока мы пробирались через завалы, я боялся только одного — чтобы он не убежал за выводками. Думаю, он догадался, что, как бы он ни лаял, я не пойду на его зов. Теперь пусть охотится сколько угодно.

Однако я сильно досадовал на себя. Где-то в середине перехода я едва не свалился с завала сухих деревьев и все-таки распорол острым суком часть левой штанины от сапога до кармана. Половину горельника я пробирался с голой ляжкой и, конечно, злобно материл этот невероятно тяжелый переход, который, к счастью, кончился. Пришлось остановиться и с помощью черных ниток десятого номера и большой иглы отремонтировать брюки.

Дошли до речки. Действительно, метров двадцать шириной, но тихая. Я посмотрел вниз и вверх по течению, но не увидел ничего обнадеживающего. Пошел вверх по течению, в сторону моих объектов на том берегу. Прошел километр, прошел второй, никаких намеков на скопившиеся поперек реки деревья не увидел. Как в таком случае переправиться? За рекой еще 30 км таксации. Черт возьми, неужели надо делать плот? Одному? Я уже в который раз ругнул себя за то, что выгнал рабочего.

Я выбрал несколько сухих сосен диаметром не более 20 см на высоте груди. Изготовив четыре бревна метра по два с половиной, я стащил их к пологому берегу. Потом пошел искать молодняк сосны, чтобы из него нарубить с десяток жердей. Положил рядом с водой четыре жерди примерно через метр, стал укладывать на них бревна. Тонкий шнур метров двадцать длиной был со мной. У каждого таксатора где-то в рюкзаке он валяется на всякий случай. Я вытащил его, отрезал метров десять и закрепил нижнюю жердь с бревнами, далее таким же образом закрепил остальные жерди в середине плота и на другом конце. Потом сверху положил еще жерди и связал их концы. Плот готов. Конечно, он жидкий и меня не выдержит. Но я, собственно, сам и не собирался на нем плыть. Мне надо было переправить на ту сторону рюкзак, фуфайку, плащ, ружье, сапоги и одежду.

На плот я навалил кучу сухих толстых веток и на них положил свое барахло. Под этим грузом плот несколько погрузился в воду, но тряпки не касались воды. Было очень холодно. Я снял все с себя и голый стал осторожно входить в воду. Вода буквально обожгла меня жидким льдом. Прошел метров пять, вода дошла до шеи. Уперев руки в бревна, я поплыл на тот берег, толкая плот вперед. Ледяная вода раскаленными цепями обволокла меня, сковала ноги. Но входить в воду в это время года для меня было не впервой. Часто приходилось осенью доставать уток из озер, подернутых с берега льдом, а потом отогреваться у сильного костра. Вот и берег. Я быстро разгрузил плот и закрепил его.

Угрюм, увидев, что я уже не вернусь, побегал немного по берегу, малость поскулил, но вошел в воду и переправился быстрее, чем я. Страхнув воду, он зачем-то побежал в лес, но вскорости вернулся и улегся недалеко от костра.

День ожидался великолепный. На ясном небе из-за крон деревьев поднималось солнце, и не было никаких признаков, указывающих на возможный дождь или снег. Глядя на погоду, я даже побоялся, что могу отвлечься от работы. А мне хотелось иметь обычный, будничней, то есть для меня — праздничный рабочий день, день без всяких накладок и каких-либо неожиданностей. До чая опять я протаксировал по просеке восемь километров. После чая я надеялся протаксировать еще километров шесть, и тогда на последний день останется всего двенадцать километров таксации, и притом по пути домой на табор.

Все шло своим чередом, и вдруг я услышал впереди выстрел. Невольно оторопел от неожиданного звука. Кто это мог быть в такой глухомани? Этот тревожный вопрос всегда встает перед любым таежником, когда обнаруживается присутствие неизвестного человека. Это состояние, кстати, также возникает на таежной речке, когда какая-либо появившаяся лодка не заходит на табор, а проходит мимо твоего костра. Внутри закрадывается тревога и подозрение к тому, кто нарушил неписаное правило — пристать, отпить чаю у костра, поделиться своими знаниями о тайге и поговорить о жизни там, за рекой.

Угрюм залаял и рванулся вперед. Через некоторое время лай затих и я увидел двух людей, идущих ко мне. Рядом с их небольшой рыжей собакой бежал Угрюм. Я оторопел. Кто может быть здесь, на удалении 150 км от Казымской культбазы? Что в этой тайге сейчас делать? Ну, возможно, это геологи, но никак не туристы, которых никто сюда никогда не забросит. «Ну, конечно, не марсиане, — ухмыльнулся я сам своей шутке, — а, скорее всего, какие-нибудь ханты». Но что хантам здесь делать? Жить-то нечем! Кормных озер с рыбой и дичью здесь нет, пастбищ с оленьим мхом тоже почти нет, только заболоченные сосняки и верховые болота. Но вот они, два ханта, подходят ко мне и — боже

мой! — один из них лет пятнадцати, с ружьем, а второй лет двенадцати, с глухарем за поясом.

Подходят, здороваются и даже смело протягивают руки для приветствия. Одеты легко в рабочую одежду, подпоясаны сыромятными широкими ремнями с подвешенными ножами и оба в ичигах. Я долго трясу их руки и спрашиваю, откуда они. Младший молчит, а старший, не смущаясь, отвечает:

— Однако, мы идем с озера Нумто на Казымскую культбазу.

— Как с озера Нумто? Отсюда до озера километров 100 — 120 и до культбазы еще 150. Так зачем вы идете так далеко — 250 километров в одну сторону?

— Как зачем? Я веду младшего брата учиться в школу и жить в интернате на культбазе, однако.

— И сколько вы уже идете?

— Однако, уже идем три дня, через четыре-пять дней будем в Казыме.

— И так вот вдвоем идете, никто вас не сопровождает из взрослых?

— Однако, взрослым зачем идти с нами? Они остались с мальшами, ловят зяя и щуку, и им некогда. Мы сами дойдем, я же взрослый, однако. Я же и сам раньше ходил в интернат на культбазу, и брат наш старший провожал меня. А теперь я провожаю нашего младшего брата. Он будет учиться в шестом классе. Потом посмотрим, что делать с ним, учить дальше в Ханты-Мансийске или идти в тайгу промыслять.

Младший брат стоял рядом и улыбался.

— Однако, — произнес я по-хантейски, — что мы стоим, давайте пить чай. — И снял рюкзак.

Они с удовольствием кивнули головами, сняли со спин свои крошни, и я не успел еще достать котелок, как они уже организовали костер, младший побежал за водой, которая была метрах в ста от нас. Мы сели у костра на валежине, я достал сухари, комковый сахар, порезал сало. Они выгащили вяленую щуку весеннего посола, вяленую лосятину, маленькую пресную лепешку, и все это мы разложили на моем плаще. Пока грелся чай, я пытался все узнать об их походе. За пять лет работы в тайге я встретился с такой ситуацией впервые, и это было для меня невероятно интересно. Вода в котелке закипела, я заварил крепкий чай и стал разливать по кружкам.

Я продолжал допытываться теперь уже у младшего о его жизни в интернате: как учится и кем собирается быть после седьмого класса? Младший практически на чистом русском языке ответил, что он учится на четверки и пятерки и после окончания семи классов в следующем году собирается поступать в педагогическое училище в Ханты-Мансийске. Это меня крайне удивило.

— Как, ты не хочешь заниматься охотой, рыбалкой, оленями, добывать соболя, белку, глухарей, чем занимались и занимаются твои родители? — задал я вопрос.

— Нет, — спокойно ответил он. — Я хочу выучиться и помогать хантам получать другие профессии — быть радиотехниками, телевизионщиками, вертолетчиками, врачами.

— А что ты умеешь делать сейчас в стойбище? Тебе всего двенадцать лет, и ты говоришь о таких профессиях, которым надо учиться и учиться.

Он ответил:

— Я умею делать все, что делают взрослые: пасти оленей, ходить на моторных лодках, ставить сети, добывать белку, соболя и выдру, свежевать оленя, лося и выделывать шкуры, как это делает моя мама.

Я обалдел, услышав все это. Старший попивал чай и улыбался.



**Старший брат, проводив меньшого в школу, будет возвращаться на озеро Нумто и пройдет более двухсот километров осенней тайги**

— Ну хорошо, — обратился я к старшему, — ты доведешь своего брата до культбазы и останешься там, конечно, зимовать, так ведь?

— Да нет, — ответил он живо, — отведу в школу, там его определяют в интернат на зиму — и я домой в стойбище.

— Как домой? Один назад пойдешь 250 км по тайге, сейчас, осенью? — недоумевал я. — Ведь сейчас уже практически каждый день холодно, то снег, то дождь, и ты пойдешь один назад?

Моему удивлению не было предела.

— А как же? Дома в стойбище осенью самая работа, надо помогать отцу с матерью делать к зиме всякие заготовки, ловить и солить рыбу, собирать клюкву, ремонтировать избушку, присматривать за маленькими сестрами и братьями, ходить за оленями, а кто же за меня будет делать эту работу, однако?

— Так ведь 250 км в одиночку по тайге — это же очень опасно, — продолжал я его донимать.

— Я пойду же не один, а с собакой, однако! Вон, видишь, какой у меня пес! У меня есть вяленая щука, лосятина, мука, с глухарями нам хватит еды, чтобы дойти до стойбища, — втолковывал он мне.

— А ночевать где и как ты будешь?

— Как ночевать? — Он задумался, как мне объяснить попонятней, и ответил очень просто: — Так у меня вот топор, вот спички, кругом сухие дрова, сучья и хвоя для постели, вот и ночуй, все для твоей ночевки уже давно приготовлено в тайге!

Этот ответ своей простотой буквально обезоружил меня. Я еще был далек от такого понимания тайги, что в ней жить-то очень просто, все уже для тебя



кругом приготовлено — бери и пользуйся. И я решил задать еще один, последний вопрос:

— Вы до самого мая, после того как ты оставишь брата в Казыме, больше не увидите?

Старший, не поднимая взгляда от костра, ответил:

— Да нет, однако. В феврале в Казыме будет проходить праздник и я с оцом приеду на двух тройках оленей участвовать в соревновании — вот тогда и увидимся. Мы младшему брату привезем много продуктов, копченую и вяленую рыбу, оленье мясо, ягоду. Мы втроем будем участвовать в гонках на оленях. У себя в стойбище отберем лучших ездовых оленей и, может быть, выиграем соревнование, как в позапрошлом году, однако.

Ну, после такого ответа я понял: они живут своей содержательной жизнью и по-другому жить не хотят. Самое интересное, что ханты не задали мне ни одного вопроса: откуда я, что я здесь делаю, где мое стойбище — видимо, мое присутствие в тайге не вызывало в них никакого любопытства и они меня рассматривали как обычного обитателя этого леса, не считая его дремучей стихией, к познанию которой прилагала все усилия экспедиция, вооруженная карабинами, рациями, вертолетами, аэроснимками и пр.

Посидев еще с час, подсушившись и напившись чаю, мы стали прощаться. Я оставил им все лишние продукты, которые мне было ни к чему выносить на табор. Они от них не отказались и аккуратно уложили в крошни.

Поглядев на их одностовку, которую старший кинул за плечо, я спросил:

— А если встретите медведя, как будете отбиваться одним стволом?

Старший поглядел на меня удивленно и ответил:

— Так он сегодня сытый и мы ему не нужны, увидит — тут же удерет, а Филину, нашему псу, я запретил гонять его.

Кобель, услышав свою кличку, в знак согласия вяло вильнул хвостом. Пожав друг другу руки, мы расстались.



Праздник Севера — гонки на оленьих тройках

## День девятый

Наступил девятый день. Мне предстояло пройти с таксацией по последней продольной просеке и визиру 16 километров и возвращаться домой. Этот объем я сделаю за два дня и вернусь ночевать к месту, где оставлен плот.

Угрюм подхватился и пропал в лесу. Ему уже надоела лапша и каша, и обновить его было невозможно. Через час он неподалеку залаял, и я взял из-под него копылуху. Отрубив обе лапы с мясом и подпалив, отдал их собаке. Он быстро слопал свою порцию и держался рядом со мной.

Мне не хотелось больше никаких приключений, и я надеялся, что день пройдет просто за работой. Он так и прошел. Правда, произошла небольшая встреча с медведем, но она нас с Угрюмом просто позабавила. Протаксировав сосняк на одной гриве, я спускался по пологому склону к болоту. И увидел медведя. Не чуя меня, он лакомился клюквой. Я остановился и стал наблюдать. И вдруг откуда ни возьмись появился Угрюм и яростно залаял. Медведь, даже не оглянувшись на непрошенных гостей, дал деру в лес за болотом, сверкая лоснящимся задом.

Я никогда не видел так скоро бегущего медведя. Ему человек сейчас не нужен, о чем и говорил хант. Медведь нагулял к зиме много жира и готовился залечь в берлогу. В это время, если нет медвежат, он очень боится человека, особенно если тот с ружьем. Не знаю, что я стал бы делать при встрече с медведем, но я на сто процентов уверен, что он первый не будет нападать. Правда, нередко нападает на человека старый и беззубый медведь, который всегда голодный.

Был случай, что медведь утащил из палатки человека и прикопал его от табора метрах в двухстах. Это было в Восточной Туве два года назад. Тайга в Бурятии осенью очень сильно горела, и все живое из тайги повалило в Туву, в том числе и медведи. Так вот, один из пришлых медведей напоролся на табор таксатора Бориса Негина и ночью утащил из крайней палатки человека. Потом он повадился ходить к этой стоянке, где его и выследили Боря с рабочим, сидевшим наверху в скрадке. В первую ночь они не могли стрелять в него, было очень темно. Тогда навалили кучу пустых банок и бутылок и, закрепив ружье, нацеленное на банки, стали ждать. Когда среди ночи пришел медведь и начал ворошить эти банки, они выстрелили на звук. Медведь рывкнул и рванул в кусты. Утром с собаками нашли сдохшего медведя недалеко от табора. Это был крупный старый зверь, практически без зубов.

## День десятый

Два раза за ночь поправлял костер, а в пять часов мы поднялись. Был морозец, кругом было бело от инея. Плотно позавтракали: я — вареным и жареным мясом, а Угрюм — остатками глухарей. Затем я глянул на аэроснимки, прикинул, сколько километров идти до лодки. Мы возвращались другой дорогой, впереди километров через пять придется перейти какую-то безымянную речушку, а далее ничего не угрожает ходу. Рюкзак был уже легкий.

Мы пошли вперед. Вот и речушка, и на ней нам повезло. Почти прямо по ходу лежало поперек русла огромное обледенелое дерево. Чтобы с него не свалиться, пришлось ползти.

Дойдя до Помута, я прошел к месту, где к берегу была привязана лодка. Угрюм уже сидел около нее и ждал меня. Смеркалось. Перекусили лапшой, запили чаем и осторожно пошли на лодке вверх по реке, опасаясь встречи с топляками, уже потемну под звездами, а потом под луной.





**Не дай бог в последний день захода соскользнуть с ледяного панциря**

И вот появился наш берег с табором. От луны стало совсем светло. Сегодня уже не успею сделать баню — бог с ней, но зато завтра я буду баней заниматься весь день. Несмотря на то что за две недели не пришлось мазаться никакими мазями от комара, тело пропиталось потом. Одно ожидание бани, горячего пара и веника из пихты вызывало особую радость. Наконец-то последняя баня, а там, возможно послезавтра, вылет на базу. И прощай эта хмурая холодная тайга, которую я не только не любил, а даже временами ненавидел, особенно когда что-то не получалось. И когда какой-нибудь обыватель задавал вопрос: «Ну, конечно, ты любишь тайгу?» — я говорил, что я ее ненавижу. Такой ответ всегда вызывал недоумение, но я пояснял, что у меня есть кого любить и без тайги, а к ней я отношусь просто как честный специалист к объекту своей работы.

Я уже забыл про рабочего, которого выгнал из-за злополучной браги, дав зарок никогда впредь так опрометчиво не поступать, но невольно продолжал восхищаться бичами, которые ловко дурили меня все лето. Это хорошо, что все хорошо завершилось. А вдруг перелом или вывих ноги или, не дай бог, встреча с голодным зверем? Конечно, если бы я не явился на табор в назначенный срок, через четыре дня начались бы поиски. И меня бы нашли, но в каком состоянии — это вопрос, на который заранее в тайге не ответишь. Мой друг Володя Гриценко пропал в тайге, придавленный березой, которую валил на дрова. Опытнейший таежник, фартовый охотник, промышлявший соболя в тайге не

один год, погиб. Собирался выходить из тайги через несколько дней, а пока решил заготовить дрова недалеко от избушки на следующий сезон. Пренебрегая правилами валки, не осмотрев внимательно наклон кроны, не отоптав снег вокруг березы, не сняв лыж, он сделал подпил, а не подруб в направлении валки, стал пилить с другой стороны — береза сыграла и пошла в его сторону. Куда бежать, дерево падает. На ногах лыжи, снег глубокий — и конец. Через два месяца его нашли метрах в двухстах от избушки...

Мы подходили к палаткам. На поляне я ничего не увидел, хотя луна светила ярко. Все три палатки были сорваны. Прокушенные и высосанные банки тушенки и сгущенки валялись на мху. Здесь был медведь и, судя по всему, всего лишь вчера. В избушку он не проник, но пристройку разорил полностью. Я стоял ошеломленный и не мог никак сообразить, что же делать сейчас, когда мы только пришли. Ночь. Во мне начала разгораться злорада.

Я пошел к бане, которая стояла на ручье. Все было цело, но это несколько не уменьшило моей злорады и жажды мщения. Ведь он же, гад, и сегодня придет. Ну, допустим, сегодня мы его отпугнем, но он попытается прийти завтра и послезавтра, постоянно будет следить ночью за нами.

Ночь прошла беспокойно. Угрюм постоянно будил меня тем, что истерично лаял в темноту, не отбегая далеко. Явно где-то ходил медведь, размышляя, как добраться опять до лакомств. Я каждый раз подбрасывал дрова в костер. Я знал, на такой костер медведь не пойдет. Угрюм ложился здесь же, рядом с топчаном. И опять все затихало.

Начало светать, и все успокоилось. Медведь ушел в тайгу, но это ненадолго. Он каждую ночь будет возвращаться и проверять, ушли мы с табора или нет.

### День одиннадцатый

Утром я сообщил на базу, что вернулся из тайги, что работа сделана и я готов вылетать. Начальник все принял к сведению и спросил, когда высылать вертолет. И тут я сообщил, что случилось на таборе. О том, что медведь разорил табор и пристройку, порвал палатки, съел часть продуктов и что я хотел бы его наказать, т. е. добыть. Но один я, пожалуй, не решусь это сделать. Есть ли кто-то из таксаторов на базе, кто мог бы помочь мне? Начальник, как я понял, растерялся. Но я тут же вывел его из нерешительности:

— Слушай, пойми. Объект закончен, я вышел из тайги невредимый. Ну устрой мне праздник. Мне надо наказать этого пакостника.

— Ладно, — протянул он, — разорюсь на два часа полета. Здесь на базе Валька Шульгин. Я думаю, и ты будешь рад, и он тоже, если я его пришлю к тебе.

Я такой удачи даже не ожидал, ведь Валентин Шульгин — знаменитый медвежатник.

— Я Вальку завтра пришлю, но только без его Шарика, — продолжал начальник, азартно переключившись на обсуждение охоты, — он и твой Угрюм помешают ночной охоте. Угрюма отправь на базу. Сам же присмотри место, где соорудить лабаз на высоте трех-четырёх метров, и начинай готовить тонкомер или жерди. Также присмотри, куда собрать в кучу банки, склянки, чтобы в случае темной ночи можно было бы на звук стрелять. Все, давай. Жалко, у меня нет времени быть на этой охоте! Ну, ни пуха ни пера. До связи.

— Постой, постой, не уходи со связи — пришли буханки три хлеба и еще пару сам знаешь чего, — бодро попросил я и повесил трубку.

## Ночная охота

Прилетел Шульгин. Он для этого дела прихватил к своему ружью еще и карабин начальника. Валентин Шульгин — не только знаменитый таксатор, но и знаменитый медвежатник. Медвежатником его сделал Шарик, который среди всех известных нам собак был особенно знатным псом. Он держал один любого медведя.

Обычно медведь и Шарик гонялись друг за другом. Затем медведю надоело, и он уходил. Шарик бросался за ним, хватал сзади за шерсть, медведь опять разворачивался, бросаясь на пса. Но Шарик не давал себя зацепить. Шульгин же, не обнаруживая себя, с 20—30 метров расстреливал медведя, и охота на этом заканчивалась. Таким образом за одну осень Шульгин из-под Шарика добыл шесть медведей, и не карабином, а мелкокалиберной пятизарядной винтовкой.

Мы с Валентином оценили ситуацию. Выяснили, каким путем медведь подходил к табору, как уходил, и с учетом увиденного соорудили скрадок на высоте четырех метров под кроной сосны. Сделали лестницу и ограждение на полу скрадка. Пристроили упоры для карабина и ружья, направленных на кучу банок и бутылок. Наступила ночь. Мы просидели до утра на этом балконе и ничего не слышали. На таборе и в тайге было тихо. Угрюм улетел, и некому было подать голос. Из тайги также никакого шороха не доносилось. Да и не услышишь медведя никогда. Ночью он ходит крайне осторожно, особенно когда выслеживает жертву.

Позавтракав, мы ушли спать, оставив костер гореть. Наступила вторая ночь. Лунный свет чуть-чуть проступал через тучи, и чернота была не глубокая. Мы так же с вечера залегли на лабазе и тихо лежали, зорко вглядываясь и пытаясь что-нибудь услышать. Вдруг около трех ночи увидели совершенно бесшумнодвигающуюся вокруг табора тень, которая то возникала, то пропадала, не появляясь на открытом месте.

Это был медведь. Он не пытался пройти внутрь табора, а шел по границе, изредка останавливаясь и прислушиваясь. Стрелять было совершенно бесполезно. Стало светать. Тень пропала. Мы пошли к костру и с час сидели около него, обсуждая прошедшую ночь уже с некоторым оптимизмом. В следующую ночь он, конечно, решится начать свое разбойное дело.

Наступила третья ночь. Около двух часов медведь появился и пошел внутрь табора. Он нагло собирал все, что валялось, и грыз. Мы молчали и наблюдали. Ждали, когда наткнется на банки.

Нюхая под ногами, как собака, он вперевалку приближался. Луна была за плотными тучами, но все равно слабо очерченная тень зверя была видна. И вот он около приманок. Стал разгребать кучу и с удовольствием чавкать: все там было нами облитое сгущенным молоком. Оружие уже было прицелено на кучу и закреплено. Мы, кивнув друг другу, выстрелили разом. Будто гром прогремел в тайге от слившихся выстрелов карабина и ружья. Дым рассеялся. Мы сделали в сторону кучи еще по выстрелу и спустились с площадки. Осторожно, держа оружие заряженным и взведенным, мы приблизились к приманке. Медведь лежал, уткнув морду в банки, и не шевелился. Мы поняли, что он подох, и пошли разжигать костер и ставить чай.

Потом до утра, довольные собой, мы обсуждали нашу охоту. На утренней связи я сообщил, что полевой сезон закончился, медведь у нас и мы приступаем к горячему копчению медвежатины. Если есть возможность прислать вертолет



**Наконец-то все полевые мытарства благополучно закончились, и, повесив ведро с медвежатиной на костер, мы стали ждать вертолет**

завтра после обеда, то все будет собрано и готово к отлету. Поспав часа два, мы приступили к обработке медведя. Медведь был возрастом лет четырех. Осторожно вести себя он научился, но все-таки не рассчитал своих возможностей и попался.

Мы заготовили вешала, запалили костер для копчения и развесили ремни мяса на жерди. Сутки нам придется понемногу подбрасывать дрова в горящий особым образом костер. К обеду следующего дня мы надеялись управиться. После этого мы занялись сбором и упаковкой таборного имущества для отправки.

На следующий день, докоптив мясо, мы упаковали его в два чехла от спальников. Все таборное имущество отнесли на вертолетную площадку, а копченое мясо оставили пока при себе. Вдруг вертолет не придет, оставлять мясо на площадке ни к чему. Соболь или росомаха, учуяв его, могут растащить за ночь.

И вот где-то на горизонте послышалась наша родная музыка — звук идущего вертолета. Он вынырнул из-за леса, дал круг и, повисев над площадкой, сел. Вертолетчики были очень довольны гостинцу — горячему копченому мясу. Они любили летать к таксаторам, у которых было чему поучиться, как у настоящих таежников.

Мы на базе. Баня, баня, баня. А вечером в избе с русской печью, за столом, уставленным сковородками, мисками, тарелками, полными рыбы, глухарятины, лосятины, медвежатины, и — понятно — «Столичной», идет треп с коллегами о прошедшем поле. Закончился у всех очередной полевой сезон без ЧП, и мы уже не помнили тех эпизодов, которые могли бы для каждого из нас обернуться очень и очень плохо. Мы хвастливо делились друг с другом своими удачами, а они у нас были у всех, но самое главное — мы сидели здоровые, веселые и чокались гранеными стаканами...



Светлана ГОЛИКОВА

## ПЕРВЫЙ ХУДОЖНИК НОВОСИБИРСКА

В 2016 г. исполняется 125 лет со дня рождения Павла Геронтьевича Якубовского (1891—1945) — художника, с именем которого соединены самые ранние эпизоды в истории культурной жизни Новосибирска. Время его первоначальных художественных опытов совпало с годами становления Новониколаевска, нуждавшегося, как пишет П. Д. Муратов, в «своих мастерах, способных выполнить всякую необходимую для города и отдельного заинтересованного горожанина работу, связанную с изображением, с украшением, с организацией пространства сцены и праздника на улице». Одним из них и стал Якубовский, учившийся в 1900-х гг. в местной живописно-малярной мастерской и занимавшийся росписью общественных и частных интерьеров, оформлением клубных театральных постановок. Павел Геронтьевич был экспонентом первых художественных выставок в истории Новониколаевска. Его имя упоминается в помещенном в газете «Сибирская жизнь» обзоре уникальной для молодого города выставки, открывшейся здесь в феврале 1914 г. по инициативе томского живописца и педагога Ф. И. Гавельки.

Отличительной чертой профессиональной биографии П. Г. Якубовского может быть названо удивительное многообразие занятий, в которых успешно и полноценно раскрывались его творческие возможности. Павел Геронтьевич обла-

дал разносторонним дарованием, позволившим ему проявить себя в станковой и монументальной живописи, графике и архитектурном проектировании. Он писал портреты, пейзажи; в 1930-х гг. исполнял картины на производственные и историко-революционные темы по заказам Кузнецкого металлургического комбината; во время Великой Отечественной войны создал несколько больших полотен, посвященных фронтовым событиям. Вступив в 1926 г. в Ассоциацию художников революционной России (АХРР), а в 1937 г. — в Союз советских художников, он был участником экспозиций АХРР в Москве и Новосибирске, областных и краевых западносибирских выставок 1920—1940-х гг. В 1940 г. на Пятой новосибирской областной художественной выставке было показано 35 его работ.

В период с 1930 по 1935 г. П. Г. Якубовский служил архитектором в различных проектных организациях Новосибирска. Здесь он готовил разработки для строительства моста через реку Томь в Кемерове, зданий Дома Советов в Иркутске и клуба в Горно-Алтайске, являющихся характерными памятниками конструктивистского стиля. В 1933 г. Павел Геронтьевич представлял свои эскизы на конкурс проектов здания Новосибирского театра оперы и балета, а позднее, в 1939-м, участвовал в монументально-декоративных работах в нем, исполнив два

живописных медальона плафона большого зрительного зала.

Со времени посмертной персональной выставки 1948 г. произведения П. Г. Якубовского не экспонировались и не публиковались, за исключением нескольких работ, принадлежащих музею Кузнецкого металлургического комбината в Новокузнецке. Основная часть наследия Павла Геронтьевича — свыше восьмисот живописных и графических произведений и обширный личный архив — в течение полувека бережно сохранялась в его семье. Эта цельная коллекция, с большой полнотой воссоздающая творческую биографию Якубовского, послужила основой выставки, устроенной в Новосибирском государственном художественном музее в 2002 г. и заново открывшей для специалистов этого автора, обладавшего глубокой и привлекательной художественной индивидуальностью.

По окончании этой выставки дочь художника Любовь Павловна Якубовская передала в дар музею более двухсот листов его журнальной и книжной графики, а семь лет спустя музейная коллекция пополнилась живописными произведениями Павла Геронтьевича, представляющими различные темы его творчества 1910—1940-х гг.

Часть графического наследия Якубовского, вошедшая в музейное собрание, подробно показывает еще одну значительную грань деятельности художника — его работу в качестве иллюстратора в журналах «В помощь земледельцу», «Сельская кооперация», «Вестник сибирской сельхозкооперации» в 1925—1930 гг. В эту группу произве-

дений входят многочисленные заставки и концовки, инициалы и иллюстрации, а также эскизы журнальных обложек, исполненные в технике гравюры на цинке. Они представляют особенный интерес как для истории сибирских периодических изданий первой трети XX в., так и для исследования журнальной графики этого времени, привлекавшей внимание многих талантливых художников: А. Г. Заковряшина, С. Н. Липина, Г. Г. Ликмана, К. Я. Баранова, А. Д. Силича и других. Работы П. Г. Якубовского позволяют равноправно включить его имя в круг этих авторов и увидеть своеобразие его манеры. Созданные художником многочисленные композиции, посвященные различным темам из современного ему крестьянского быта, почти не содержат декоративных элементов, присущих стилистике журнальной графики. Они отличаются повествовательностью, остротой шаржевых характеристик, многообразием выразительных деталей. В этих листах малых форм нередко встречаются многофигурные сцены, где художник то с живым, увлекающим зрителя мастерством передает сюжетные подробности и облик своих персонажей, то добивается подлинной монументальности в обобщенных силуэтных изображениях. Особое место среди иллюстраций Якубовского принадлежит пейзажам. В этих тонких миниатюрах со стогами в поле, с обозами на степной дороге или с птицами в зарослях прибрежных трав отчетливо проявляется лирическая сторона дарования художника.

Наследие П. Г. Якубовского входит неотъемлемой страницей в историю художественной культуры нашего города.





## АВТОРЫ НОМЕРА

**Балабин Михаил Анатольевич** родился в 1985 г. в Иркутске. Окончил Юридический институт Иркутского государственного университета. Участник Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, а также совещания молодых писателей Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 г. вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза». Публиковался в сборниках фантастической прозы. Работает в юридической компании. Живет в Иркутске.

**Башкуев Геннадий Тарасович** родился в 1954 г. в Улан-Удэ. Член Союза писателей России. Прозаик, драматург. Окончил Иркутский государственный университет. Пьесы поставлены в театрах РФ и СНГ. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Современная драматургия». Живет в Улан-Удэ.

**Беломестных Олег Геннадиевич** родился в 1968 году в Улан-Удэ. Окончил Восточно-Сибирский институт МВД России. Работает в правоохранительных органах. Живет в Улан-Удэ.

**Голикова Светлана Павловна** — заместитель директора по научной работе Новосибирского государственного художественного музея.

**Натансон Владимир Ефимович** родился в 1945 г. в Челябинске. Окончил Челябинский политехнический институт, работал инженером. Кандидат технических наук. Публикуется впервые. Живет в Челябинске.

**Рубакова (Владимирова) Софья** родилась в 1992 г. в Северске Томской области. Окончила факультет журналистики Томского государственного университета. Член Союза писателей России. Автор нескольких поэтических сборников. Лауреат томской областной литературной премии. Живет в Томске.

**Рябов Дмитрий Геннадьевич** родился в 1969 г. в Киселёвске Кемеровской области. Автор двух поэтических книг. Пьесы публиковались в журналах «Современная драматургия», «Сибирские огни». Спектакли поставлены в профессиональных театрах Армавира, Димитровграда, Калининграда, Костромы, Новосибирска, Харькова и др. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

**Седых Владимир Николаевич** родился в 1935 г. Ученый, доктор биологических наук, много лет занимается изучением лесов. Участвовал во множестве изыскательских, лесоустроительных, научных экспедиций в Сибири, Средней Азии, на Дальнем Востоке, в США и Канаде. Автор многих научных работ, в том числе десяти монографий, и очерковой книги «Таксаторы и бичи. Первооткрыватели сибирской тайги». Живет в Новосибирске.

**Соколов Анатолий Евгеньевич** (1946—2010) родился в Новосибирске. Работал в геологических и геофизических экспедициях в Заполярье. Окончил филологический факультет Новосибирского педагогического института, был учителем русского языка и литературы. С 1974 г. преподавал философию в вузах. Кандидат философских наук. Печатается с начала 60-х гг. Автор книг «Спартакровский мост» (1990), «Крепость» (2001), «Невразумительные годы» (2004), «Материк» (2006), «Осенние птицы» (2010). Лауреат премии им. Н. Гарина-Михайловского (2006).

**Чин-Шу-Лан Максим Михайлович** родился в 1986 г. в Хабаровске. Окончил Тихоокеанский государственный университет. Работал преподавателем. Публиковался в журнале «Дальний Восток». Участник семинара молодых писателей Урала, Сибири и Дальнего Востока (2015), Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья.



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

Верстка: *О. Н. Вялкова*

Корректурa: *М. Н. Долгов*

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19,**

тел.: **(383) 223-10-15**

E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [сибирскиеогни.рф](http://сибирскиеогни.рф)



Сдано в набор 18.03.2016 г. Подписано в печать 6.04.2016 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7.

Тираж 1500 экз.

<http://книгосибирск.рф>

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.